



РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

А. П. Павлов

У СТУПЕНЕЙ ТРОНА

МИР КНИГ

А. П. Павлов



У СТУПЕНЕЙ ТРОНА



УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
П12

Дизайнер обложки А. Кузнецов

П12 **Павлов А.**
У ступеней трона: Роман / М.: Мир книги, Литерату-
ра, 2010.— 256 с. (Россия державная).

ISBN 978-5-486-03526-5

Александр Петрович Павлов — русский писатель, теперь незаслуженно забытый, из-под пера которого на рубеже XIX и XX вв. вышло немало захватывающих исторических романов, которые по нынешним временам смело можно отнести к жанру авантюрных. Среди них «Наперекор судьбе», «В сетях властолюбцев», «Торжество любви», «Под сенью короны» и другие.

В данном томе представлен роман «У ступеней трона», в котором разворачиваются события, происшедшие за короткий период правления Россией регентши Анны Леопольдовны, племянницы Анны Иоанновны. В это время активизировались сторонники Елизаветы, дочери Петра Великого, которые и привели ее к власти. На страницах романа бушуют страсти, плетутся интриги, действуют известные и неизвестные исторические личности.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03526-5

© ООО ТД «Издательство
Мир книги», оформление, 2010
© ООО «РИЦ Литература», 2010

У ступеней трона





Часть первая

I

ССОРА

Октябрь 1740 года выдался страшно сырой и дождливый, отчего в Петербурге, и вообще мало избалованном хорошими, погожими днями, а осенью постоянно окутанном печальным флером туманной мглы, было как-то особенно хмуро и уныло. Это уныние страшно тяготило петербуржцев, но оно в особенности было не по душе красивому, статному молодому человеку, только что вышедшему на улицу из ворот одного дома вблизи Адмиралтейства. Остановившись на мостках, заменявших в то время тротуары, он недовольными глазами поглядывал на серое, затянутое тучами небо, с которого косой сеткой сыпал мелкий дождь, на уходившую вдаль линию домов, как бы тонувших в серовато-молочной туманной мгле, и на расстилавшуюся перед ним грязную площадь, с одной стороны окаймленную забором, тянувшимся около зданий Адмиралтейств-коллегии, а с другой — тяжеловесным фасадом Сената. На этой площади теперь стояли целые озера грязной воды, в которую с тупым щелканьем падали дождевые капли, и этот шум, казавшийся грустным шелестом сухих листьев, положительно раздражал молодого человека.

— Ну и погода! — вырвалось у него. — От этой слякоти можно не только простудиться, но сойти даже с ума. Я понимаю теперь, почему англичане страдают поголовно сплином. Говорят, что в Лондоне такие дожди и туманы в обыденку... Чего уж в Лондоне!.. я вот только третий день мокну и глотаю

этот промозглый воздух и то уж чувствую, что меня охватывает какая-то непонятная тоска. Нет, конечно! Как только устрою все, как только узнаю, где находится мой братец,— тотчас же удеру из Петербурга... Бог с ним, с этим столичным весельем! И, наконец, какое же это веселье, если я за все эти три дня не видел ни одного мало-мальски радостного лица, ни одной улыбки? — Закончив эту тираду резким пожатием плеч, молодой человек закутался в плащ и, осторожно ступая по скользким, покрытым грязью доскам, стал пробираться в сторону Невской перспективы.

Он имел полное право негодовать на дурную погоду, стоявшую в Петербурге: в столице он был совершенно посторонним человеком, знакомых у него здесь никого не было, и целых два дня ему пришлось провести в тоскливом одиночестве, а тут еще эта сырая и промозглая погода, постоянный дождь, сеявший с неба, и тоска, царившая на петербургских улицах, действовали крайне неприятно на его впечатлительную натуру. Жизнерадостный и веселый, только что вступивший в жизнь и еще не обвеянный ее суровым дыханием, он чувствовал, что этот осенний дождь смывает и с его лица веселую улыбку, что холодный ветер, ожесточенно дующий с моря, леденит не только его тело, но и его душу, а этот противный туман, плавающий серыми волнами в воздухе, окутывает его мозг, обесформливает его мысли так же, как обесформливает дома, церкви и деревья, набрасывая на них свою густую пелену.

Василий Григорьевич Баскаков — так звали этого молодого человека, медленно шагавшего по мосткам Невской перспективы,— приехал из Москвы. Правда, и в Москве нынешняя осень была не из важных: и там выпадали тоскливые дни; но там не вечно же шел дождь, ненастные дни чередовались с ясными и сухими, и, самое главное, там не было этих ужасных туманов. В Петербург Баскаков попал случайно: отчасти чтобы доставить удовольствие своей тетке Ольге Ивановне и разыскать ее старшего сына, возвратившегося будто бы из Берлина, где он состоял при русском посольстве, отчасти чтобы самому познакомиться с Северной столицей, отнявшей в последние годы у древней Первопрестольной весь ее блеск и все значение.

Баскакову было всего двадцать два года, а в этом возрасте все кажется в розовом цвете, и поэтому, когда его перед отъездом пугали всякими страхами бироновской тирании, черной тучей нависшей не только над Петербургом, но и над всей Рос-

сией, Василий Григорьевич только махал рукой и беспечно улыбался. Все эти страхи казались ему преувеличенными, бироновские застенки совсем не такими ужасными, общий ужас, охватывавший всех при одном только имени всесильного временщика, чересчур раздутым. У него пока еще не было ни друзей, ни врагов, в его жилах текла молодая горячая кровь, сердце его еще ни разу не билось от страха, и он смело отправился на невские берега, вполне убежденный в том, что его особа представляет слишком незначительную величину и что его появление в столице не вызовет решительно ничьего внимания.

Василия Григорьевича тянула сюда жажда новых впечатлений, бессознательная надежда на возможность весело провести время, но Петербург встретил его неприветливо и сурово, и Баскаков очень быстро разочаровался в нем. Только что начавший застраиваться город показался ему жалким и некрасивым сравнительно с древней Москвой, поражавшей величием своего Кремля, роскошными палатами богатых бояр и обилием Божьих храмов. Дожди и туманы раздражали его. На улицах царило уныние, вызванное осенней слякотью и главным образом болезнью императрицы — болезнью, усилившейся настолько, что стали поговаривать о ее близкой кончине. Петербуржцы, вообще напуганные событиями последнего времени, трепетавшие от малейшего шороха, еще полные ужасного впечатления, какое произвела сравнительно недавняя казнь кабинет-министра¹ Волынского, не зная, что принесет им грядущий день, тоскливо прятались от зоркого взгляда сыщиков Тайной канцелярии², и потому-то петербургские улицы были почти пусты. Если же и встречались Баскакову редкие пешеходы, если же и громыхали мимо него тяжелые колымаги³, берлины⁴ и извозничьи роспуски⁵, почти по ступицу колес уходя в грязь, стоявшую на плохо мощенных мостовых, то лица встречавшихся ему были так сумрачны, что молодому человеку становилось положительно тошно, и он предпочитал сидеть в своей горнице на заезжем дворе, чем слоняться по столице, встречая только хму-

¹ Кабинет-министр — член официального совета, верховного органа в составе трех кабинет-министров.

² Тайная канцелярия — орган политического сыска в Петербурге.

³ Колымага — карета, коляска, барская повозка, длинная кибитка, тарантас.

⁴ Берлина — старинная карета, рыдван, колымага.

⁵ Роспуск — одноосный прицеп для перевозки длинномерных грузов.

рые взгляды да глядя на свинцовое небо, сеящее надоедливый непрерывным дождем.

Если бы не обещание, данное им тетке, Василий Григорьевич, не задумываясь ни на минуту, снова бы уселся в почтовую карету, чтобы вернуться в Москву; но он был связан этим обещанием и должен был оставаться в Петербурге, разыскивая своего двоюродного брата. Но, словно нарочно, его преследовало несчастье и в этих розысках. В коллегии иностранных дел ему заявили, что «точно-де ассессор¹ Баскаков, состоявший при берлинской амбассаде², из Берлина отбыл и в Петербурге в недавнее время находился», а находится ли и по настоящее время здесь — о том ему обещали разведать. И вот третий день подряд ходит он в коллегию, вот и сейчас только что вышел оттуда, а чиновник, обещавший ему все доподлинно разведать, опять заявил, что ничего пока верного не знает, но убежден, что ассессор Баскаков в Берлин назад не уезжал, в другие города отпуска не брал и должен находиться не иначе, как в столице... А когда Василий Григорьевич возразил, что если это действительно так, то коллегии должно быть ведомо местопребывание его двоюродного брата и что ассессор — не иголка, которая может затеряться так, что ее едва-едва разыщешь, — чиновник со снисходительной улыбкой заметил:

— По нынешним временам, государь мой, не только ассессоры, а и действительные тайные советники не больше иголки значат и, как иголки, бесследно пропадают...

Но все же он опять просил Василия Григорьевича удосужиться и заглядывать в коллегию, которая не замедлит разведать, куда подевался его двоюродный брат.

Там, в канцелярии коллегии, Баскаков не придавал никакого значения зловещим словам разговаривавшего с ним чиновника, но теперь, на свободе, медленно пробираясь на Фонтанку, где стоял заезжий двор, на котором он остановился, молодой человек невольно задумался о судьбе своего двоюродного брата, задумался и даже испугался. И по сведениям, полученным теткой, и по тому, что ему самому удалось узнать в иностранной коллегии, Николай Львович Баскаков месяца два уже как выехал из Берлина. Если положить, что он употребил на про-

¹ Ассессор — заседатель, должностное лицо, облаченное судебной властью.

² Амбассада — посольство.

езд до Петербурга месяц, то, во всяком случае, он уже целый месяц находится в столице. И вдруг оказывается, что коллегия ровно ничего не знает о своем чиновнике, пребывающем так близко от нее.

Вдруг в мозгу Василия Григорьевича, как молния, блеснула ужасная мысль: «А что, если Николай исчез в застенках Тайной канцелярии? Что, если коллегии неизвестно его местожительство потому, что он попал в лапы бироновских палачей, умеющих не только заставить говорить, но и заставить молчать свои жертвы?..»

И стоило этой страшной мысли закопошиться в мозгу молодого человека, как он почувствовал, что уже не холодный ветер, с воем носящийся по улицам, леденит его тело, а ужас перед каким-то неведомым, но грозным несчастьем. Уезжая из Москвы, он храбрился; ему казалось, что бироновским сыщикам до него нет никакого дела, но теперь, под влиянием мерзкой погоды, расшатавшей его нервы, вся его храбрость растаяла, как дым под ветром. Ему внезапно вспомнились все ужасы бироновских застенков, о которых хотя глухим шепотом, но ходили толки по Москве; вспомнились рассказы о сотнях неведомо куда исчезнувших людей. Он так еще недавно беспечно отмахивался, слушая эти толки и рассказы, но теперь его охватил такой страх, словно его уже схватили цепкие руки сыщиков, словно сзади него уже прогремело роковое «слово и дело», словно перед ним уже замелькали пыточные орудия, как багровой росой, обрызганные человеческой кровью...

Что до того, что его никто здесь не знает, что на нем нет никакой вины? Для того чтобы попасть в застенок Тайной канцелярии, не нужно было никакой вины. Чтобы предстать перед грозные очи Андрея Ивановича Ушакова, совершенно было достаточно и того, что он находился в родстве с человеком, уже познакомившимся с пропитанными кровью руками бироновских палачей. В те времена вину выдумывали те, кому это было выгодно, кому это было нужно, а даже легкая встряска на дыбе заставляла вполне невинных людей клеветать и на себя, и на своих близких.

Вспомнилось все это Баскакову, и он почувствовал, как на голове у него проступил холодный пот, как по телу пробежала ледяная дрожь, и он положительно с испугом отшатнулся, когда слышал за собою чьи-то шаги. Но прохожий прошел мимо, даже не взглянул на Василия Григорьевича, и молодой человек

облегченно вздохнул. Но страх его не прошел. Ужас, навеянный грезами, не рассеялся. Как это бывает зачастую, он уже не сомневался, что его двоюродный брат пропал в застенках Тайной канцелярии, ему уже казалось, что Николай Львович не вынесет пытки, оговорит всех своих знакомых, всех своих родных, а в том числе и его, и, может быть, вот сейчас, вот в эту самую минуту, его приход на заезжий двор сторожат сыщики, и стоит только ему показаться там, как его схватят и, может быть, на целые годы замуруют в каменный мешок.

И страх был так силен, что Баскаков положительно теперь боялся идти на заезжий двор. До Фонтанки было уже недалеко, ему уже был виден отсюда мост, перекинутый через речку; но он не только замедлил шаги, но даже остановился, предпочитая провести скорее ночь на улице, чем попасть прямо в цепкие руки сыщиков и ни за что ни про что, может быть, распротиться с только что начавшейся жизнью.

Стало заметно темнеть. Набегали вечерние тени, и волны тумана, носившегося по улицам, стали принимать постепенно более мрачную окраску. И этот мрак, точно надвигавшийся со всех сторон, еще сильнее тяготил Баскакова, и ужас с каждой секундой все больше и больше разрастался в его душе.

Василий Григорьевич взглянул вверх, на печальное небо, которое также заволакивалось ночью тенью, посмотрел по сторонам и вдруг заметил в нескольких шагах от себя только что зажженный фонарь, колыхаемый порывами ветра, отчего его слабый огонек казался в туманной мгле какой-то дрожащей, точно танцующей, звездочкой.

«Должно быть, австерия¹, — подумалось ему, — можно зайти и хоть обогреться, а то этот ветер окончательно заледенит меня».

И он крупными шагами направился в сторону, где дрожал огонек.

Но когда Василий Григорьевич переступил порог двери, над которой висел фонарь, он убедился, что это не австерия, а кабачок для чистой публики, так называемый герберг, которых в Петербурге в то время было сравнительно мало. Несколько столиков, покрытых чистыми скатертями, бросились ему в глаза; увидел он и прилавок, на котором величественно красовался

¹ Австерия — гостиница, трактир, харчевня и питейный дом.

бочонок и стояла целая батарея стеклянных кружек и оловянных стаканов, а рядом с бочонком он заметил прехорошенькую женскую головку со вздернутым носиком, ярко-красными губами и целым каскадом пышно взбитых льняных волос. Когда он переступил порог, это личико улыбнулось ему, и веселая улыбка буфетчицы, и теплота, царившая здесь, немного разогнали страх, овладевший было им на улице. Он скинул с себя насквозь промокший плащ и присел к одному из столиков, поглядывая на хорошенькую буфетчицу, которая, продолжая ему улыбаться, уже приближалась к нему.

— Что прикажет господин? — с сильным чухонским акцентом спросила она, подойдя к его столу.

Василий Григорьевич окинул любующимся взором ее полную, пышную фигурку и заявил, что ему хочется обогреться и, что она ни подаст, ему из таких хорошеньких ручек все покажется нектаром. Буфетчица, несмотря на то что привыкла к всевозможным комплиментам, которыми ее постоянно осыпали все посетители герберга, вспыхнула ярким румянцем.

— Однако что господин пожелает? — повторила она. — У нас есть нюрнбергское и мюнхенское пиво, есть всевозможное вино; чего же вам угодно?

— Так дайте мне, душечка, бутылочку мадеры.

Буфетчица торопливо скрылась за прилавком, загремела там посудой и, так же торопливо вернувшись назад, поставила перед Баскаковым поднос, на котором стояла темная запыленная бутылка и — очевидно, из уважения к его красоте — даже серебряная чарка. Василий Григорьевич поблагодарил красивую чухонку новым взглядом, от которого она вспыхнула снова, и с удовольствием выпил до дна большую чарку крепкого, ароматного вина, которое огнем пробежало по его жилам.

Он чувствовал, как по его телу разлилась приятная теплота, молодость взяла свое, и недавний страх исчез почти бесследно. Веселая улыбка снова задрожала на его губах, и он обвел комнату оживленным любопытным взглядом. Кроме него, в герберге было еще двое посетителей: они сидели в противоположном углу комнаты и, как показалось ему, смотрели на него далеко не дружелюбным взглядом. Один из них был военный, в офицерском мундире Измайловского полка, другой — штатский, в темно-фиолетовом бархатном камзоле и белоснежном жабо, которое оттеняло его смуглое лицо. Оба они были молоды, оба были очень недурны собой, но в то время, когда воен-

ный был совсем светлым блондином, штатский был жгучий брюнет, и по его миндалевидным глазам и по очертаниям его носа, с очень заметной горбинкой, было несомненно, что в нем течет южная кровь.

Как только Василий Григорьевич появился в герберге, они оба, заметив его статную фигуру и бросив быстрый взгляд на его лицо, точно испугавшись чего, вздрогнули и переглянулись между собою. Разговор, который они вели до его прихода, как-то сразу оборвался; их оживленные лица сделались как-то странно сумрачными, в глазах загорелись недобрые огоньки, и, когда Василий Григорьевич, выпив чарку мадеры, посмотрел в их сторону, они бросили в свою очередь на него такой недружелюбный взгляд, точно он был их личным врагом.

— Это — он! — прошептал военный, наклоняясь через стол к своему собеседнику. — Я его узнал сразу.

Брюнет задумался на несколько мгновений и в свою очередь промолвил:

— И мне кажется, что это — он.

— Волк сам бежит в ловушку.

— И нужно постараться, чтобы он из этой ловушки не вырвался.

— Не беспокойся, не уйдет! Он слишком много насолил мне, чтоб его выпустить, и нужно покончить с ним, чтобы он не насолил нам еще больше.

— Но как же это устроить?

— Не беспокойся, — с зловещей улыбкой проговорил измайловец, — предоставь это мне.

Он медленно поднялся со своего места и пошел к тому столу, где сидел Баскаков.

Василий Григорьевич страшно бы удивился, если бы ему удалось подслушать этот странный разговор. Скользя равнодушным взглядом по лицам этих господ, он тотчас же опустил глаза, несколько не интересуясь ими, и с большим удовольствием стал бросать свои пылкие взоры в сторону прилавка, любясь личиком буфетчицы. Поэтому он донельзя изумился, когда измайловец, проходя мимо него, вдруг так сильно толкнул его, что он едва удержался на табурете. Эта неделикатность страшно возмутила Баскакова; он быстро поднялся на ноги, гневно взглянув на офицера, и не думавшего извиняться за свою неделикатность, и резко спросил:

— Это что же, сударь, значит? Чем я могу объяснить сей поступок с вашей стороны?

Измайловец ответил самым нахальным тоном:

— Да как хотите, так и объясняйте; я нисколько не интересуюсь тем, как вы себе сей мой поступок объяснить пожелаете.

— Так вы меня толкнули, значит, не случайно?

— Нет-с, не случайно. Мне не понравилась ваша физиономия.

Кровь закипела в Баскакове, он инстинктивно сжал кулаки и так толкнул измайловца, что тот отлетел от него на несколько шагов...

II

НЕОЖИДАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отлетев от толчка Баскакова к стене, даже стукнувшись головой о стену, измайловец в первое мгновение рассвирепел, глаза его налились кровью, и он в свою очередь бросился на Василия Григорьевича, но тотчас же быстро опомнился, гнев его точно растаял, злобные огоньки в глазах потухли, и вместо них показалась насмешливая, точно торжествующая улыбка. Он медленно подошел к Баскакову, продолжавшему стоять все еще в угрожающей позе, и размеренно, как бы отчеканивая каждое слово, проговорил:

— Я вижу, вы, сударь, не из робких. Оно вполне понятно, если взять во внимание вашу профессию. Но, надеюсь, вы прекрасно понимаете, что мы с вами не можем расстаться, не расквитавшись друг с другом.

Яркая краска залила лицо Василия Григорьевича. Он только теперь понял, какие неприятные последствия может повлечь за собою эта его случайная ссора, и уже досадовал на себя, что зашел в этот герберг, досадовал на то, что вспылит. Былой страх снова охватил его. Он попал из огня да в полымя. Почти не зная существующих порядков, он часто слышал в Москве, что дуэли преследуются законом, что правительство очень косо смотрит на стычки с оружием в руках и что захваченным дуэлянтам не бывает пощады.

В словах измайловца звучал слишком ясный намек, и Василий Григорьевич уже не мог бы отказаться от дуэли, не выказав себя трусом. Трусом он никогда не был и тем более не хотел показать перед этими совершенно незнакомыми ему людь-

ми, что боится дуэли. Он гордо закинул голову и, смотря прямо в глаза офицеру, промолвил, стараясь говорить как можно спокойнее и как можно тверже:

— Я прекрасно понимаю, что вы ищете со мною ссоры... Не пойму только одного, неужели такие странные манеры, какие вы выказали по отношению ко мне, в нравах и обычаях русских офицеров? Не думайте, пожалуйста, что если я не ношу оружия, что если я не принадлежу к военному сословию, так испугаюсь ваших грозных намеков и еще более грозных взглядов. Впрочем,— прибавил он,— так как вы меня оскорбили первый, то, пожалуй, я готов удовольствоваться вашим извинением...

Измайловец дерзко расхохотался.

— Ох, сударь, да вы — комик, как я на вас погляжу! Ишь, скажите на милость, он считает, что я оскорбил его первый! Жестоко изволите заблуждаться. Оскорбление нанесли вы мне, и сатисфакции¹ требую я у вас. А посему будьте столь любезны и сообщите мне, куда я могу прислать своих секундантов.

Этот вопрос поставил Баскакова в тупик. Он даже растерялся, но не потому, что ему неловко было сказать про то, что он остановился, приехав из Москвы, на грязноватом заезжем дворе, а потому, что не знал, проведет ли он там завтрашний день, так как, напуганный своими мыслями, боялся туда вернуться. Смутило его также и то, что у него не было ни души знакомой в Петербурге, что ему некого было пригласить в свои секунданты. Однако нужно же было выйти из этого неловкого положения, нужно же было ответить офицеру, очевидно нетерпеливо ждавшему его ответа. Обычная беспечность Баскакова взяла верх над страхами и сомнениями, закопошившимися было в его душе: он сам невольно улыбнулся, подумав о том, в каком безвыходном положении находится теперь, и совсем весело обратился к своему неожиданному сопернику:

— Вот что, сударь, я не отказываюсь, конечно, от дуэли с вами, я никогда не был трусом и тем паче не буду им теперь, но должен вам признаться откровенно, что в приневской столице я — совсем новый человек, что здесь буквально никто меня не знает и я никого не знаю. А посему, уж если вы делаете мне такую честь, выходя со мной на поединок, сделайте и другую честь: укажите, по-первых, куда я должен явиться завтра для встречи с вами, а также захватите секундантов и на мою долю.

¹ С а т и с ф а к ц и я — удовлетворение за оскорбление чести, дуэль с оскорбителем.

Измайловец переглянулся со своим товарищем. На их лицах сначала проскользнуло недоумение, которое затем сменилось насмешливой улыбкой; глаза их, очевидно, сказали друг другу очень многое, и затем офицер, обращаясь снова к Баскакову, сказал:

— Я, конечно, государь мой, не стану уличать вас во лжи, потому что и мне, и моему товарищу очень хорошо ведомо, что вы человек в приневской столице далеко не новый. Из всего, что вы мне сказали, я заключаю только, что вам во что бы то ни стало хочется ускользнуть от меня; но так как я не имею ни малейшего желания выпустить вас из своих рук, то готов признать, что вы человек в Петербурге никому не ведомый, что у вас никого знакомых в Петербурге в данное время, может быть, и нет, что секундантов вы достать не можете, и посему предлагаю вам следующее: до Царицына луга здесь очень недалеко; и у вас, и у меня есть шпаги, пойдемте туда и рассчитаемся между собою. А вот мой товарищ,— кивнув в сторону брюнета, прибавил он,— будет и моим, и вашим секундантом.

— Но позвольте,— горячо возразил Баскаков,— кажется, как вызванный, я имею право выбирать оружие. Отчего это вам желательно драться на шпагах, когда мне, может быть, желательна дуэль на пистолетах?

По губам измайловца пробежала усмешка.

— Я нисколько не сомневаюсь, что, может быть, дуэль на пистолетах вам и более желательна, но нам уж придется остановиться на шпаге; во-первых, потому, что у нас с вами под руками пистолетов нет, во-вторых, оттого, что выстрел очень шумен и может обратить на себя чье-нибудь внимание, а мне этого совсем не хочется, а в-третьих — у меня явилось непреодолимое желание убить вас, что я, может быть, с успехом и сделаю, так как очень недурно владею шпагой. Впрочем, сударь,— добавил он все с тою же ехидной усмешкой,— считаю своим священным долгом предупредить вас, что, буде вы не пожелаете дать мне сатисфакцию, буде вы тотчас же не отправитесь со мною и с моим приятелем на Царицын луг, то я хотя и с величайшим сожалением, но принужден буду проткнуть вас своей шпагой немедленно! — И он угрожающе положил руку на эфес своей шпаги.

— То есть,— немного бледнея, спросил Василий Григорьевич,— вы пойдете на убийство?

— Вы не ошиблись, сударь,— с ироническим поклоном ответил измайловец,— мне ваша физиономия так не нравится, что я даже пойду на убийство.

Баскаков на мгновение задумался, но тень тотчас же сбежала с его лица. Он попал в ловушку, и нечего было сомневаться, что этот офицер, лицо которого казалось молодому человеку очень симпатичным, действительно может убить его. Кричать и звать на помощь Василию Григорьевичу совсем не хотелось: он этим прямо бы отдал себя в руки бироновских сыщиков, которые, может быть, уж гоняются за ним; следовательно, не оставалось ничего более, как согласиться на эту вынужденную дуэль. Тут у него все-таки были шансы на удачу. Он готовился к военной службе, и, если бы не тетка, которая почему-то считала его здоровье очень слабым, он, наверное, теперь и сам бы носил офицерский мундир. В былое время Баскаков очень усердно занимался фехтованием, очень недурно владел шпагой и был вполне убежден, что он не позволит зарезать себя, как цыпленка, а может быть, даже сумеет отплатить этому дерзкому офицеру хорошим ударом. Мысли эти молнией пробежали у него в голове, согнали мрачную дымку, набежавшую было на его лицо, и на его губах задрожала опять веселая, беспечная улыбка.

— Я к вашим услугам, государи мои,— проговорил он, накидывая на себя плащ.

Затем он подошел к прилавку, за которым сидела буфетчица, побледневшая как смерть, как только началась эта страшная ссора. В то время такие ссоры были не редкость, девушка привыкла к ним, но красивое лицо Баскакова произвело на нее слишком приятное впечатление, и, слушая разговор молодого человека с измайловцем, она всей душой была на стороне первого. Когда Баскаков подошел к ней, она обдала его таким участливым взглядом, что это невольно тронуло Василия Григорьевича.

— Сколько я вам должен, моя красавица? — спросил он.

— Два рубля,— прошептала она вздрагивающим голосом.— Зачем вы идете с ними? — прибавила она шепотом.— Хотите, я позову полицейский обход, и они не посмеют придирааться к вам. Ведь они могут вас убить?

— Не бойтесь за меня, моя прелесть! — улыбаясь, заметил Василий Григорьевич.— Убить они меня не убьют, а уклонять-

ся от вызова я не хочу и не могу. Прощайте, душечка, или, верней, до свидания, потому что я убежден, что мы еще с вами увидимся.

— Помогите вам Бог! — прошептала она опять.

— Идем, сударь, идем! — крикнул от двери измайловец. — Вы чересчур долго беседуете с этим чухонским купидоном. Если вы не умрете от моей руки, вам никто не мешает тотчас же вернуться обратно. — И измайловец распахнул дверь, в то же время оглядываясь, чтобы убедиться, следует ли за ними Баскаков.

Они молча дошли до угла Фонтанки, затем повернули ее берегом и направились в сторону Царицына луга. Дождь перестал. Небо было затянуто тучами, но вечерний мрак, окутавший петербургские улицы, уступил место какой-то сероватой туманной мгле. Резкий ветер, шумя мутными водами Фонтанки, налетал на берег, злясь и воя, проносился мимо Баскакова и его спутников и, обдавая их своим ледяным дыханием, заставлял зябко ежиться и вздрагивать.

Когда они вышли на Царицын луг, ночная мгла казалась еще бледнее; здесь чувствовалась резкая сырость, которая, поднимаясь от влажной, пропитанной дождями почвы, носилась в воздухе густыми волнами сероватого тумана. Нога скользила на мокрой земле, и не прошло и нескольких минут, как ноги пешеходов были промочены насквозь.

— Ну-с, сударь, — проговорил, обращаясь к Баскакову, измайловец, — мы, конечно, не будем пускаться в лишние разговоры, не будем, понятно, толковать о примирении, а прямо приступим к делу. Вынимайте вашу шпагу из ножен и помолитесь Богу, если вы еще не продали свою душу черту.

Баскаков скинул свой плащ прямо на землю, бросил на него шляпу и, потряхнув своими густыми, коротко стриженными кудрями, вытащил шпагу из ножен. В то же время он стал как можно тверже всей подошвой сапога на скользкую землю и приготовился отражать удары противника. Несмотря на то что было уже очень поздно, несмотря на то что со всех сторон надуинулся ночной мрак, он прекрасно видел в этом белесоватом сумраке своего противника, видел все его движения и радовался от души, что ночные тени не лежали гуще.

Измайловец не заставил себя ждать. Его шпага сверкнула серебристой полоской и звонко ударилась о клинок Баскакова,

которым тот отпарировал удар. Василий Григорьевич фехтовал не только очень недурно, но даже совсем хорошо. В продолжение нескольких минут его противнику даже не удалось тронуть его ни разу, несмотря на рискованные вольты¹ французской школы: его шпага, сверкавшая, как молния, встречалась всюду со шпагой Баскакова, и измайловец скоро понял, что имеет дело с очень серьезным соперником. Баскаков пока еще не нападал, он только защищался, но и по тому, как он вел защиту, измайловскому офицеру было ясно, что не так-то легко будет справиться с этим человеком, которого ему не только хотелось, но даже было нужно убить. Поэтому он решил раздражить своего противника, заставить его потерять хладнокровие и, продолжая делать выпады, сказал:

— Однако вы, сударь, ловко владеете шпагой; я никак не ожидал этого... Я думал, что вы умеете владеть только топором.

Василий Григорьевич совершенно не понял этой странной фразы, имевшей, без сомнения, какой-то особенный смысл, и возразил:

— В этом решительно нет ничего странного. Я случайно пошел в гражданскую службу, а прежде готовился к военной и с большой любовью занимался фехтованием.

— Ну, такие люди, как вы, для военной службы негодны.

— Это почему?

— Потому что солдат должен уметь проливать свою кровь в открытой схватке с врагом, а господа, подобные вам, нападают только исподтишка, только из засады. Впрочем,— прибавил измайловец с явной иронией,— служат и такие в войске — говорят, что шпионы нужны и на войне.

Эта странная фраза заставила Баскакова вспыхнуть от обиды; она его хлестнула, точно удар бича; в нем забушевала злоба, рука его дрогнула, он сделал неправильное движение, и в то же самое время шпага измайловца кольнула его в плечо. Жгучая боль от нанесенной раны разозлила его еще сильнее, и он, совсем забыв себя от гнева, перестал защищаться, сам перешел в нападение, быстрым ударом отбил клинок противника, направленный ему прямо в грудь, и всадил свою шпагу почти до половины в грудь измайловца. Тот вскрикнул, выронил шпагу из рук и, потеряв сознание, тяжело рухнул на землю. Его при-

¹ В о л ь т а — легкая шелковистая хлопчатобумажная ткань для пошива женского платья и белья.

ятель, все время безмолвно следивший за ходом поединка, увидев, что офицер упал, быстро обнажил свою шпагу и бросился на Баскакова.

— Вы его убили! — крикнул он. — Но не радуйтесь, вам еще придется иметь дело со мной!

Василий Григорьевич резко отпарировал его удар, но в то же время сказал:

— Я ничего не имею против того, чтобы и вас так же положить к своим ногам, но скажите мне, ради бога, почему и вашему приятелю, и вам пришло такое странное желание отделаться от меня? К чему вы со мной затеяли ссору, к чему, наконец, против всяких правил вы теперь скрестили свою шпагу с моей?

— Потому что мы должны убить тебя, потому что нам необходимо уничтожить такого зоркого шпиона, каким считаешься ты.

Говоря это, он продолжал нападать. Василий Григорьевич, изумленный донельзя, ловя острием своей шпаги его клинок, отозвался:

— Да вы, сударь, жестоко ошиблись, вы, очевидно, приняли меня совсем не за того; я вас в жизни вижу первый раз и, клянусь вам Богом, не только никогда не был шпионом, но всего только третий день, как приехал в Петербург.

Он произнес эту фразу таким горячим, убедительным тоном, что приятель измайловца отступил на шаг и опустил свою шпагу.

— Неужели же нас ввело в заблуждение сходство? — пробормотал он. — Но ведь этого быть не может, я бы готов был поклясться, что вы — не кто иной, как тот человек, который нас преследовал так долго и от которого нам необходимо было избавиться.

Как ни был грустно настроен Василий Григорьевич, как ни тяжело ему было сознавать, что он хотя и против воли, но обагрил себя человеческой кровью, что он, может быть, сделался убийцей, но он рассмеялся.

— Уверяю вас, — проговорил он, — что я никогда никого не преследовал и, может быть, даже сам, не сегодня, так завтра, попаду в руки бироновских палачей. Я — москвич, никогда не жил в Петербурге и приехал сюда совершенно случайно.

— Если это так, то это положительно невероятно. Но скажите, ради бога, как же вас зовут?

— С этого нужно было начать, сударь,— улыбаясь, отозвался Баскаков.— Я — чиновник московского отделения берг-коллегии¹, и зовут меня Василием Баскаковым.

— Баскаковым...— изумленно протянул приятель измайловца,— да вы не приходите ли родственником Николаю Львовичу Баскакову?

— Двоюродный его брат, государь мой.

— Фу-ты, черт! — воскликнул тот.— Вот так оказия! Бывали со мной всякие случаи, а о таком и помышлять не приходилось. Ну, скажите на милость, только того и не хватало, чтобы двоюродного брата моего задушевного друга Николашки чуть-чуть на тот свет не отправить. Простите меня, ради бога! — И, быстро вложив шпагу в ножны, он подошел к Василию Григорьевичу и протянул ему руку.— Позвольте, кстати, и познакомиться. Зовут меня Лихаревым, а величают Антоном Петровичем. Мы с Николаем Баскаковым — давние друзья, и я очень рад нашей встрече, хотя и случившейся при таких странных обстоятельствах, еще раз простите меня!

— Я-то вас прощу с удовольствием,— пожимая руку нового знакомого, отозвался Баскаков,— а вот простит ли он нас с вами.— Он грустным жестом указал на лежавшее на земле бесчувственное тело пораженного его шпагой измайловца.

— Неужели вы убили его?

— Не знаю, но, во всяком случае, мой удар был не из легких.

Они торопливо склонились над офицером и расслышали тихое дыхание, с хрипом вырывавшееся из его груди.

— Слава богу, жив! — воскликнул Баскаков.— Теперь нужно его куда-нибудь поскорее отнести, потому что оставлять его на сыром воздухе было бы хуже убийства.

— Если вы только поможете мне,— проговорил Лихарев,— то в таком случае нам не придется идти далеко. В нескольких десятках шагов отсюда, на Фонтанке, дом его дяди, и вы сделаете доброе дело, если не покинете его в таком беспомощном положении.

— Да в этом нечего и сомневаться,— отозвался Василий Григорьевич,— понесем его, и как можно скорее.

Они молча подняли слабо дышавшего офицера и, медленно подвигаясь по скользкой земле, стараясь по возможности нести его как можно осторожнее, направились в сторону Фонтанки, с которой по-прежнему налетал резкий, леденящий ветер.

¹ Берг-коллегия — горное присутственное место.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Петербург времен Анны Иоанновны уже не походил на Петербург петровских дней, но все еще тесно кучился, огражденный с одной стороны Фонтанкой, с другой — Невой, с третьей — казармами Измайловского полка, а с четвертой — аллеями Летнего сада. Петровские мазанки уже уступали место более красивым и более высоким зданиям, но, как бы то ни было, еще многие части Петербурга казались какими-то жалкими деревушками и были застроены сплошь маленькими одноэтажными деревянными домами. Только на Английской набережной, на Миллионной да на Морских уже появились красивые фасады с колоннами, с причудливыми фронтонами, с лепными украшениями над подъездами, но даже на Невской перспективе каменные дома чередовались с деревянными лачугами, казавшимися какими-то жалкими карликами, случайно очутившимися в соседстве великанов. За Фонтанкой уже был сплошной лес, в котором некоторые богатые бары построили свои загородные дома и в котором зачастую находились разбойничьи шайки, совершавшие свои смелые набеги на центральные части города, не страшась ни разъезжавших по городским улицам пикетов, ни полицейских стражников.

Но на городской части набережной Фонтанки было немало богатых домов: между прочим, тут стояли дома шталмейстера Кошелева, гофмейстера¹ Шепелева, денщика Петра Великого графа Петра Чернышева, князя Куракина и многих других. Между прочим, как раз рядом с домом Куракина стоял двухэтажный каменный дом, отстроенный очень недавно и окруженный высоким забором, за которым печально теперь шумели уже обнаженные от листьев громадные деревья. Этот дом некогда принадлежал князю Волконскому и в начале царствования Анны Иоанновны был куплен генерал-поручиком Левашевым, теперь уже удалившимся на покой и доживавшим последние дни, заботясь только об одном, чтоб его забыли при дворе так же, как он забыл этот двор, служба при котором не принесла ему ничего, кроме неприятностей да тяжелой болезни. Василий Яковлевич Левашев вдовел уже после второй

¹ Гофмейстер — придворный чиновник, ведавший канцелярией, почетное придворное звание.

жены и жил вместе со своей дочерью от второго брака Маней, девятнадцатилетней девушкой, и своим племянником, носившим тоже фамилию Левашев и бывшим поручиком в Измайловском полку.

Было уже очень поздно, Василий Яковлевич спал, Маня готовилась ко сну, раздеваясь в своей комнате, когда раздавшийся громкий стук в ворота переполошил всю прислугу левашевского дома, разбудил старого генерала и заставил молодую девушку подбежать к окну и с тревогой взглянуть в темную мглу ночи. На дворе мелькали огни фонарей, слышались голоса, бегали люди.

В то тревожное время, когда человеческая жизнь стоила очень дешево, когда в застенках Тайной канцелярии томились порой не только сотни, но целые тысячи людей, когда одного неосторожного слова, одного неосторожного взгляда было достаточно, чтобы попасть в опалу к всесильному временщику, не задумываясь проливавшему человеческую кровь, — в это печальное время бироновские сыщики совершенно свободно врываются в дома даже самых знатных вельмож, чуть ли не в постели хватали тех людей, на которых падал гневный взгляд Бирона, которых или выдавали, или оговаривали, пытаемые палачами Тайной канцелярии.

Совершенно понятно, что, когда молодая девушка услышала этот шум, когда она увидела огоньки фонарей, неясными светляками дрожавшие в туманной мгле, ей показалось, что это нагрянули бироновские клеветы¹, и ее сердце сжалось от ужаса... Однако, как ни перетрусила Маня, она торопливо накинула на себя уже снятое платье, быстро набросила на плечи платок и выбежала из своей комнаты, чтобы узнать, что значит этот внезапный переполох, чтобы хоть чем-нибудь помочь старику отцу, если только это будет в ее силах. Не успела она пробежать и нескольких комнат, как столкнулась со старым дворецким Михайлычем, который, очевидно, бежал ей навстречу и теперь, задыхаясь от быстрого бега, бледный как полотно, воскликнул:

— Ах, барышня, барышня, какое несчастье!

Маня, и без того напуганная, теперь буквально похолодела.

— Что случилось, Михайлыч?

Старик всплеснул руками.

¹ К л е в е т — приспешник, приверженец, не брезгающий ничем, чтобы угодить своему покровителю.

— И сказать-то боюсь; вы уж не пужайтесь оченно-то, может, даст Бог, выживет.

Девушка пошатнулась, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги, и едва удержалась за спинку подвернувшегося под руку кресла.

— Кто выживет? — воскликнула она. — Что ты болтаешь? О ком ты говоришь? Разве с батюшкой что приключилось?

Дворецкий отмахнулся рукой:

— Да нет, сударыня, я не про то! Их превосходительство, слава тебе господи, в добром здравии пребывают, а с братцем вашим, с молодым барином, несчастье приключилось.

— С Митей?

— Так точно-с.

— Да что же такое, не томи ты, ради бога!

— Привезли его, значит, и едва они дышут, потому как с кем-то на дуэли дрались... совсем ровно мертвый.

Девушка уже не слушала старика. Она опрометью бросилась вниз, в комнаты своего двоюродного брата, и, вбежав туда, увидела Митю лежавшим на диване, бледным как смерть, с еле заметно вздымавшейся грудью, а около него Лихарева и какого-то совершенно незнакомого ей господина, который был не кто иной, как Баскаков. Лихарева она хорошо знала, Баскакова же приняла за доктора, и потому, не обращая никакого внимания на то, что едва одета, что через плохо застегнутое платье просвечивает тело, она бросилась к постели брата и, пытливо вглядываясь в его мертвенно-бледное лицо, стала жадно прислушиваться к его хриплому дыханию. Лихарев быстро подошел к ней и проговорил:

— Не волнуйтесь, Марья Васильевна; ничего опасного решительно нет, мы уже послали за доктором, и, кроме того, я осмотрел рану, и рана совсем не серьезна... я поручусь головой, что через две недели он будет снова на ногах.

— За доктором? — удивленно переспросила девушка, бросая пытливый взгляд на незнакомое ей лицо Баскакова.

— Да, да, нужно сделать ему перевязку, а кстати, дать чего-нибудь успокоительного.

— Он дрался на дуэли? — спросила девушка.

Лихарев покраснел, замялся, но потом, вспомнив, что лгать совершенно бесполезно, что причина раны Левашева чересчур ясна, кивнул:

— Да, у него вышла небольшая стычка.

— С кем?

Лихарев опять замялся; на этот вопрос было ответить гораздо труднее, так как приходилось назвать Баскакова, бывшего здесь же. Но его выручил сам Василий Григорьевич.

— Вы хотите знать с кем? — сказал он. — Со мною.

Маня вздрогнула и почти отшатнулась в сторону.

— С вами? — протянула она изумленно, и в ее глубоких черных глазах засверкали гневные огоньки.

По лицу Василия Григорьевича пробежала печальная улыбка.

— Вы, конечно, изумлены тем, что я, убийца вашего брата, нахожусь в вашем доме; но я не мог оставить его беспомощным на сыром воздухе и помог господину Лихареву донести своего противника сюда, а во-вторых...

— Во-вторых, — быстро перебил Лихарев, уже оправившийся от смущения, — во-вторых, я должен сказать всю правду, и вы, конечно, поверите мне, Марья Васильевна, так как я никогда не лгал. Он, — и он кивнул на Баскакова, — не только не может быть назван убийцей, но и я, и Дмитрий глубоко виноваты перед ним. Эта дуэль вышла по какому-то роковому недоразумению. Мы затеяли с господином Баскаковым ссору, мы хотели его убить, но, к счастью, Бог не допустил этого.

Девушка изумленно расширила глаза.

— Убить!.. — прошептала она. — За что?

— Я говорю, что тут вышло роковое недоразумение. Все дело в том, что мы приняли господина Баскакова за другого, за нашего врага. Я бы не сказал этого, — продолжал он, — но я не хочу, чтоб вы его в чем-нибудь обвиняли, чтоб вы относились к нему враждебно, и вы сделаете очень хорошо, если протянете ему руку, тем более что он — родственник знакомого вам человека, он — двоюродный брат Николая Баскакова.

Маня, проникшаяся безотчетной симпатией к Василию Григорьевичу при первом взгляде, упавшем на его красивое лицо, была скорее опечалена, чем возмущена тем, что этот такой красивый, такой симпатичный молодой человек оказался убийцей ее кузена. Теперь же, когда она услышала слова Лихарева, ее сердце радостно забилося, и она, покраснев и потупив глаза, протянула Баскакову руку, но в то самое время, когда Василий Григорьевич робко коснулся своей рукой ее руки, она заметила беспорядок в своей одежде, заметила расстегнутую грудь платья и, вспыхнув до корней волос, быстро выбежала из комнаты, чуть не сбив с ног старичка Германа, бывшего их домашним врачом и входившего в это время в дверь.

Лихарев не ошибся. Рана, которую нанесла Левашеву шпага его противника, оказалась не из опасных. Старик немец осмотрел рану, перевязал ее и затем, кивая и пощелкивая по крышке табакерки, которую держал в руках, заявил уверенным тоном:

— Нью, ню, нишего, это — глупство, фиртцейн таге — и он будет здоров... завсем молодец будет.

Когда доктор ушел и молодые люди остались одни, Василий Григорьевич стал было прощаться, но Антон Петрович удержал его:

— Куда же вы пойдете, на ночь-то глядя? Переночуйте лучше здесь; я думаю, что Дмитрий очнется к утру и будет очень рад увидеться с вами; тем более что, если это будет возможно, ему нужно объяснить нашу роковую ошибку.

Баскаков покраснел и задумался. Это предложение как нельзя более было ему на руку, так как мысль вернуться на заезжий двор, где он остановился, ему совсем не улыбалась. Кроме того, Василий Григорьевич до сих пор все еще страшился возможности быть захваченным бироновскими шпионами, а кстати, так как он не успел расспросить Лихарева дорогой, ему представлялась возможность расспросить своего нового знакомого о судьбе двоюродного брата, так как тот назвался его приятелем и, наверно, должен был что-нибудь о нем слышать.

— Ночевать я, конечно, здесь не останусь,— сказал он,— это было бы уж совсем неловко; а если позволите, я посижу немного здесь, тем более что мне хотелось бы кой о чем потолковать с вами.

— Я очень рад чем-нибудь услужить вам,— отозвался Лихарев,— но в таком случае, чтобы не тревожить нашего больного, перейдем в соседнюю комнату, там нам никто не помешает.— И, отворив дверь, он жестом пригласил Баскакова следовать за собою.

Комната, в которую они вошли, была, очевидно, кабинетом. Громадное бюро красного дерева с бронзовыми скобами, изображавшими львиные головки, стояло между окнами; рядом с ним помещалась этажерка, на которой Василий Григорьевич заметил книги в тяжелых сафьянных переплетах. Немного подалее выдвинулся массивный, крытый сафьяном, диван, и несколько таких же массивных кресел стояло у противоположной стены. Над диваном висел портрет молодой девушки, в котором Баскаков без труда узнал только что виденную им кухню

Левашева, а немного пониже, между рамой портрета и венчиком диванной спинки, виднелись две сложенные крест-накрест рапиры¹. Лихарев сел на диван, указал своему спутнику место рядом с собою и затем проговорил:

— То есть, поверите ли, если бы я не видел вас перед собою, все то, что произошло только что, показалось бы мне совсем непонятным сном. Ведь бывает же такое странное сходство! Вот гляжу я на вас теперь и прямо глазам своим не верю. Понимаете ли, вы похожи на того человека до мелочей: и рост, и фигура, и лицо совершенно одни и те же: даже ваш голос подходит звуком на его голос, это — прямо наваждение какое-то! — И он развел руками.

— Но скажите же, ради бога, — сказал Баскаков, — кто же это он, этот таинственный незнакомец, благодаря сходству с которым я чуть-чуть не убил человека и чуть-чуть не убили меня самого?..

Антон Петрович задумался на несколько мгновений.

— Я не могу сказать вам его имя, — после небольшого раздумья промолвил он, — я не имею права посвящать вас в чужую тайну, но скажу вам только одно: если вы случайно где бы то ни было встретите человека, который будет похож на вас так же, как вы похожи на собственное отражение в зеркале, — бегите от него без оглядки! Этот человек способен на все дурное, а если он случайно только узнает, что в ваших руках была жизнь Левашева и тот остался жив, — он вам никогда не простит этого. И берегитесь его мести! Я не могу вам сказать ничего больше, но, может быть, со временем вы сами, встретив этого человека, поступите с ним так же, как поступили сегодня мы с вами, и не оставите ему жизни.

Василий Григорьевич невольно вздрогнул от этих слов; какое-то странное предчувствие сжало его сердце: он был почти уверен, что ему придется столкнуться со своим двойником.

— Я не буду настаивать, — проговорил он, — не буду выведывать от вас чужой тайны, вы меня плохо знаете и не должны питать к незнакомому человеку доверия — это совершенно понятно, но я вам верю и никогда не забуду вашего совета. Но теперь скажите мне, пожалуйста, что вы знаете о моем двоюродном брате? Вы сказали, что вы — его приятель. Вот я три

¹ Рапира — колющее оружие с гибким клинком, тупая шпага.

дня хожу в иностранную коллегию, три дня добиваюсь узнать, жив ли он, и ничего не могу добиться, кроме ответа: «Мы не знаем».

По губам собеседника Баскакова пробежала легкая усмешка.

— Скажите мне, собственно, для чего вам нужно знать, где находится ваш брат?

— Ах, боже мой! Да затем, чтобы увидеться с ним — ведь мы с ним не видались почти целых четыре года... И, наконец, меня прямо пугает его неведомое отсутствие. Говорят, что уже два месяца, как он уехал из Берлина, что он уже целый месяц находится в Петербурге, а я совершенно не могу разыскать его следов. Вы знаете, мне даже пришло в голову, что он пропал в застенках Тайной канцелярии.

— Свят, свят, свят!.. — с комическим ужасом воскликнул Лихарев. — Не поминайте, да еще в ночи, про это никому не любезное учреждение. Нет, можете успокоиться, Николай не сделал ничего такого, чтобы очутиться в руках бироновских палачей, и даже пользуется большим благоволением некоторых особ, которые защитят его от шпионов господина Ушакова.

Василий Григорьевич облегченно вздохнул. Теперь он готов был благословлять судьбу, столкнувшую его в герберге с Левашевым и его приятелем, и, если б только это столкновение не имело такого печального исхода, он был бы вполне счастлив. Если Николай невредим и на него не пали грозные очи начальника Тайной канцелярии, значит, нечего опасаться и ему самому, значит, нечего и тревожиться, и пугаться тех страхов, какие рисовало ему давеча его воображение. И, крепко пожимая руку Антону Петровичу, он сказал:

— Не знаю, как и благодарить вас, вы меня просто воскресили. Но скажите мне, где же Николай? В Петербурге или где в ином месте?

Лихарев опять улыбнулся:

— Вот этого опять не скажу, это — опять не моя тайна. Одно могу сказать — ваш братец здоров, жив, невредим и в полном благополучии.

— Но ведь мне хотелось бы его увидеть!

— И увидите, и, весьма вероятно, очень скоро. Скажу вам так, по секрету, что я даже извещу его о вашем присутствии в приневской столице.

— Мне ничего больше и не надо, и за это спасибо. Передайте ему только, чтобы он не долго скрывался, так как мне совсем

не улыбается петербургская жизнь и я тотчас же после свидания с ним удеру в Москву.

— Али наша столица не пришлась по вкусу? — усмехаясь, спросил Лихарев.

— Какое! — воскликнул Василий Григорьевич. — Я в Москве совсем иное думал, а теперь скажу, что если и ввек Питера не видать, так и то бог с ним. Что это за город такой, где вместо жизни слякоть да уныние да люди на людей ни за что ни про что со шпагами кидаются?

— Это, так сказать, в наш огород? На это уж вы не посетуйте, такова, видно, судьба. Мите за это вы здорово отплатили, а меня простите — повинную приношу. Вольно ж вам такое сходство иметь с человеком, которого неведомо как еще земля держит. А впрочем, как видите, все к лучшему. Не походи вы на того мерзавца — не вышло бы между нами ссоры, не выйди ссоры — мы бы не познакомились, а не познакомься — так бы вы и слонялись по Петербургу, разыскивая Николая и не зная, куда он подевался. Ну а теперь иное дело, так что вам гневаться не след.

— Да я об этом и не говорю. Что до меня, так я всему этому очень рад и главным образом рад знакомству с вами.

— И я от души рад — значит, будем знакомы. Захаживайте ко мне, я живу отсюда недалеко, в доме Шнитцлера, на углу Адмиралтейской и Мойки. Заходите, я всегда буду вам от души рад. Кстати, вам все равно придется ко мне зайти, чтобы узнать, когда вы можете повидаться с Николаем...

Они крепко пожали друг другу руку и расстались друзьями. Баскаков, совершенно успокоившийся и освободившийся от угнетавшего его ранее страха, отправился на заезжий двор.

IV

В ЛЕТНЕМ ДВОРЦЕ

В Летнем дворце царила зловещая тишина. Еще недавно шумный и оживленный, он был погружен теперь в тягостное безмолвие. Призрак смерти повеял над ним своим холодным дыханием и спугнул отсюда былое веселье и былое оживление. Императрица Анна Иоанновна умирала. Несколько дней тому назад, еще вполне бодрая, оживленная, она и не предполагала,

что смерть стоит уже за ее плечами, что не пройдет и недели, как душа отлетит из ее тела. Впрочем, как говорили, у императрицы было предчувствие своей близкой кончины. Несколько дней тому назад, сидя за карточным столом и играя с Бироном, Головкиным и Остерманом в ломбер¹, Анна Иоанновна вдруг побледнела как смерть, отшатнулась и быстро, несмотря на свою полноту, в особенности отягощавшую ее в последнее время, поднялась со своего кресла. Когда ее партнеры, удивленно взглянув на нее, спросили, чего она испугалась, императрица дрожащим голосом ответила:

— Мне показалось, что мои карты залиты кровью; это — очень скверный признак... Мне кажется, что я скоро умру.

Ее, конечно, успокоили, постарались это объяснить приливом крови к голове. Императрица мало-помалу забыла о своей галлюцинации и даже снова оживилась, но не прошло и дня, как с нею повторилась галлюцинация и уже в более серьезных размерах.

Об этом, конечно, говорили только шепотом, рассказывали в разных вариантах, но рассказы сводились к тому, что Анна Иоанновна видела своего двойника и видела не только одна, но что с нею вместе видел этого двойника и Бирон, видели и солдаты Измайловского полка, стоявшие в карауле у дверей тронной залы.

Как говорили толки, было уже за полночь, когда часовой, стоявший в тронной зале, заметил вышедшую из внутренних покоев императрицу, одетую в парадное платье. Императрица прошла мимо часового, который поспешил отдать ей честь, но лицо государыни было задумчиво, взор ее был опущен к полу, и она как бы даже и не видела часового. Часовой позвал караул, солдаты выстроились, караульный офицер отсалютовал шпагой, но императрица не заметила этого и продолжала тем же мерным медленным шагом ходить по зале. Так прошло около получаса. Офицера смутила такая продолжительная прогулка в ночное время, и он направился на половину Бирона, чтобы сообщить ему о том, где находится императрица. И тот страшно удивился и воскликнул, что этого не может быть, что он только что сейчас проводил императрицу, которая пошла спать. И, смущенный сообщением офицера, Бирон отправился в залу, входит и видит, что действительно императрица медлен-

¹ Л о м б е р — вид карточной игры.

ным шагом проходит мимо него, но что-то странное поразило Бирона в облике государыни. Это была Анна Иоанновна, но не та, которую он знал, которую он привык видеть, с которой он только что простился. Сходство было поразительное, но ему показалось, что это — или обман зрения, или какая-то самозванка, надевшая на себя императорскую корону и воспользовавшаяся сходством с императрицей. Тогда Бирон бросился в спальню государыни, которая уже разделась и сидела в пудермантеле¹, собираясь лечь в постель. Бирон сообщил ей о странном появлении какой-то самозванки и советовал ей выйти в тронную залу, чтобы в глазах караула изобличить эту ложную императрицу, которая может воспользоваться замешательством солдат. Императрица отправилась в тронную залу и, едва переступив порог, обомлела от ужаса: она видела в двух шагах от себя женщину, которая была как две капли воды похожа на нее и которая, нисколько не смущаясь, стояла с ней лицом к лицу. Но, только Анна Иоанновна хотела приказать солдатам схватить эту самозванку, только она подошла к ней и спросила: «Кто ты? Зачем ты пришла?» — ложная императрица стала медленно отступать к трону, вошла на него, не спуская глаз с Анны Иоанновны, и затем исчезла, точно растаяла в воздухе. Императрица вздрогнула, побледнела и, обращаясь к Бирону, проговорила:

— Я знаю ее, это — моя смерть, она приходила за мной.

Предчувствия не обманули Анну Иоанновну. Через три дня после того, как государыня увидела это странное привидение, она внезапно заболела и слегла в постель. Придворные врачи определили простуду, пускали ей кровь, ставили мушки, но Анне Иоанновне становилось все хуже и хуже, и она уже чувствовала над собой леденящее веяние крыльев смерти.

Придворные приуныли, Бирон растерялся. Всесильный временщик, в течение десяти лет пользовавшийся неограниченным влиянием на государыню, распоряжавшийся судьбами России, ссылавший и казнивший русских людей, понял, что с ее смертью для него будет все кончено, что его владычеству настанет конец и что, может быть, ему придется и очень тяжело заплатить за все раны, какие он нанес России, за все свое самовластие, за всю свою жестокость, за всех двадцать тысяч

¹ Пудермантель (нем.) — накидка, надеваемая во время причесывания для защиты от пудры, которой посыпали парики и волосы в XVIII в.

человек, сосланных и казненных им. Бледный и трепещущий стоял он теперь у постели, на которой умирала императрица. Ей сегодня было немного лучше, хотя дыхание у нее все-таки было прерывисто, а на обрюзгшем лице лежали темные тени. Она поглядела на Бирона, стоявшего около постели склонив голову на грудь, и прошептала:

— Я умираю, мой друг.

— И унесите с собой и мое счастье, и мою жизнь,— глухим голосом отозвался Бирон.

— Ты боишься моей смерти?

— Ваше величество знает, что у меня нет друзей. На верной службе вашему величеству я приобрел только врагов, которые видят во мне иноземца, которые ненавидят меня всей душой, и, не успеет ваша священная душа улететь на небо, они, конечно, не поцеремонятся со мной, и мы, может быть, очень скоро свидимся с вами.

На его глазах засверкали непритворные слезы.

Грустная улыбка тронула бледные губы государыни, и она тихо промолвила:

— Что ты хочешь, чтоб я сделала? Чем я могу упрочить твою власть? Ты мне был верным другом, и я не хочу, чтоб моя смерть принесла тебе, кроме печали, еще и большое горе.

Слезы сразу высохли на глазах Бирона, и они опять загорелись прежним стальным блеском.

— Я уже говорил вам, государыня, как вы можете вознаградить меня. Наследник престола еще младенец, принц Антон не в состоянии править государством, принцесса Анна Леопольдовна слишком слабая женщина, и было бы вполне справедливо, если бы вы поручили мне регентство¹. Я уже стар, и мне бы удалось провести спокойно остаток своих дней, пока будущий император подрастет и примет из моих рук свою власть.

Императрица откинула голову на подушки, закрыла глаза и задумалась. Уже не в первый раз говорил ей это ее любимец, уже не один раз намекал он ей на то, что, только назначив его регентом, она может спасти его от козней врагов. Но Анне Иоанновне очень не хотелось этого. Как ни была она привязана к Бирону, она знала все дурные стороны его характера, знала его жестокосердие, знала то, что он не умеет прощать своим действительным и вымышленным врагам, и понимала, что если

¹ Р е г е н т — правитель страны, опекун при малолетнем государе.

даже ей не удавалось сдерживать его дурные инстинкты, то тем менее его сумеют сдержать слабохарактерная Анна Леопольдовна и совершенно безвольный принц Антон. Но в то же самое время она сознавала, что если Бирон не останется у власти, если он потеряет прежнее обаяние, то его враги не пощадят его и с ее кончиной будет все кончено и для него. Ей было донельзя жалко его, она чересчур привыкла к нему в продолжение долгих семнадцати лет и чувствовала, что не в силах оставить его беззащитным на произвол судьбы.

— Хорошо,— промолвила она, открывая глаза и бросая тусклый взор на лицо Бирона,— хорошо, я исполню твою просьбу, Эрнст, но только дай мне клятву, что ты больше не будешь проливать человеческую кровь.

Сердце Бирона трепетно забилося от радости: он опустился на колени, схватил холодную и влажную руку императрицы и покрыл ее бесчисленными поцелуями.

— Ваше величество спасли мне мою голову, и клянусь вам, что я буду ныне совсем не таким, каким был прежде.

Но его уста не высказали тех тайных дум, которые в это время шевелились в его голове. Ему уже трудно было теперь усыпить свою кровожадность и подозрительность. Он знал хорошо, что, какие бы клятвы ни давал, он не сумеет и не сможет сдерживать их.

Императрица скончалась, едва успев подписать манифест о регентстве и едва успев объявить об этом матери будущего императора Анне Леопольдовне и ее супругу.

Весть о кончине императрицы быстро разнеслась по Петербургу и ни в ком не вызвала больших сожалений. Бироновщина, ставшая словно символом только что окончившегося царствования, слишком истерзала Россию, и в глубине души многие даже обрадовались кончине императрицы, положившей конец и владычеству Бирона. Хотя все прекрасно знали, что принц Антон будет очень плохим правителем, что Анна Леопольдовна слишком ленива для того, чтобы держать в своих руках кормило правления, и что до совершеннолетия младенца императора Иоанна Шестого государственный корабль России, благодаря неумелым кормчим, может потерпеть серьезные аварии от многих политических бурь и гроз, но, во всяком случае, вздохнули свободно уже только потому, что кончились кровавые ужасы бироновского времени, так как знали родителей императора за безусловно добрых людей. Поэтому, когда

флаг на шпиге Летнего дворца спустился, извещая Петербург о смерти императрицы, печальные лица петербуржцев, печальные все эти дни, точно просветлели, и многие вздохнули так легко, как будто с их души скатилась страшная тяжесть.

Вздохнул, между прочим, облегченно и Василий Григорьевич Баскаков, со вчерашнего дня питавший к имени Бирона какой-то суеверный страх. Вчерашние размышления, хотя и успокоенные разговором с Лихаревым, все-таки оставили след в его душе, и он нет-нет да и возвращался мыслью к своим былым страхам и опасался теперь возможности попасть в застенки Тайной канцелярии если не по оговору своего двоюродного брата, так случайно, как случайно попадали туда очень многие люди. Он только что проснулся, а проснулся он очень поздно, что-то в часу десятом утра, — как хозяин заезжего двора, ражий¹ здоровый купец, вошел в его комнату и сообщил ему печальную новость, о которой уж говорил весь Петербург, именно о кончине императрицы. Баскаков облегченно вздохнул и даже перекрестился. Но хозяин на это не обратил никакого внимания, тем более что этот крест мог относиться и к памяти покойной государыни.

— Теперь, сударь, — сказал купец, — у нас император Иоанн Шестой; младенец он еще — это точно, а только все же, кажись, легче будет жить, чем ранее! — прибавил он шепотом, сам тревожно озираясь на дверь.

Но Баскакову было не до разговоров с ним. Ему хотелось поскорее выйти на свежий воздух, подышать полной грудью, посмотреть на то, какое впечатление произвела кончина Анны Иоанновны, а вместе с нею и конец владычества Бирона. Он что-то ответил хозяину, отделался от него несколькими фразами, поспешно оделся и вышел на улицу.

Ему захотелось рассеяться, поговорить с кем-нибудь, поделиться теми впечатлениями, которые лежали у него на душе. Единственный человек, с которым он мог перекинуться несколькими фразами, единственный человек, которого он знал в этом громадном городе, был Лихарев, и к нему-то он решил отправиться теперь.

Лихарева он застал еще в халате; Антон Петрович, просидев у постели раненого друга почти до рассвета, вернулся домой и заснул тревожным сном, который прервал зашедший к нему по

¹ Р а ж и й — здоровый, сильный, видный, крепкий, красивый.

дороге преображенский поручик Милошев, явившийся специально только затем, чтобы поведать приятелю о кончине императрицы Анны Иоанновны.

Лихарев страшно обрадовался Василию Григорьевичу. Баскаков произвел на него самое лучшее впечатление, и он был очень доволен этим знакомством, завязавшимся очень оригинально, хотя и печально.

Дружески пожав руку молодому человеку, он познакомил его с Милошевым, казавшимся какой-то красной девицей, затянутой в офицерский мундир. Совсем юный, даже безусый, поручик Милошев совсем не производил впечатления бравого воина, какими в большинстве были все преображенские офицеры, и оправдывал свое сходство с девушкой не только своим юным видом, не только своими белокурыми курчавыми волосами, но в особенности тем, что при каждой фразе, обращенной к нему, на его полных щеках вспыхивал яркий румянец. И теперь, здороваясь с Баскаковым, он покраснел до корней волос и потупил свои серые глаза с таким странным видом, что Василий Григорьевич не мог удержаться от невольной улыбки.

— Ну, как вы провели сегодняшнюю ночь? — спросил Лихарев, когда Василий Григорьевич уселся. — Что до меня, так я спал отвратительно: только под утро забылся, да и то помешали. Вот пришел Милуша и разогнал мой сон.

— Я спал тоже не лучше вашего! — отозвался Баскаков. — Должно быть, ваш петербургский воздух способен убивать энергию даже в самых стойких людях.

— Ну, это, батенька, не оттого! Просто чересчур сильны были впечатления вчерашнего дня. Кстати, слышали новость?

— Слышал и даже обрадовался.

Милошев удивленно расширил глаза, а Антон Петрович воскликнул:

— Чему же тут радоваться? Событие, можно сказать, самое наипечальное.

Баскаков покраснел, точно школьник, которому дали урок, и смущенно проговорил:

— Вы меня не так поняли. Я обрадовался не тому, что скончалась императрица, я — русский человек, а для каждого русского траур императорской семьи является его собственным трауром; я порадовался потому, что не бывает худа без добра. Очень печально, что умерла государыня, но, воля ваша, я от

души говорю слава богу, что с ее смертью пришел конец владычеству Бирона.

Милошев и Лихарев быстро переглянулись между собою.

— Эге, сударь! — проговорил Антон Петрович. — Так вы, стало быть, ничего не знаете. Опасно о таких вещах разговаривать, тем более вслух: но, с одной стороны, я могу поручиться за солидную толщину стен моей квартиры, а с другой — вы мне внушаете слишком большое доверие, чтобы я вас стал опасаться. В том-то и дело, что, к сожалению, владычество Бирона не кончилось, а еще более усилилось.

Баскаков вздрогнул и почувствовал, как по его коже точно прошла струйка холодной воды.

— Что вы говорите? — воскликнул он.

— Правду, Василий Григорьевич, истинную правду, вот, коли не верите, так Милушу спросите. Он мне все сие и поведал. Государыня перед кончиной над малолетним императором регентство учинила и регентом Бирона назначила — значит, он ныне еще в большей силе, чем прежде. Прежде он, можно сказать, хоть и кушал живьем людей, да все как-никак, а с опаской, а теперь так кушать будет, что только хруст пойдет.

Это сообщение совсем ошеломило Василия Григорьевича. Страхи его явились снова, и сердце забилося не только тревожно, но точно хотело выпрыгнуть из грудной клетки. Он нервно взъерошил волосы, резко вскочил со стула, прошелся несколько раз по комнате крупными шагами и затем сказал:

— Ну, в таком разе прощайте! Ноне же я немедленно в Москву удеру... будет с меня и вчерашних страхов, и сегодняшней ночи. Там, по крайности, я хоть спал спокойно.

Лихарев расхохотался.

— Ого, сударь, здорово же вы напуганы!

— Напугаешься тут, ежели перед глазами то и дело красные рубахи мелькают, а в ушах, что ни минута, «слово и дело» слышится. Нет, кончено! Уезжаю.

— А как же вы Николашу-то хотели видеть?

— Бог с ним! — махнув рукой, промолвил Баскаков. — Коли пожелает нас видеть, может в Белокаменную приехать — не велик путь, а мне совсем своей головой рисковать не хочется; да я прямо изведусь здесь. Это уж ни на что не похоже.

— Как хотите, сударь, как хотите, удерживать вас не стану: и то сказать, большой радости у нас тут нет. Так вы и в самом деле сегодня уедете?

— Сегодня, сегодня, и мешкать не буду! Вот, сейчас к себе на заезжий двор отправлюсь, уложусь — и прямо на почтовую станцию.

— В таком разе прощайте. Жалко мне с вами расставаться, по душе вы мне как-то пришлись, — ну да делать нечего! Авось, Бог даст, увидимся...

Он крепко пожал руку Баскакова. Василий Григорьевич простился с Милошевым и, точно подгоняемый страхом, торопливыми шагами вышел из квартиры Лихарева.

V

НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ

Баскаков крупным твердым шагом шел по мосткам, пробираясь на Невскую перспективу. Твердое решение, которое созрело в нем, нисколько не изменилось оттого, что теперь на улице стало как-то светлее, оттого, что тучи, закутывавшие небо, точно разорвались и с клочка освободившегося от них небосвода упал яркий солнечный луч, точно осыпавший золотой пылью за минуту до этого еще хмурый город, точно озаривший своим блеском петербуржцев, на лицах которых как бы задрожала легкая улыбка, словно вызванная в ответ на улыбку природы. Василий Григорьевич даже не заметил этой метаморфозы¹: у него на душе было хмуро, и поэтому и дома, мимо которых он проходил, и сама улица, и дрожавший перед ним солнечный луч казались ему такими же хмурыми.

Нужно было переходить через дорогу. Погруженный в глубокую задумчивость, даже не обращая внимания на то, что он шагнул прямо в лужу, Василий Григорьевич стал переходить через улицу. В это самое время из-за угла вывернула тяжелая берлина, громыхавшая колесами по грязной мостовой. Кучер, сидевший на кóзлах², заорал обычное «пади», но только в ту самую минуту, когда Василия Григорьевича обожгло горячее, влажное дыхание лошади, пахнувшее ему прямо в лицо. Баскаков испуганно отшатнулся, хотел отскочить в сторону, но было уже поздно: лошадь сшибла его с ног, другая ударила его копы-

¹ М е т а м о р ф о з а — превращение, преобразование чего-либо.

² К ó з л ы — сиденье для кучера.

том, когда он тяжело упал на землю... Все закружилось перед его глазами: и дома, и церковная колокольня, видневшаяся не-вдалеке, по которой скользнул его тускнеющий взгляд, когда он падал, и бежавшие со всех сторон, увидев сбитого лошаадьми человека, люди, и тяжелая берлина, прогромыхавшая мимо него, и он потерял сознание. Кучер берлины бросил равнодушный взгляд на сбитого им с ног человека, щелкнул лошадей бичом и хотел поскорей умчаться, но в это самое время маленькая ручка дернула за шнурок, привязанный к его руке, из окна берлины высунулась женская головка, и он услышал негодующий возглас:

— Степан, как ты смеешь? Остановись сейчас же!

Повинуясь энергичному приказанию хозяйки, кучер сдержал разгоряченных лошадей, выездной гусар¹, стоявший на запятках берлины, торопливо соскочил на землю, отворил дверцу, которую уже нетерпеливо дергала рука молодой женщины, сидевшей в берлине, и хозяйка лошадей, сбивших Баскакова, выпрыгнула из экипажа и почти бегом, волоча прямо по грязи длиннейший шлейф своего платья, подбежала к тому месту, где лежал Василий Григорьевич, окруженный целой толпой неведомо откуда собравшихся зевак.

Лицо Василия Григорьевича было мертвенно-бледно: из рассеченного лба струилась кровь, сбегая по волосам и смешиваясь с грязной водой стоявшей тут же лужи, и трудно было различить сразу, жив ли молодой человек, или уже душа оставила его тело?

Молодая женщина наклонилась над ним и участливо поглядела на красивое лицо жертвы ее лошадей; в глазах ее сверкнули слезинки непритворного горя, и, обращаясь к толпе, с равнодушным любопытством смотревшей на эту сцену, она проговорила дрожащим от волнения голосом:

— Может быть, он еще жив, его нельзя так оставить... ради бога, помогите мне перенести его в мой экипаж.

Ее слова тотчас же подействовали; несколько человек схватили Василия Григорьевича на руки и осторожно перенесли в берлину, где и уложили на мягкое, обитое шелком сиденье.

Прежде чем сесть, молодая женщина сказала кучеру:

— Поезжай, Степан, шагом, как можно осторожнее.

¹ Выездной гусар — служитель у вельможи в венгерской одежде.

Затем она села на переднее сиденье, гусар захлопнул дверцу, и берлина медленно тронулась по улице, провожаемая взглядами толпы, долго еще не расходившейся с места неожиданной катастрофы и оповещавшей о ней новых зрителей, подходивших видя эту толпу.

Когда Василий Григорьевич очнулся и открыл глаза, на его лице отразилось такое удивление, что, если бы он увидел себя в зеркале, он, наверное, расхохотался бы: ему показалось, что он спит, но, неловко повернув голову, он почувствовал какую-то странную, ноющую боль во лбу, поднял руку и ощупал на голове повязку. Тогда он огляделся с тем же удивлением и вдруг вспыхнувшим любопытством еще раз.

Мягкий полусвет, лившийся от закрытого абажуром канделябра¹, падал на совершенно незнакомую ему обстановку: прямо перед ним виднелась тяжелая резная дверь, на которой причудливыми фестонами² лежала голубая бархатная драпировка. Такой же голубой, отливавший теперь бледно-зеленоватым цветом ковер затягивал пол. В углу комнаты, бывшем в поле его зрения, виднелись маленькие красивые креслица. Немного подальше, среди целой купы редких растений, белел мрамор какой-то статуи, очертания которой, однако, не могли уловить его утомленные глаза. Ничего подобного ему никогда не приходилось видеть. Обстановка была слишком роскошна даже для сна.

Он приподнял голову от подушек и поглядел на кровать, на которой лежал. Кровать была так же роскошна, белье было удивительной белизны. В ногах было отброшено тонкое шелковое покрывало, на одном из углов которого, бывшего ближе к нему, виднелся вышитый разноцветными шелками букет роз, казавшийся точно букетом настоящих цветов.

Баскаков чувствовал в голове тяжесть и потому снова опустился на подушку. Он стал припоминать, что с ним произошло, чтобы хоть как-нибудь объяснить себе эту странную грезу наяву, которую он переживал теперь. Последовательно, одна за другой, прошли перед ним сцены сегодняшнего утра до того момента, когда он почувствовал, как его обожгло дыхание, вырвавшееся прямо ему в лицо из лошадиной морды...

¹ К а н д е л я б р — большой подсвечник с разветвлениями для нескольких свечей или электрических ламп.

² Ф е с т о н — накладная вышивка, вырезка; зубцы.

Но тут воспоминания его оборвались; ему показалось, что все это вертится у него перед глазами и у него как бы захватывает дух, точно он летит в какую-то бездонную пропасть... Ноющая боль в голове как бы исчезла совсем, веки упали, точно свинцовые, и он опять погрузился в забытие, не слыша шагов, которые в это время приблизились к двери.

Дверь открылась тотчас же, как только Баскаков снова потерял сознание. Неслышно ступая по пушистому ковру, к постели, на которой лежал Василий Григорьевич, подошла та самая молодая женщина, которая увезла его с улицы, а сзади ее вырисовывалась другая женская фигура, и слабый луч света, вырвавшийся из-под абажура, закрывавшего канделябр, озарил другое молодое женское лицо.

— Он спит,— тихо прошептала хозяйка, наклонившись над Баскаковым и прислушиваясь к ровному дыханию, поднимавшему грудь молодого человека.— Посмотри на него, Соня, не правда ли, он замечательно красив?

Та, которую она назвала Соней, подошла ближе и вгляделась в лицо Василия Григорьевича, хотя и обезображенное повязкой, закрывавшей его лоб, но поражавшее своими правильными чертами, красивым абрисом губ и темными бровями удивительно правильной формы.

— Да, недурен! — промолвила она.— Что ж ты с ним намерена делать, Анюта?

— Прежде всего — залечить его рану, полученную им по моей вине.

Ее подруга неслышно рассмеялась.

— А ты не боишься,— спросила она,— что, пока ты будешь залечивать его рану, шалунишка-амур нанесет рану твоему сердцу?

Молодая женщина густо покраснела.

— Не могла же я бросить его на произвол судьбы! Ты знаешь, я никогда не отличалась бессердечием. Ты понимаешь, когда я увидела, что он попал под лошадей, у меня сердце захолонуло от ужаса. Я так боялась, что он умер, что ты представить себе не можешь. Когда я подбежала к нему, он казался совершенным мертвецом.

— Но мертвецом очень красивым, иначе, что вы там, Анна Николаевна, ни говорите, несмотря на все ваше мягкосердечие, вы не уложили бы его в свою берлину и не привезли бы сюда,— закончила Соня со звонким смехом.

Яркая краска залила щеки Анны Николаевны.

— Тише,— воскликнула она,— ты его разбудишь, ему сон теперь необходим.

— А еще более необходим для тебя. Пока он спит, ты можешь им свободно любоваться; ведь ты с него глаз не спускаешь... До чего ты влюбчива, Анюта, так это просто удивительно! Смотри, чтоб это не кончилось очень печально!

— У тебя на уме только глупости! Ты удивительный человек, Соня! Если бы я не знала твоего доброго сердца, так можно было бы подумать, что ты вся соткана из ехидства. Неужели я не могу загладить свою вину без того, чтоб меня не обвинили в какой-то излишней влюбчивости? Меня, кажется, никто в этом упрекнуть не может! — И Анна Николаевна обиженно поджала свои красивые губы.

Подруга быстро притянула ее голову и звонко поцеловала.

— Ну, не дуйся, пожалуйста! Во-первых, это к тебе и не идет, а во-вторых, я ничего обидного не сказала, а просто предостерегаю тебя. Было бы очень печально, если бы ты, залечив рану этого молодого человека, полученную им по твоей вине, нанесла ему более серьезную рану и, может быть, даже смертельную.

— Это что за странный намек? — бледнея, спросила Анна Николаевна.

— Я не только намекаю, я говорю прямо: не забудь, что Александр Иванович ревнив как черт.

— При чем же здесь Александр Иванович? — вспыхнув, проговорила молодая женщина.

Соня погрозила пальцем:

— Ты начинаешь со мною хитрить, Анюта! Кому же не известно в Петербурге, что граф Александр Иванович Головкин влюблен, как мартовский кот, в ее светлость княгиню Трубецкую?

Анна Николаевна рассмеялась, но глаза ее были грустны.

— Я против этого не спорю,— сказала она,— но, кажется, в то же время никто не скажет, чтобы Анна Николаевна Трубецкая отвечала на кошачью любовь графа Головкина. Я ему не мешаю меня любить, но это еще не значит, чтобы я когда-нибудь ответила на его чувство, и это вам, Софья Дмитриевна, должно быть ведомо.

Соня пристально поглядела на подругу, затем быстро обняла ее талию, прильнула губами к ее уху и шепнула:

— А хочешь, Анюта, я тебе скажу новость?

— Какую?

— Ты, голубушка, влюблена, и влюблена не в кого иного, как в сего неведомого кавалера.— И она повела рукой по направлению постели, где лежал Баскаков...

Трубецкая вспыхнула, резко отшатнулась от подруги и дрожащим от смущения голосом проговорила:

— Из чего ж ты это вывела такое заключение?

— Из того, голубчик,— улыбаясь, но вполне серьезным тоном продолжала Софья Дмитриевна,— что до сегодняшнего дня я не слыхала от тебя ничего подобного. Правда, ты не высказывала своей любви Головкину, но еще в недавнем разговоре со мной на мой вопрос, пойдешь ли ты замуж за Александра Ивановича, ты ответила, что граф Головкин не такая плохая партия, чтоб княгиня Трубецкая осталась вечной вдовой. Ну, клянусь Богом, если я задам тебе такой же вопрос сегодня, то ты, пожалуй, ответишь мне совершенно иначе. Ну-ка, Анюта, тебе передо мной скрываться нечего — говори прямо и откровенно! — И, приблизив свое лукавое личико к самому лицу Трубецкой, пылавшему ярким румянцем, Софья Дмитриевна взглянула в ее глаза.

Анна Николаевна не выдержала этого пытливого взгляда, опустила глаза и после небольшого молчания прошептала:

— Отстань от меня! Я ничего не знаю.

— Вернее, не хочешь быть откровенной?

— Станный ты человек, Соня! При чем тут моя откровенность? Уверяю тебя, что я сама не знаю, что делается в моем сердце, но...

— Но это сердце,— быстро перебила ее подруга,— в данную минуту больше лежит к этой несчастной жертве твоих лошадей, чем к нашему милейшему графу Головкину, не так ли?

Трубецкая опять покачала головой и пожала плечами.

— Не приставай, я ничего не знаю, ничего не знаю!.. И что это у тебя за привычка, Соня, непременно врывать в чужую душу, непременно копать в чужих чувствах?

— Голубушка,— наивно воскликнула Софья Дмитриевна,— да что же мне больше делать? Ты знаешь, я, как те старички, которым уже недоступны земные радости, любят смотреть, как радуются этим радостям другие; так и я: я не могу сама любить, так мне, по крайней мере, приятно видеть, как шалунишка-амур незримою цепью сковывает сердца моих близких.

— Ну да,— проговорила Анна Николаевна, обрадованная, что можно переменить тему разговора, уйти от щекотливого любопытства подруги,— ну да, так я тебе и поверю, чтобы в двадцать девять лет ты сумела засушить свое сердце! Это, родная, рассказывай кому-нибудь другому.

Оживленное личико Сони потемнело, точно подернулось внезапно набежавшей тучкой, смеющиеся глаза как бы потухли, и она тихо промолвила:

— Ты, кажется, знаешь, Анюта, что я совсем не бравирую... Я не засушила своего сердца. Та любовь, которая пылала в нем еще так недавно, горит в нем тем же неугасимым огнем и медленно сжигает мою жизнь. Но я никогда уже не люблю никого другого, никогда не изменю памяти моего несчастного Моти.

При этом имени в ее глазах сверкнули слезинки и медленно скатились по побледневшим щекам.

— А ты уверена,— тихо, тем же печальным, словно надтреснутым тоном, как бы сама проникаясь грустью, охватившей ее подругу, спросила Трубецкая,— ты уверена, что Матвей Александрович умер?

— Конечно! Он был сослан в Тобольск, и вот недавно я писала к местному воеводе Загряжскому, и он мне ответил, что Мотя скончался через три месяца после своего приезда. Да это нужно было ждать. Кто попадет в бироновские застенки, тот уже не жилец на этом свете, даже если бы вышел живым из рук палачей! — И опять слезинки засверкали в ее глазах и снова покатались по щекам.

На несколько минут воцарилось тяжелое молчание, и в это самое время Баскаков снова очнулся, снова открыл глаза и снова поглядел кругом себя с изумлением. Тишина, стоявшая в комнате, обманула его. Трубецкая и ее подруга стояли в изголовье его постели, и он не мог видеть их, но вдруг его слуха коснулся легкий вздох, и мелодичный голос, точно утешая кого-то, проговорил:

— Не плачь, Соня! Ты и так много плакала.

— Да, мне казалось, что я уже выплакала все слезы,— слышался Баскакову другой голос,— мне казалось, что теперь в моем сердце не осталось ничего, кроме любви к памяти Моти да ненависти к злодею Бирону. Но, оказывается, слезы еще не совсем иссякли; впрочем, они высохнут, их утолит пламя моей ненависти.

Этот разговор, эти женские голоса еще более изумили Василия Григорьевича. Теперь уж он не сомневался, что он не спит,

и, чтобы увидеть, кто тут разговаривает, чтобы наконец узнать, куда он попал, он повернул голову, приподнялся на локте и взглянул в ту сторону, где звучали голоса.

Его движение не ускользнуло от чуткого слуха Трубецкой: она быстро обернулась к постели и увидела устремленный на себя лихорадочный взгляд черных глаз. Оживленное этим взглядом лицо показалось ей еще красивее, и она почувствовала, как забилося у нее сердце. Она торопливо подошла к постели, наклонилась над Баскаковым и проговорила:

— Вы пришли в себя, вы очнулись? Как я рада! Ну, как вы себя чувствуете?

VI

ПО ТЕЧЕНИЮ

Услышав мелодичный голос молодой женщины, наклонившейся над ним, увидев ласковый взгляд глубоких бархатистых глаз, Василий Григорьевич опять готов был подумать, что ему видится какой-то странный сон, что и это красивое лицо, и этот мелодичный голос не что иное, как плод его больной грезы.

Трубецкая, видя, что ее больной не отвечает, снова повторила свой вопрос:

— Ну, как же вы себя чувствуете? Не очень вам больно?

— Простите,— пробормотал Баскаков,— скажите мне, ради бога, где я, что со мной, кто вы?

— Разве вы не помните, что с вами случилось?

— Помню, но очень смутно; меня, кажется, сшибла чья-то лошадь.

— Да, да! И, к несчастью, эта лошадь оказалась моею, мой кучер был так неосторожен, что наехал на вас. Вы упали, и я привезла вас к себе, считая себя глубоко виноватой перед вами.

Эти слова, как яркий свет лунного луча, ворвавшийся в темную мглу ночи, осветили таинственный мрак, окутывавший Баскакова. Он моментально успокоился и, уже с веселой улыбкой глядя на молодую женщину, разговаривавшую с ним, сказал:

— Так вот в чем дело! Значит, я был так неловок, что наделал вам еще хлопот?

Трубецкая улыбнулась в свою очередь:

— Вы, кажется, готовы себя обвинять в том, что мои лошади чуть не задавили вас? Это, конечно, черта, свойственная молодости, но я совсем не хочу испытывать вашу любезность, я глубоко виновата перед вами и прошу у вас прощения за эту, хотя и невольную, вину.

— Но в чем же вы виноваты? — искренне удивился Василий Григорьевич. — Скорее виноват я сам, что переходил через улицу, погруженный в думы. На столичных улицах этого делать не следует.

— Но ведь вы были на волосок от смерти! Как сказал врач, если бы удар копытом пришелся немного ближе к виску, то спасти вас было бы очень трудно.

Веселая улыбка опять озарила лицо Баскакова.

— И опять-таки в этом была бы только моя вина, а уж никак не ваша. Нет, нет, ради бога, и не старайтесь доказывать мне противное! Не вы виноваты передо мной, а, напротив, я, что своею неосторожностью наделал вам так много хлопот. И если вы хотите исполнить мою просьбу, так я вам буду очень благодарен.

Молодая женщина, симпатия которой к Баскакову разрасталась все сильнее и сильнее, быстро отозвалась:

— Говорите, ради бога! Нужно куда-нибудь послать? Известить о том, в каком положении вы находитесь? Скажите адрес, и я тотчас же пошлю нарочного.

Баскаков сделал отрицательное движение головой, и ноющая боль, утихшая было давеча, снова возобновилась. Легкая гримаса прошла по его лицу, но он пересилил себя:

— Нет, нет, мне извещать некого, у меня в Петербурге нет знакомых, и я здесь совсем чужой человек. Я бы попросил вас велеть отвезти меня на тот заезжий двор, где я остановился.

Трубецкая побледнела и торопливо возразила:

— О нет, этой просьбы вашей я не исполню! Врач запретил вам малейшее движение, и вы, уж хотите не хотите, приятно это вам или неприятно, а должны будете пролежать до тех пор, пока не будет никакой опасности.

Ее ласковые слова теплой волной прошли по сердцу Баскакова. Эта заботливость о нем тронула его до глубины души.

— Вы слишком добры, — проговорил он, — и ваш образ будет лучшим воспоминанием о Петербурге, о котором я, может быть, буду даже жалеть. Но я, во всяком случае, не злоупотреблю ва-

шим терпением и добротой: мне кажется, что дня через два я буду в состоянии уже подняться на ноги и уехать в Москву.

Сердце молодой женщины при этой фразе как-то странно сжалось, но она прежним веселым тоном отозвалась:

— Когда вы встанете на ноги, вы совершенно свободны, а пока вы — мой пленник. Теперь успокойтесь, так как волнение вам вредно. Сейчас я вам пришлю поужинать, а затем спокойной ночи, утром я опять зайду проведать вас.

Она отошла от постели, бросила на Баскакова прощальный взгляд и затем, обняв за талию Соню и стараясь не смотреть на ее лукаво улыбавшееся лицо, вышла вместе с нею из комнаты.

Когда дверь за ними затворилась, Баскаков невольно улыбнулся.

— Я не могу пожаловаться,— прошептал он, точно разговаривая сам с собою,— что одна часть моей программы, намеченной мною в Москве, как я буду проводить время в приневской столице,— не исполнилась. Я ехал сюда для того, чтобы повеселиться и испытать кой-какие приключения. Веселья я здесь не нашел, но в приключениях зато излишек. Только четыре дня я в Петербурге, а уж это — второе приключение. И, удивительная вещь, судьба точно играет со мной: оба раза — и вчера, и сегодня — мне грозила смертельная опасность, и я благополучно избавился от нее. Очевидно, судьба благоволит ко мне, но все-таки ее искушать не следует. В третий раз она может изменить, а поэтому, как только я поднимусь на ноги, а это, я думаю, будет очень скоро, я тотчас же уеду в Москву. Все-таки у меня будут хорошие воспоминания, а с меня и этого совершенно достаточно...

Однако Баскакову не пришлось уехать в Москву и через два дня, не пришлось уехать и через неделю. Незначительная сама по себе рана на голове вдруг осложнилась нервной горячкой, которая приковала его к постели в доме княгини Трубецкой на очень долгое время.

Трубецкая, с одной стороны, эгоистически обрадовалась тому, что судьба не так скоро разлучает с заинтересовавшим ее человеком, с другой — страшно тревожилась за его жизнь и все это время проводила около его постели, то замирая от страха, когда он метался в горячечном бреде, то торжествуя, когда на него находили минуты просветления и к нему возвращалось сознание.

Молодая натура взяла свое. Через три недели опасность миновала, и Василий Григорьевич, страшно похудевший за время болезни, стал быстро поправляться. И опять, как в то время, когда он метался в жару, так и теперь, Анна Николаевна почти не отходила от его постели, ухаживая за ним с такой нежной заботой, с такой лаской, что Софья Дмитриевна перестала уже улыбаться, а совершенно серьезно заметила своей подруге:

— Ну, Анюта, теперь, кажется, кончено, судьба сыграла с тобой скверную шутку, и я серьезно опасаясь последствий этой шутки, когда Александр Иванович узнает наконец причину твоей к нему холодности.

Действительно, ее опасения были вполне понятны. Анна Николаевна до этой случайной встречи с Баскаковым, правда, не показывала открытой симпатии к графу Головкину, ухаживавшему уже давно за нею, но принимала эти ухаживания. При дворе и в свете стали открыто называть Головкина ее женихом. Трубецкая, слыша эти толки, пожимала плечами, но не опровергала их, чем вводила светских кумушек в еще большее заблуждение, а Александр Иванович был от души рад этим толкам, так как княгиня Трубецкая нравилась ему и как красивая женщина, и как любимая фрейлина покойной государыни, имевшая громадные связи, и, наконец, как обладательница очень крупного капитала. Официального предложения он ей не делал, но, успокоенный городскими толками, собирался его сделать в первую удобную минуту, и только смерть государыни помешала его намерениям. Он ничего не знал об истории с Баскаковым. Трубецкая почему-то умолчала об этом, но он вдруг заметил резкую перемену, происшедшую в молодой женщине по отношению к нему. Она была всегда с ним любезна, всегда очень радушно его принимала, позволяла иногда ему засиживаться против обычая этикета, благосклонно выслушивая его любезности, но, когда он приехал к ней дня через три после того, как Баскакова сшибли ее лошади, Анна Николаевна была совсем не та, что прежде. Встретила она его, правда, по-прежнему радушно, но ее глаза смотрели как-то холодно и жестко. Говорила она с ним любезно, но, когда он вздумал, как прежде, поцеловать ей руку, она вспыхнула и резко вырвала свою руку у него. Через два дня после этого она была совсем заметно холодна с ним, а еще через несколько дней, просидев с ним не более десяти минут, она отговорила головной болью

и заставила его сократить свой визит, на что он совершенно не рассчитывал. Все это поражало Александра Ивановича, все это донельзя удивляло его.

Мало-помалу в нем проснулись подозрения, вслед за подозрениями в сердце колыхнулась ревность, и он стал пытливо отыскивать в своей памяти всех тех, кто мог перейти ему дорогу.

Софья Дмитриевна недаром тревожилась. Граф Головкин слыл за человека мстительного и жестокого, и молодая женщина прекрасно понимала, что, если Александр Иванович проникнет в тайну сердца княгини Трубецкой, если он узнает о странном пациенте, вот уже три недели находящемся в доме той женщины, которую он хотел назвать своей женой,— и Anne Николаевне, и ее протекже грозят тогда большие неприятности. Но Трубецкая, отуманенная чадом любви, вспыхнувшей в ее сердце, не придавала мести графа Головкина ни малейшего значения.

— Ты напрасно пугаешься, душечка,— сказала она Соне в ответ на ее предостережения,— мне бояться нечего: Александр Иванович не имеет никаких прав на мое сердце, а стало быть, и на меня.

— Да, но ведь его все называли твоим женихом.

— Все, кроме меня, и я думаю, что в таких вопросах я хоть что-нибудь да значу.

— Все это так, но ты должна принять в расчет, что Головкину очень хотелось стать твоим мужем, и он будет мстить хотя бы только потому, что его планы разрушены. Во всяком случае, помни только, что осторожность не мешает, и чем осторожнее ты будешь, тем лучше.

Анна Николаевна беспечно отмахнулась рукой, но не дальше как на другой день ей пришлось убедиться, что Александр Иванович Головкин не оставил своего намерения. Он решил серьезно поговорить с Трубецкой и, не обращая внимания на то, что теперь время траура, решил сделать ей предложение. Приехав на другой день после того, как Софья Дмитриевна предостерегла Трубецкую, и сразу заметив, что Анна Николаевна настроена против него не только холодно, но враждебно, он не смутился этим и прямо приступил к делу.

— Вы давно должны были заметить, княгиня,— начал он,— что я бываю у вас не только в качестве простого знакомого.

Трубецкая поняла, к чему он ведет речь; в ее душе зашевелилась непонятная против него злоба, и она насмешливо прервала его:

— Я не замечала этого, так как никогда ничего иного и не предполагала.

Темные глаза Головкина сверкнули злобным огоньком, и он, чувствуя, что она над ним насмехается, захотел скорее дойти до конца.

— Насколько я помню,— проговорил он с заметным волнением,— вы ранее несколько отделяли меня от толпы простых знакомых, но, если вам угодно забыть об этом — я настаивать не буду и только скажу вам, княгиня, что я никогда не был слепым человеком и никогда не был человеком глупым.

По губам Трубецкой пробежала усмешка. Он поймал эту усмешку и вспыхнул до корней волос.

— Ни для кого в Петербурге,— продолжал он,— не тайна, что я люблю вас, ни для кого в Петербурге не тайна, что я хотел сделать вам предложение и был бы очень счастлив, если бы вы приняли его.

Он хотел продолжать, но Анна Николаевна резко перебила его:

— Вы можете не продолжать, граф; мне ясно, к чему вы все это говорите и о чем хотите сказать. Я не сомневаюсь, что вы были бы очень счастливы жениться на вдове князя Трубецкого, но я, граф, не нахожу никакого счастья в этом и совсем не хочу пока менять свою фамилию.

Головкин не только побледнел, но даже позеленел от злости, и лицо его исказилось судорогой.

— Другими словами, значит, вы мне отказываете?

— Вы не ошиблись, но только примите к сведению, Александр Иванович, что я вам отказываю не потому, что вы мне не нравитесь, чтоб я вас считала нехорошим человеком, а просто потому, что я не хочу выходить замуж, что мне моя вдовья свобода дороже новых золотых цепей замужества; я отказываю вам так же, как отказала уже многим, искавшим моей руки.

Головкин никогда не отличался большою сдержанностью. Он всегда был груб и раздражителен, нередко забывая разницу между казармами и светской гостиной, но разрушение его планов, этот отказ, которого он никак не ждал от Трубецкой, окончательно лишили его самообладания. Он дерзко рассмеялся и почти выкрикнул:

— Вы совершенно напрасно хотите позолотить эту пилюлю! Повторяю вам, что я никогда не был глупцом и прекрасно вижу, в чем дело. Прежде в вас никто не замечал, а я тем менее, желания остаться вдовой.

Анна Николаевна усмехнулась:

— Вы совсем забываетесь, сударь! Кажется, я вольна в своих поступках, и мне некому отдавать в них отчета.

— Я и не требую у вас отчета, я просто высказываю свое удивление и, кажется, имею полное право на это.

— Я вам не давала такого права и никогда не дам.

— Неправда! — прошипел он, почти вплотную наклонясь к ней. — Вы принимали мои ухаживания, вы не противоречили толкам о возможности брака между нами, вы слышали, что меня называют вашим женихом, вашим будущим мужем, и ясно было всем, что вы нисколько не против этого.

Анна Николаевна, бледная, трепещущая, с злыми слезами на глазах, стала во весь рост.

— Вы возмутительно ведете себя, сударь! — проговорила она дрогнувшим голосом. — Вот теперь, сейчас, несмотря на то что вы не имеете надо мной никакой власти, вы позволяете себе обращаться со мной так дерзко и грубо, как это водится, может быть, только между мужиками... Согласитесь сами, что было бы слишком глупо сделаться женою дикаря.

Она повернулась и, даже не кивнув ему, направилась к дверям.

— Пойдите! — крикнул он, догоняя ее. — Вы хорошо обдумали последствия своего отказа?

Она полуобернулась к нему и смерила его с ног до головы презрительным взглядом.

— Мне нечего обдумывать, мое решение неизменно! — проговорила она твердо. — Вашей женой я никогда не буду и надеюсь, что если нам и придется когда-нибудь еще раз встретиться с вами, то вы не будете настолько дерзки, чтобы разыгрывать моего знакомого — я с вами больше незнакома! — И, произнеся эти заключительные слова самым презрительным тоном, княгиня быстро шагнула к двери, точно боясь, что граф ее опять остановит, и торопливо притворила ее за собой.

Оставшись один, Головкин злобно рассмеялся и кинул на дверь, за которой скрылась княгиня Трубецкая, такой страшный взгляд, что если бы молодая женщина подсмотрела его, то, конечно, в ее сердце родились бы опасения.

НОЧНЫЕ ГОСТИ

Было около двенадцати часов ночи, когда к двухэтажному каменному дому, темной массой стоявшему на углу набережной Красного канала и Мошкова переулка, один за другим стали подходить человеческие тени, неслышно ступая по скользким мосткам, тянувшимся от казенной аптеки вплоть до этого дома, и так же неслышно, как и подобает теням, исчезая в его стене, выходявшей на Красный канал.

На петербургских улицах, кроме тех мест, где стояла полицейская стража да уныло притаились пикеты, расставленные по приказанию Бирона, не было ни души. Над городом нависла черная мгла, которую даже не разгоняли огни, так как все окна давно уже были темны. В Мошковом же переулке и на берегу Красного канала даже не стояло пикета, и поэтому темные тени, направлявшиеся к угловому дому, не вызвали ничьего любопытного внимания.

Этот угловой дом некогда принадлежал принцу Гольштейнскому, а в последнее время в нем поселилась принцесса Елизавета Петровна, которой почему-то понравился этот мрачный дом. Судя по тому, что в окнах этого дома не было заметно даже узенькой полоски света, можно было предположить, что и сама Елизавета Петровна, и все обитатели ее скромного дворца давно уже погрузились в сон. Но тени, подходившие неслышно к дому принцессы, очевидно, или не знали этого, или были уверены в противном. Они не обращали ни малейшего внимания на темные окна и уверенной поступью, как люди, которые знают, что их ждут, подходили к калитке, проделанной в стене, легонько стучали в нее два раза и затем тотчас же скрывались за дверью, которая снова затворялась за ними.

Если бы какой-нибудь любопытный человек заинтересовался этим и стал считать, сколько человек прошло в эту калитку, он бы, безусловно, изумился, насчитав до цифры шестьдесят шесть. Такое громадное количество ночных посетителей дома принцессы Елизаветы Петровны не могло быть никоим образом случайным, и было бы ясно, что эти странные гости собирались на какое-нибудь тайное совещание.

Ночных гостей, очевидно, ждали. Каждый из них, проскользнув с улицы в небольшую дверь, попадал в совершенно

темный коридор и, пройдя его до конца, медленно поднимался по лестнице до другой двери, тоже запертой, в которую приходилось стучать, как и в наружную калитку, но уже гораздо громче. Постучав отрывисто три раза, каждый из гостей слышал такой же троекратный стук, затем дверь отворялась, и вместе с этим на темную лестницу падал целый сноп лучей ослепительного света, но не добегал до ее конца, а тотчас же исчезал, как только достигал первой площадки.

В той комнате, откуда падал свет и откуда дверь выходила на лестницу, ночных посетителей встречал высокий, еще бодрый старик в темном бархатном камзоле и, пытливо вглядываясь в лицо каждого входившего, в ответ на его поклон делал какое-то странное движение рукой, сложенной таким образом, что, кроме среднего пальца, все остальные были плотно прижаты к ладони, после чего странные посетители проходили в следующую комнату, где и садились на кресла, стоявшие в количестве шестидесяти шести вокруг всех четырех стен.

Здесь, в этой комнате, царило яркое освещение: горела громадная серебряная люстра, спускавшаяся с середины потолка, горели несколько десятков бра, прикрепленных к стенам, да, кроме того, на столе, стоявшем посередине и покрытом тяжелой темно-малиновой бархатной скатертью, стояли два двенадцатисвечных канделябра, тоже бросавших яркий свет. Дверь то и дело открывалась и затворялась. То и дело через ее порог переступали офицеры всех родов оружия, штатские в камзолах всевозможных цветов, но все они — и военные, и штатские — несмотря на то что одни из них были посеребрены сединою, а над губами других едва пробивался пушок, имели на правом рукаве темно-малиновую бархатную ленту, завязанную замысловатым бантом. Все они между собою были уже знакомы. Но они не подходили друг к другу, не протягивали друг другу руки, даже не здоровались между собою. Каждый молча подходил к своему креслу, молча садился, как бы даже не обращая внимания на своих соседей.

Но вот дверь скрипнула в последний раз. Только одно кресло еще и оставалось незанятым, и этот новый посетитель, оказавшийся уже знакомым нам Антоном Петровичем Лихаревым, твердым шагом подошел к креслу и молча опустился в него. Его приход точно разрушил очарование: точно только его и ждали, чтоб прогнать молчание, царившее в этой зале, и в воздухе загудело жужжание от шепота целых десятков голосов,

переговаривавшихся между собою. Кресло, которое занял Лихарев, оказалось рядом с креслом, на котором сидел так жестоко поплатившийся за свою ссору с Баскаковым и получивший тяжелую рану от его шпаги Левашев.

Молодой офицер вылежал в постели ровно две недели и встал совершенно бодрым и здоровым, с легким воспоминанием об этой странной дуэли, оставшимся в верхней части его груди в виде темно-красного рубца. Дмитрий Петрович был донельзя удивлен, когда Лихарев рассказал ему об их удивительной ошибке и о том, что дравшийся с ним юноша оказался двоюродным братом Николая Львовича Баскакова. Левашев ужасно жалел, что не мог извиниться перед Баскаковым за свою грубую ошибку, окончившуюся, к счастью, еще так благополучно, и хотел, как только оправится, написать Василию Григорьевичу в Москву, прося у него извинения. Они и не подозревали, что Баскаков совсем не в Москве, что, несмотря на свое твердое решение покинуть приневскую столицу, он принужден был остаться в ее стогнах¹, и были бы не только удивлены, а даже обрадованы этим обстоятельством, знай только это.

Когда Лихарев сел с ним рядом, Дмитрий Петрович шепотом спросил его:

— Отчего ты так поздно?

— Представь себе, — отозвался тот, — мне показалось, что за мною следят, и я дал порядочного крюка, чтоб только запутать свои следы.

Левашев презрительно усмехнулся:

— Пуганая ворона и куста боится.

Антон Петрович несколько не обиделся на приятеля, и на его ярко-красных губах задрожала веселая улыбка.

— Смейся, смейся! — сказал он. — Не всем быть таким храбрым, как ты... Я, братец, всегда памятую, что фортуна — дама капризная: захочет повернуть колесо не в ту сторону — и как раз под колесом очутишься; и потом, друже, я трушу не за себя, а за все наше дело.

Левашев досадливо повел плечами:

— Все-то вы на куриц мокрых смахиваете! И то, по правде сказать, что ты-то трусишь — не велика беда, а скверно то, что принцесса трусит. Это, брат, куда хуже. Стыдно сказать, до чего она нерешительна.

¹ Стогна — площадь, улица в городе.

Лихарев покачал головой:

— Больно уж ты горяч, Митя! Нельзя, братец, так горячиться! Не забудь, что ты не один.

— Да я это памятую, а все-таки как-то на душе тяжело, когда не знаешь наверняка, выйдет что али нет.

— Ну-ка, брось об этом говорить, скажи-ка мне лучше, что слышно у правительницы? Ты ведь там частенько бываешь.

Дмитрий Петрович покраснел.

— Да ничего особого не слышно! Принцесса целыми днями у себя в уборной сидит, Юлиана вместе с нею, и тощица там, братец, страшная.

— А больше ты ничего не знаешь?

— Ровно ничего.

Антон Петрович бросил на приятеля укоризненный взгляд.

— Эх, сударь, сударь! — промолвил он, совсем понизив голос и качая головой. — Под носом у тебя заговор дается, а ты ничего не знаешь.

— Какой заговор?

— А такой: Анна-то Леопольдовна не даром в уборной сидит: они с Менгденшей такую же штуку затеяли, как и мы с тобой. Рознь только в том, что мы для Елизаветы стараемся, а они для себя хлопочут. Так вот, ты и гляди, как бы они нам дорогу не перехватили.

Левашев удивленно поглядел на приятеля:

— Да ты что это — шутишь али правду говоришь?

— Какие тут шутки? Я, братец, почти наперечет знаю всех, кто в этом действии и участие принимать хочет. Ты вот скажи мне, промежду прочим: его сиятельство генерал-фельдцейхмейстер¹ граф Миних часто бывает у правительницы?

— Частенько.

— Вот видишь, а его сиятельство — всему делу главный коновод.

— Так что же? Коли это так, этому помешать надобно.

— Ни-ни-ни, и не думай! Нам эта история на руку, и даже очень. Перво-наперво они нам дорогу расчистить могут, а второе — если эта курляндская собака что разведает, так всегда на тех свалить можно.

Дмитрий Петрович задумался на минуту, оглянулся по сторонам и, видя, что соседи заняты разговором между собою, что

¹ Генерал-фельдцейхмейстер — главный начальник всей артиллерии.

на их беседу никто не обращает внимания, наклонившись к самому уху приятеля, промолвил:

— А ты знаешь, Антоша, принцесса Анна за Линара Юлиану сватает.

Тот усмехнулся:

— Этого давно ждать нужно было! Чем крепче она этого молодчика привяжет, тем для нее сподручнее, и опять, видишь, нам сие очень на руку: принцессе не до того будет, чтобы серьезную опасность чуют да наши действия предостеречь. Дама она мягкосердая, лености в ней хоть отбавляй, да и потом в этой истории так запуталась, что ей положительно все равно, что вокруг нее творится, лишь бы только Линар не отдалялся от нее. Ну а теперь будет, братец, разговаривать! Я слышу шаги, должно быть, это принцесса к нам жалует.

Лихарев не ошибся. Не успел он закончить свою фразу, как дверь, противоположная той, через которую входили ночные гости, быстро распахнулась, и в ее рамке показалась крупная, статная фигура Елизаветы Петровны.

Любимая дочь Петра Великого, несмотря на то что ей теперь перевалило за тридцать, поражала хотя и несколько грубоватой, но все же эффектной красотой. Годы точно прошли для нее бесследно, бурное дыхание жизни точно не хотело оставить на ее лице никаких следов. Полные щеки принцессы пылали по-прежнему ярким, здоровым румянцем, красивые чувственные губы не только не поблекли, но казались такими же свежими, серые глаза, темневшие только в минуту гнева, сверкали тем же веселым огоньком, каким они сверкали и в те дни, когда Елизавета Петровна еще была маленькой девочкой, и тогда, когда для нее наступили дни зрелой юности. Только немножко полнее стала она, да не так, как прежде, часто скользила по ее губам веселая беспечная улыбка.

Когда принцесса вошла в ту комнату, где сидели ее странные ночные гости, все они разом поднялись со своих мест и, точно по команде, отвесили в ее сторону глубокий почтительный поклон. Елизавета ответила на этот поклон веселой улыбкой, легким наклоном головы и затем, повернувшись к шедшим сзади нее спутникам, из которых один был уже пожилой человек, хотя и богато, но неряшливо одетый, а другой — молодой красавец с огненным взглядом глубоких черных глаз, жестом пригласила их следовать за собою и, подойдя к креслу, стоявшему у стола, опустилась в него. Ее спутники, один из которых

носил звание ее придворного лейб-медика¹ и назывался Лесток, а другой был сыном регистравого казака² Григория Разума, сели по бокам принцессы и вопросительно поглядели на нее.

Несколько секунд тянулось молчание. Елизавета Петровна никогда не отличалась решительным характером; унаследовав от своего отца многие черты его выразительного лица, его рост и его сложение, она в то же время совсем не походила на него характером. Мягкая и даже как бы боязливая, она постоянно старалась отделаться от мысли, что ей суждено воссесть на российском престоле, несмотря на то что она была самой законной наследницей после своего племянника, отрока Петра Второго. В те дни, когда Верховный совет, обойдя Елизавету, вручил императорскую корону ее двоюродной сестре Анне Иоанновне, принцесса не только не огорчилась этим, но даже как бы обрадовалась. Тягость императорской порфиры³ пугала ее, и, когда ее друзья, а в том числе и шеф кавалергардов⁴ Павел Иванович Ягужинский, предлагали ей поднять восстание в ее пользу, она всеми силами своей натуры воспротивилась этому. Только уже к концу царствования Анны Елизавета стала задумываться о том, что она имеет полное право на императорскую корону, и в ней проснулось желание, хотя и поздно, вернуть это право, похищенное у нее верховниками. Но нерешительность и робость натуры сказались и тут: если бы не энергия ее приближенных да не кучка молодежи, обожавшей ее, Елизавета, наверное, не стала бы помышлять ни о каких заговорах в свою пользу, и ее сожаления о потерянной власти так бы и остались простыми сожалениями, так как, пожалуй, она ни за что не решилась бы перейти от слова к делу.

Но Разумовский и Лесток сумели доказать ей, что трусить нечего; она перестала открыто протестовать, и, воспользовавшись этим, маленькая кучка заговорщиков, желавших возвести ее на престол, стала мало-помалу разрастаться, и к тому времени, когда скончалась императрица Анна, уже во всех русских полках, среди уже всего русского офицерства была такая масса сторонников Елизаветы Петровны и было так много врагов

¹ Лейб-медик — врач при семье монарха.

² Регистравый казак — состоящий в должности, на службе казак.

³ Порфира — верхняя торжественная одежда государей, широкий длинный плащ багряного шелка, подбитый хвостатым горностаем.

⁴ Кавалергард — воин, всадник, гвардеец тяжелой кавалерии.

Бирона, что одного малейшего жеста ее было достаточно, чтоб вызвать всеобщее движение в ее пользу. Но Елизавета все робела. Даже теперь, когда, по настоящему совету Лестока, она собрала главных коноводов заговора в количестве шестидесяти шести человек, сидевших теперь перед нею, она все-таки не хотела произнести решительное слово, робкий страх сковывал ее уста, а врожденная инертность заставляла отдалять приказание действовать, которого только и ждали от нее коноводы восстания.

Окинув быстрым взглядом своих гостей, Елизавета снова улыбнулась и проговорила звонким, мелодичным голосом, как и улыбка, располагавшим к ней все сердца:

— Не посетуйте на меня, любезные друзья, что я вас заставила притащиться в такую непогоду; тому не я виной, а вот они,— и она кивнула в сторону Лестока и Разумовского,— рассказали они мне всяких страхов, напугали, будто вам моя медлительность не нравится, а посему я и хотела вас спросить, правда ли все это и действительно ли вы от меня отшатнуться хотите?

Глухой ропот прошел по рядам сидевших у стен, но поднялся отвечать Елизавете только один человек. Это был высокий, бодрый старик Семен Григорьевич Нарышкин, одним из первых приставший к заговору в пользу Елизаветы и уважаемый решительно всеми как за свой древний род, бывший в родстве с царской фамилией, так и за свою дряхлость, так как старику теперь шел уже восьмидесятый год.

VIII

РЕШИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Нарышкин окинул своих сотоварищей вопросительным взглядом, точно прося у них разрешения говорить от лица всех, и затем, поклонившись Елизавете, проговорил старческим дрожащим тенорком:

— Ваше высочество, мы не шатуны какие-нибудь, чтобы от своих слов отречься да от дел отказываться. Как я лично, так и все здесь сидящие только одного и чаем, чтобы вашу персону на российском престоле увидеть. Стало быть, о том и разговора быть не может, чтобы кто из нас вам изменить задумал,

а только одно верно, что нам тянуть так долго надоело, и не потому надоело, что мы лично о каких-нибудь выгодах помышляем, а потому, ваше высочество, что за вашу судьбу боимся. Время бежит быстро, его не догонишь: сегодня, глядишь, удача, а завтра подул ветер в другую сторону — и все, что нами затеяно, сразу развеять может. Не посетуйте на меня, ваше высочество, что я это все говорю; говорю я это, вашему высочеству добра желаячи да за вашу судьбу опасаясь. Ноне сами знаете, какие дни: спроведает господин Бирон о наших тайных замыслах — и поминай тогда нас всех как звали: туда загонит, куда и ворон костей не заносит. Потому и говорю я вам, что медлить доле нельзя и не мы от вас отшатнемся, коли что, а судьба нас всех разгонит, а тогда трудно будет поправить, что раз будет испорчено.

Он замолчал и снова обвел взглядом всех заговорщиков, на этот раз как бы ожидая одобрения своим словам. И все они, точно по команде, кивнули, и из всех грудей вырвался единый возглас:

— Верно, верно Семен Григорьевич сказал, вполне правильные слова.

Легкая тень пробежала по лицу Елизаветы, но улыбка, задрожавшая на ее полных губах, тотчас же согнала эту тень.

— Все это хорошо, други мои,— проговорила она,— но я боюсь одного, что торопливостью все испортить можно: сами, чай, знаете поговорку: «Поспесишь — людей насмешишь».

— Да, но медлительностью,— отозвался Дмитрий Андреевич Шепелев,— можно так же испортить дело, как и торопливостью. Я не знаю, как вы, ваше высочество, того не ведаете, а, по крайности, уходят такие полки, что я всего опасаться начинаю. Бирон чует, что мы ему ловушку готовим, и смотрите, как бы он не разведal всего: у него ушей слишком много, и тогда как раз вам вместо короны придется, пожалуй, клобук¹ надевать.

— Чего же вы хотите от меня?

— Прикажи, матушка, только действие начать,— воскликнул опять Нарышкин,— скажи только одно слово — и не пройдет и недели, как Бирона мы в Шлюшин упрячем, а тебя на престол посадим.— И он горящими глазами впился в лицо принцессы,

¹ К л о б у к — головной убор монахов, высокий цилиндр без полей с покрывалом.

с замиранием сердца ожидая, как и все остальные, что она наконец скажет решительное слово.

Но Елизавета Петровна опять опустила голову, опять резкая морщинка легла между ее бровями, и опять воцарилось молчание. Тяжело ей было сказать это решительное слово. Снова нынешнюю Елизавету заменила прежняя робкая девушка, снова, как и прежде, когда ей советовал Ягужинский, не обращая внимания на верховников, воссесть на прародительском престоле, в ней родилось опасение, что эта задача ей не по силам, что императорская корона придавит ее своею тяжестью и что, далекая от тяготы, которую несет с собою царская порфира, она будет гораздо счастливее и гораздо спокойнее.

Однако нужно же было отвечать. Ее ответа ждали, на нее смотрели, и, когда она подняла голову, она видела, каким лихорадочным блеском горят все глаза, устремленные на нее. И в душе ее, охваченной сомнением, уже было подсказавшим ей отказ от решительных действий, проснулась теперь жалость ко всем этим людям, так охотно несущим за нее свои головы. Она вдруг поняла, что если ей тяжело вымолвить решительное слово, то одинаково тяжело также огорчить все эти верные ей сердца отказом, и она, растерянная, с краской смущения, проступившей на ее щеках, прошептала:

— Я не знаю, что сказать, но я не могу, друзья мои, сейчас решиться.

Легкий вздох сожаления колыхнул десятки грудей. Яркое горевшие на минуту глаза точно потухли, оживленные лица потускнели.

— Эх, ваше высочество, ваше высочество! — проговорил, качая седою головою, Нарышкин. — Не жалеете вы нас, так это пустое дело, а вы и себя не жалеете.

Елизавета развела руками и бросила смущенный взгляд на Разумовского, точно прося его помощи, точно ожидая, что он поддержит ее в эту трудную для нее минуту. Но прежде чем Разумовский успел открыть рот, Лесток, сидевший по другую сторону принцессы, нервно щелкнул крышкой табакерки, которую держал в руках, и заметил, говоря специально для Елизаветы Петровны, но обращаясь не к ней, а ко всему собранию.

— В таком разе, государи мои, — начал он, стараясь шепелявостью замаскировать сильный акцент, слышавшийся в его речи, — в таком разе видно по всему, что ее высочеству наши услуги ненадобны, а посему, так как время уже позднее, расхо-

дитесь по домам да не пеняйте на нас лихом, что мы потревожили вас в такое неприглядное время.

Эти слова укололи Елизавету Петровну. Лицо ее вспыхнуло ярким румянцем, она бросила на своего лейб-медика гневный взгляд и резко сказала:

— Кажись, Герман Генрихович, ты о моих тайных мыслях не осведомлен и за меня решить дело не можешь. Я еще ничего не сказала — ни да ни нет, а ты уже спешишь за меня от их услуг отказываться.

По обрюзглому лицу Лестока прошла хитрая улыбка.

— Я, ваше высочество,— отозвался он,— ваших мыслей не предрешаю, и, если вам угодно отдать приказание, вам никто не мешает это сделать тотчас же, тем более, говорю вам, что медлить не только нечего, но и нельзя. Время к делу теперь самое подходящее, а если мы то время упустим, то потом, пожалуй, ничего не выйдет. Я чаю, что меня в сем и Алексей Григорьевич поддержит, что и он так же, как и я и как все наши друзья, думает.

— Совершенно правильно,— заговорил наконец Разумовский,— я уж про то ее высочеству осмелился говорить. Коли желает она императорскую корону воспринять, то пусть на сие немедля решается.

Елизавета окончательно потерялась. Она чувствовала, что отступить было нельзя, что медлить было невозможно и приходилось одно из двух: или наконец вымолвить ожидаемое с таким нетерпением всеми решительное слово, или же наотрез отказаться от своего замысла. И она, повинувшись вдруг какому-то тайному голосу, повинувшись внезапно вспыхнувшей энергии, торопливо, точно боясь, что в ней проснется опять робость, выговорила:

— Пусть будет так! Коли вы считаете, что мне следует воспринять императорский скипетр¹ российской державы, объявляю вам на то свое согласие и прошу приготовиться к решительным действиям. Герман Генрихович и Алексей Григорьевич укажут вам день, когда к тому приступить, а теперь прощайте, помните, что я надеюсь на вас, что в ваших руках не только моя судьба, но и моя жизнь.

Она поспешно встала, поклонилась всем общим поклоном и вышла из комнаты, а вслед ей прогремел радостный виват, вы-

¹ С к и п е т р — жезл, один из знаков монархической власти.

рвавшийся вместе с облегченным вздохом из грудей всех собравшихся здесь.

Не прошло и нескольких минут, как комната, еще недавно полная народа, снова опустела, а по петербургским улицам снова зашагали таинственные тени, точно расплываясь и тая во мраке.

Левашев и Лихарев шли вместе.

— Слава богу,— шепотом проговорил Дмитрий Петрович,— наконец-то принцесса изволила стряхнуть с себя эту проклятую робость.

— Тише,— остановил его Лихарев,— не говори на улице! Этого ночного мрака нужно бояться даже больше, чем светлого дня. Ты видишь, кругом какая темь; кто поручится, что в этой тьме не притаилось чье-нибудь ухо. Поудержи немного свой язык, успеем наговориться, когда придем ко мне.

Но наговориться им, однако, не пришлось и в квартире Антона Петровича.

Уже шагая по грязному двору и пробираясь к подъезду своей квартиры, Лихарев заметил, что из его комнаты, светлыми полосами врываясь в ночной мрак, падают яркие лучи. Он приостановился, поглядел на окна и досадливо промолвил:

— Кого это нелегкая принесла? Мне, во-первых, страшно спать хочется, а во-вторых, и поговорить по душам не дадут. Наверное, это какого-нибудь гостя принесло: не спится человеку, вот он и забрел с дурных глаз.

Гость, который сидел в комнатах Антона Петровича, оказался поручиком Милошевым.

— Ах, это Милуша! — воскликнул Лихарев, когда его взгляд упал на розовое лицо юного офицера.— Ну, Милуши-то я стесняться не буду... Изволь-ка, сударь,— обратился он к нему,— надевать свой плащ да убираться подобру-поздорову. Я, братец, смертельно спать хочу, а оставить тебя ночевать тоже не могу, так как, видишь, со мной пришел Митя, а другого дивана у меня не имеется. Ну-ка, ну-ка, уходи, сударь. И завтра можем с тобою увидаться.

Милошев вспыхнул как маков цвет, но не от обиды, а по привычке, и, вместо того чтобы подняться с кресла, на котором сидел, и последовать настойчивому совету Лихарева, отрицательно покачал головой:

— Нет, Антон Петрович, как ты там хочешь, а я уйти не могу: у меня к тебе разговор есть. Надобно мне, Антон Петрович, один секрет сообщить, помнишь, по тому делу, о котором мы с тобой уж толковали.

Антон Петрович пристально поглядел на своего гостя, затем перевел взгляд на Левашева.

— Может быть, я мешаю? — спросил тот.

— О нет, нет,— воскликнул Милошев,— об этом и говорить нечего! Вы не только не помешаете, но даже я буду очень рад, если вы примкнете к тому предложению, какое я хочу сделать.

— Ну, делать нечего, Милуша,— проговорил Лихарев,— от тебя, видно, не отвяжешься! Давай разговаривать! — И, точно приглашая Дмитрия Петровича быть как можно внимательнее, он бросил на него многозначительный взгляд.

— Ты, чай, не позабыл, Антон Петрович,— начал юный офицер, понизив голос до шепота,— о чем я тебе прошлую пятницу докладывал?

— Конечно, не позабыл. Так, стало, дело на мази? Ты, значит, форменным заговорщиком сделался?

Милошев кивнул.

— Не только на мази, но мы завтрашний день и действовать решили.

— Вот как! — протянул Лихарев и бросил на Левашева тревожный взгляд.

— Да объясните же, господа, в чем дело? — взмолился тот, хотя и догадываясь смутно, но не понимая ясно, о чем они говорят.

Лихарев хотел было посвятить приятеля в таинственный смысл слов Милуши, но тот предупредил его.

— Видите ли, сударь, в чем дело,— заговорил молодой офицер,— ее высочеству принцессе Анне Леопольдовне от Бирона, как вам ведомо, совсем житья нет. Хоть он и регентом только числится, однако и мать императора, и ее супруга совсем ни за что почитает и распоряжается всем с таким своеволием, словно бы он сам императорскую корону носит. Это уж совсем несправедливо, а потому принцесса Анна и возымела намерение освободиться от опеки господина Бирона. Составился сему заговор, в котором главное участие принимает его сиятельство генерал-фельдцейхмейстер, и на завтрашний день самое действие назначено. Его сиятельство граф Миних арестует Бирона, и сделать это будет совсем нетрудно, так как, кроме Измайловского полка, на стороне правительницы все войска.

Лихарев опять бросил тревожный взгляд на Левашева.

— Вот оно что! — промолвил он.— Так вы, стало быть, уж все и оборудовали?

— Положительно все,— отозвался самодовольно Милошев.

— И чаєте, удача тому будет?

Юный офицер на этот раз покраснел уже от обиды и развел руками.

— Тут и сомневаться нечего.

— Так зачем же ты, сударь, ко мне-то пришел? Зачем же это ты мне эту тайну рассказал? А вдруг я возьму да сейчас к господину регенту отправлюсь да всех вас головой и выдам?

На губах Милошева показалась недоверчивая улыбка, но его голубые глаза тревожно забегали по сторонам.

— Ну вот,— воскликнул он,— точно я не знаю, с кем я говорю! Чай, не к чужому человеку пришел, а к приятелю, да и пришел-то я неспроста. Я так думаю, что ежели такое дело затеялось, так и тебе, Антон Петрович, и вам, сударь, принять в нем участие не мешает.

Дмитрий Петрович и Лихарев опять переглянулись.

— Спасибо тебе, Милуша,— проговорил после небольшого раздумья Антон Петрович,— спасибо тебе, что в такую минуту о приятелях вспомнил, это показывает, что у тебя хорошее сердце, и я этого никогда не забуду. Тайны я твоей не выдам — в этом ты можешь быть спокоен; желаю вам во всем полной удачи и успеха. Первый от души порадуюсь, коли вы эту курляндскую собаку арестуете, а только что до меня — то от участия в сем я отказаться должен.

— И я не могу в этом участвовать,— в унисон приятелю отзывался Левашев.

— Да почему же? — удивленно воскликнул Милошев.

— Потому, дружок, что поздно в последний день к таким делам приставать, а, кроме того, я что-то очень труслив за последние дни стал.

— Ну, как хотите, как знаете! — дрожащими от обиды губами выговорил юноша.— В таком разе прощайте, побегу домой, нужно уж нонече выспаться — завтра спать не придется.

IX

НОЧНОЙ ПОХОД

В покоях герцога Эрнста Бирона, занимаемых им в Летнем дворце, царит странное безмолвие. В прихожих толпятся слуги, все комнаты ярко освещены, но, несмотря на это, все здесь

окутано мертвой тишиной, которая странно тяготит всех и действует неприятно даже на самого всесильного регента, медленно прохаживающегося по своему кабинету. С той минуты, когда императрица Анна скончалась, герцог потерял совершенно спокойствие духа. Его обычная подозрительность усилилась еще более, страх, прежде мало знакомый его душе, теперь зачастую овладевал им.

Несмотря на то что герцогу удалось заставить умирающую императрицу провозгласить его регентом, несмотря на то что его власть как бы еще более упрочилась, фаворит покойной императрицы чувствовал, что почва под его ногами далеко не устойчива, что он слишком одинок среди своих врагов, а своими врагами он мог считать все русское дворянство и весь русский народ, терпевший его жестокое своеволие только до поры до времени. Уже через несколько дней после того, когда он торжественно прочел посмертный акт почившей Анны, которым он объявлялся регентом империи до тех пор, пока ребенку-императору не исполнится семнадцать лет, герцог узнал, что недовольство им среди народа и в войске не только растет, но прорывается наружу, что среди офицеров идет глухой ропот, явно предвещающий взрыв, и хотя он и приказал арестовывать всех, кто слишком возвышает голос, хотя Тайная канцелярия была буквально переполнена действительными и воображаемыми противниками его власти, однако он чувствовал, что это мало упрочит его положение, что нельзя же отрубить поголовно всем головы и, чтобы удержаться на высоте, нужны какие-нибудь иные меры. И вот теперь, медленно прохаживаясь по своему кабинету, пугливым взором вглядываясь в окутанные тенью углы комнаты, тревожно прислушиваясь к гнетущей тишине, стоящей кругом, герцог уже выработал тот план, который давно уже мелькал в его голове, который сможет удержать его надолго у кормила власти.

Ему казалось, что самым лучшим исходом будет возвести на престол Российской империи какое-нибудь новое лицо, чтобы устранить Анну Леопольдовну и ее супруга, в защиту которых звучали уже многие голоса. Он вспомнил о том, что в Германии в данное время находится близкий родственник покойного Петра — принц Гольштейнский, и на него-то и пал его выбор. Он был убежден, что принц, возведенный им на престол, останется, конечно, ему безусловно благодарен и что тогда он может спать совершенно спокойно. И, остановившись на этой

мысли, Бирон даже стал мечтать о том, как выдаст за нового императора свою дочь, а принцессу Елизавету, к которой он чувствовал странное расположение, он хотел выдать за своего старшего сына и этими крепкими связями упрочить свое шаткое в данное время положение. Ему казалось легким осуществить эти мечты, так как он был уверен в том, что ни Анна Леопольдовна, ни принц Антон не пользуются народной любовью, что за них восстают только потому, что он, Бирон, является правителем империи, и что если взойдет на престол император более зрелого возраста, то, конечно, народ и не вздумает защищать права принцев Брауншвейгских, мало знакомых его верноподданническому сердцу.

— Да, так нужно сделать, — почти вслух раздумывал Бирон, — нужно арестовать господ брауншвейгцев, и тогда агитация в их пользу тотчас же затихнет, и я смогу совершенно успокоиться.

Раздавшиеся за дверью чьи-то тяжелые шаги заставили герцога тревожно вздрогнуть и оглянуться на скрипнувшую дверь.

Вошел Миних. Фельдмаршал¹, любезно улыбаясь, подошел к Бирону и воскликнул:

— Ну вот и я, любезный герцог! Мы можем с вами сыграть нашу обычную партию в шахматы, так как, к счастью, я себя чувствую теперь совершенно здоровым и бодрым.

Бирон вообще не любил веселых лиц. Он знал наверняка, что веселая улыбка зачастую скрывает совсем невеселые мысли, знал он также, что Миних очень редко смеется, и это оживление его гостя показалось ему подозрительным.

Пока слуга ставил шахматный столик и расставлял фигуры, герцог все продолжал приглядываться пытливым взором к веселому лицу фельдмаршала, и в его душе поднимались все большие и большие сомнения, а в лихорадочно работавшем мозгу возникали воспоминания о тех обидах самолюбию, которые или прямо через него, или при косвенном участии были нанесены Миниху. Вспомнилось ему, между прочим, и то, как Миних просил у покойной императрицы титула герцога украинского и как он был обижен отказом, последовавшим на его просьбу. Вспомнилось ему также и то, как он лично разбил надежды самолюбивого фельдмаршала, думавшего, что, после

¹ Ф е л ь д м а р ш а л — высшее воинское звание в сухопутных войсках русской армии.

того как герцог курляндский будет объявлен регентом, он будет носить звание генералиссимуса¹ всех сухопутных и морских сил империи, и как он, Бирон, уже лично отказал ему и в этой просьбе. Вспомнилось все это герцогу, а вслед за тем закопошилась тревожная мысль, что Миних не из таких людей, которые способны прощать обиды, что самые опасные раны — это раны, нанесенные самолюбию, и опять, пытливо приглядываясь к лицу фельдмаршала, Бирон мысленно уже решил его судьбу, решил, что гораздо лучше уничтожить Миниха, чем дать возможность Миниху уничтожить его самого. Но он не показал своему гостю и вида, что он его в чем-либо подозревает, и совершенно спокойно уселся за шахматный столик, приглашая жестом фельдмаршала сделать то же.

— Начнем, сударь, начнем! — сказал он. — За вами, кажется, есть еще три партии. Хотя вы и хороший тактик на войне, но порой на шахматной доске делаете такие ошибки, которые совсем недостойны фельдмаршала. — И с этими словами он сделал ход пешкой.

По губам Миниха проскользнула хитрая улыбка.

— Я ношу звание фельдмаршала, — добродушно заметил он, — за то, что никогда не делал ошибок на военном поле, и за то, что всегда умел предупреждать неприятеля.

Бирон зорко посмотрел на него.

— Так что, вас никогда не захватывали врасплох? — спросил он, точно подчеркивая последние слова.

— О нет! — все с тою же хитрою улыбкою отозвался Миних. — Я предпочитаю сам захватывать врасплох и умею быть очень осторожным.

— Так будьте же осторожны, сударь! — многозначительно проговорил Бирон, быстро атакуя слона, неосторожно выведенного Минихом, и одновременно прибавляя: — Вот вы уже сделали ошибку, ваш слон находится в смертельной опасности.

Партия продолжалась недолго. Миних играл удивительно рассеянно, делал ошибку за ошибкой, и ему пришлось сдаться уже на тридцатом ходу.

— Ого, ваше сиятельство! — заметил Бирон. — Или вы сегодня чем-нибудь обеспокоены, или на вас нашла такая неудачная полоса, но вы сегодня играете отвратительно.

¹ Генералиссимус — главнокомандующий, начальник всей военной силы государства.

Миних ничего на это не ответил и только покраснел и пожал плечами.

Началась новая партия, и опять с первых же ходов фельдмаршал стал делать грубейшие ошибки. Эта рассеянность еще более вселила подозрение в Бирона, и, точно желая захватить своего гостя врасплох, он вдруг неожиданно спросил его:

— А что, сударь, не случилось ли вам предпринимать во время ваших военных походов каких-нибудь важных дел ночью?

Миних вздрогнул. Ему почудился и в словах, и в тоне герцога какой-то странный намек, и он едва не растерялся. Но он тотчас же оправился, тотчас же овладел собой и твердо проговорил:

— Я, ваша светлость, не помню таких случаев. Ночь — плохая пособница важным делам, но я считаю неизменным правилом пользоваться всякими обстоятельствами, когда они кажутся благоприятными.

С этой минуты роли точно переменились. Рассеянность перешла как бы на Бирона; он стал удивительно задумчив, и вторую партию удалось уже выиграть фельдмаршалу, так как Бирон едва-едва следил за шахматной доской. Когда партия была окончена и Миних стал прощаться, Бирон попробовал было его удерживать, но тот отговорился своей неизменной привычкой ложиться в мирное время никак не позже половины двенадцатого.

— Если так,— сказал герцог, посматривая на циферблат часов, стоявших на камине,— то я не хочу нарушать ваших обычных привычек; теперь уже десять минут двенадцатого, и мне совсем нежелательно, чтобы из-за меня вы провели бессонную ночь.— И он дружески пожал руку фельдмаршала.

Миних поехал домой и всю дорогу от Летнего дворца до своего дома, стоявшего на другом берегу Невы, думал о странных фразах, которые вырывались у Бирона. Не было сомнения, что регент что-то подозревает. Было по всему заметно, что если Бирон и не знает всего того, что затевается против его особы, то, во всяком случае, он не сегодня-завтра не только догадается обо всем, но будет знать все наверняка от своих шпионов. Следовательно, медлить более было нечего; нужно было тотчас же приступить к делу и не дать возможности герцогу предвосхитить его, Миниха, мысль.

Честолюбивый донельзя и донельзя же самолюбивый Миних действительно был зол на регента за многое. Уже с той самой минуты, когда регент обманул его надежды, когда он сухо

принял просьбу фельдмаршала о назначении его генералиссимусом и решительно отказал ему в этой просьбе, Миних решил во что бы то ни стало свергнуть герцога курляндского. Он тотчас же постарался привлечь на свою сторону офицеров Семеновского полка, а затем ловко дал понять правительнице, что если только она пожелает, то он с преданными ей людьми освободит ее от тирании Бирона. Анна Леопольдовна, чувствуя, что Бирон с каждым днем настраивается против нее все более и более враждебно, давно уже хотела освободиться от него и поэтому, не колеблясь, согласилась на предложение фельдмаршала и обещала ему полную благодарность, если ему удастся привести в исполнение свой замысел. Тогда Миних, стараясь не возбуждать подозрения в Бироне, продолжал показывать к нему прежнюю привязанность и даже подобострастие, но втайне готовился к решительному удару, выжидая только благоприятного случая. Сначала он хотел арестовать герцога днем в Зимнем дворце, куда Бирон зачастую приезжал к принцессе Анне или совершенно один, или в сопровождении одного адъютанта, но затем изменил свое намерение и решил захватить его врасплох ночью и даже приказал на всякий случай поставить караулы к Зимнему и Летнему дворцам из Семеновского и Преображенского полков, шефом которых он был и солдаты которых его очень любили.

Приехав домой, он тотчас же послал за своим адъютантом подполковником Манштейном, и, когда тот явился, они уехали в карету и отправились в Зимний дворец. Фельдмаршал оставил Манштейна в караульной комнате, а сам отправился в покои принцессы, которая уже в это время спала. Миних приказал разбудить любимую статс-даму¹ герцогини Брауншвейгской Юлиану фон Менгден и, когда та, заспанная и встревоженная, вышла к нему, настойчиво стал просить молодую девушку, чтобы она доложила принцессе об его приходе и не теряла времени на праздные расспросы. Юлиана, посвященная в тайные планы Миниха, тотчас же поняла, в чем дело, и задавала только один вопрос:

— Вы что же, намерены произвести переворот сегодня?

— Да,— отрывисто ответил фельдмаршал,— медлить долее нельзя; герцог что-то уже подозревает, и, пожалуй, утром, когда

¹ Статс-дама — старшая придворная дама в свите императрицы или великой княгини.

он проснется, это подозрение перейдет в уверенность, а стало быть, нужно, чтоб он проснулся не иначе, как нашим пленником.

Любимица принцессы не стала больше спрашивать ни о чем, быстро вернулась в спальню Анны Леопольдовны и тотчас же ее разбудила. Анна Леопольдовна вышла к фельдмаршалу, успев только накинуть пудермантель, и, здороваясь с Минихом, быстро спросила:

- Разве все уже готово?
- Да, ваше высочество.
- Значит, вы верите в удачу дела?
- Верю, если не будем медлить.
- В таком случае да поможет вам Бог!

Почти в ту же самую минуту вошли офицеры Преображенского полка, бывшие в дворцовом карауле и предуведомленные Манштейном. Среди них был и Милошев, юное лицо которого было теперь серьезно и даже сурово.

— Господа,— обратилась к ним Анна Леопольдовна,— вы присягали императору и должны защищать его драгоценную особу. Герцог курляндский не только забыл, что он представляет только регента Российской империи, но даже, как до меня дошли слухи, намерен свергнуть императора, а меня и мужа заточить в крепостях. Я бы не поверила этому, если б не видела ежеминутных оскорблений, которые наносит и мне, и моему супругу самовластие регента. Ждать же того, чтоб ему удалось совершить этот преступный замысел, было бы слишком безумно, и потому я решила спасти и своего сына, и себя самое от его происков. Я поручила фельдмаршалу арестовать сегодня герцога Курляндского и надеюсь, что вы, верные своему долгу и присяге, данной вами моему сыну, поможете графу Миниху в этом и будете повиноваться ему.

— Вы напрасно обижаете нас, ваше высочество,— пылко отозвался за всех Милошев,— обращаясь к нам с просьбой; достаточно одного вашего приказания — и мы с готовностью сделаем все, что угодно матери нашего императора.

Принцесса улыбнулась светлой улыбкой, обняла каждого из офицеров, совершенно растаявших от этой ласки, и проговорила взволнованным голосом:

— Я никогда не забуду вашей доброты и вашей услуги в эту трудную для меня минуту.

Все офицеры вышли из комнаты, тотчас же созвали всех солдат, бывших в карауле, поставили их под ружье и объявили

им, что получили приказ правительницы арестовать регента. Ненависть к Бирону была так сильна, что солдаты искренне обрадовались этому приказанию, и не прошло и нескольких минут, как отряд преображенцев в количестве восьмидесяти человек, предводительствуемый Минихом, направился в сторону Летнего сада.

Караулы, стоявшие у ворот сада, несмотря на то, что самим герцогом был отдан строгий приказ никого не пропускать во дворец после того, как он удалится в свои покои, пропустили беспрепятственно маленький отряд, мерным шагом подвигавшийся к Летнему дворцу. Мало того, они тотчас же присоединились к этому отряду, и, когда Миних с солдатами подошел почти к стенам дворца, где спокойным сном почивал всемогущий регент, столько лет державший в страхе и трепете всю Россию, в его маленьком войске было уже не восемьдесят человек, а ровно вдвое.

— Ну, сударь,— обратился фельдмаршал к своему адъютанту, когда они остановились недалеко от подъезда,— ступайте в покои регента и захватите его живым или мертвым — для меня это все равно.

Манштейн взял с собою только двадцать человек и тихо пробрался коридорами Летнего дворца до апартаментов герцога Курляндского. Всюду царила мертвая тишина, слуги спали совершенно безмятежно, часовые, зная о том, зачем пришли Манштейн и сопровождающие его солдаты, сделали вид, что они дремлют, и адъютанту графа Миниха не стоило никакого труда добраться до спальни регента. Подойдя к кровати, на которой спали Бирон и его супруга, он толкнул регента, который тотчас же открыл глаза и испуганно вскрикнул, увидев перед собою лицо адъютанта Миниха.

— Что вам нужно, сударь? — вскричал он, быстро соскакивая с постели и стараясь в потемках отыскать свою шпагу.

— Я пришел арестовать вас по приказанию правительницы,— отозвался Манштейн, подбегая к нему и схватывая его обеими руками с такой силой, что герцог даже застонал от боли.

У Бирона перехватило дыхание, страх подкосил ему ноги, и он отчаянным криком огласил комнату, как бы призывая на помощь. Но помощь не могла появиться. Привлеченные его криком, вбежали гвардейцы, немного отставшие от Манштейна, и как раз вовремя, так как герцог успел освободиться нече-

ловеческим усилием от стиснувших его рук Манштейна. Совершенно обезумев, регент, как бы позабыв, что ему не сладить с целой толпой вооруженных людей, стал отбиваться от них кулаками, нанося удары то одному, то другому из приближавшихся к нему. Солдат это разозлило, и на Бирона посыпались удары прикладов, изнемогая от которых он тяжело рухнул на землю.

Для Бирона было все кончено. Его тотчас же связали по рукам и ногам, заткнули рот платком, хотя уже из его горла не вырывалось не только крика, но даже стога, и отнесли в карету фельдмаршала, в которой и отвезли в Зимний дворец.

Когда карета с арестованным герцогом укатила, громыхая колесами, Миних поглядел ей вслед и, качая головой, промолвил:

— Вот, ваша светлость, мне и пришлось совершить важное дело ночью.

Х

СТРЕЛЫ АМУРА

Нечего и говорить, что, когда наутро разнеслась весть об аресте ненавистного всем Бирона, когда по петербургским улицам потянулись гвардейские и армейские полки, стягиваясь к Зимнему дворцу, чтобы выслушать от Анны Леопольдовны приказания принести ее сыну, а также теперь и ей новую присягу на верное подданство, Петербург сразу потряхнул уныние, которое тяготело над ним во все эти последние дни, и на печальных лицах столичных жителей, словно разучившихся уже смеяться, задрожала радостная улыбка, а из их грудей вырвался торжествующий, облегченный вздох.

Точно желая принять участие в этой радости, охватившей жителей приневской столицы, торжествовавших по случаю освобождения от тягостной бироновской тирании, улыбнулась и природа, дарившая в последнее время петербуржцев только печальным ненастьем. Как с улыбнувшегося человеческого лица сбегает порой печальная дымка, прогнанная веселой улыбкой, так сбежали с небосвода тяжелые тучи, затягивавшие его еще сегодняшней ночью. Если бы теперь Баскаков вышел на улицу, если бы теперь он взглянул на столицу, созданную

Великим Петром на топиях финских болот, если бы теперь он бросил взгляд на оживленные, радостные лица петербуржцев, он бы изменил свое первоначальное мнение об этом городе, встретившем его так сурово и неприветливо, и, пожалуй, не так стал бы рваться назад в Москву.

Впрочем, желание покинуть поскорее Петербург теперь уже ослабло в душе Василия Григорьевича. Он уже оправился от своей тяжелой болезни, уже встал с постели, но еще не выходил на улицу. Старичок доктор, лечивший его, заявил молодому человеку только вчера, что он не выпустит его раньше чем через неделю, и Баскакову приходилось волей-неволей подчиниться этому решению и оставаться пленником в той золотой клетке, в которой он очнулся после падения на улице. Но он не жалел об утраченной свободе. Когда его рассудок окончательно прояснился, когда горячечные грезы оставили его, он припомнил все, что произошло с ним со дня его первого появления на берегах Невы, припомнил и с ужасом и удивлением убедился, что ему не только не хочется, но положительно тяжело расстаться с приневской столицей. С ним в последние дни происходило совсем что-то странное: образ молодой княгини, проводившей возле него почти целые дни, пока он был болен, а теперь все реже и реже заглядывавшей в его комнату, буквально не покидал его ни на минуту. Чувство страстной любви незаметно подкралось к нему, незаметно проникло в его сердце и теперь охватило его властным порывом. Он сознавал, что, покинув этот дом, в котором провел почти три недели, он навеки унесет воспоминание о нем, и, странное дело, он теперь досадовал даже на то, что выздоровел, что встал с постели, а не лежит, как прежде, борясь между жизнью и смертью.

Василий Григорьевич уже знал имя своей хозяйки, так заботливо приютившей его и так ласково ухаживавшей за ним. Он прекрасно понимал, что между ним, захудалым представителем хотя и древнего, но бедного рода Баскаковых, и между одной из первых красавиц, богатейшей вдовой князя Трубецкого, не может быть ничего общего. Он сознавал, что его любовь бесцельна, что он даже не имеет права оскорблять этой любовью молодую женщину, отнесшуюся к нему с такою добротой. Он говорил себе, что должен бежать отсюда как можно скорее, что должен потушить в своем сердце пламя безумной любви, но все доводы рассудка были бессильны перед охватившим его чувством.

«Однако,— думалось ему,— нужно излечиться от этого безумия; вот уж могу сказать: этого приключения я даже и ожидать не мог. Никак я не думал, чтобы Петербург, нагнавший на меня тоску своим ненастьем да туманами, заставил сожалеть о себе. Как я был рад вырваться из него, уходя в то утро от Лихарева, и как тяжело теперь мне сделать это! Но, как бы ни было тяжело, я должен уехать, и уехать даже сегодняя, если только княгиня поймет меня и разрешит мне оставить ее гостеприимный дом. Я чувствую себя вполне здоровым и надеюсь, что мне несколько не повредит более ранний выход на улицу, чем это определил доктор».

И когда через несколько часов после этих его размышлений к нему в комнату вошла Трубецкая, Василий Григорьевич, сконфуженно улыбаясь, чувствуя, как румянец ярким полымем залил его впалые щеки, обратился к молодой женщине с твердым намерением не откладывать долее объяснения и постараться как можно спокойнее и как можно проще объяснить ей причину своего поспешного отъезда в Москву.

— Ваше сиятельство,— заговорил он,— несмотря на то что доктор запретил мне еще даже выходить из дому, я буду просить вас не задерживать меня долее в Петербурге и помочь мне если не сегодняя, то хотя б завтра уехать в Москву. Я и так уже чересчур долго злоупотреблял вашим терпением и вашею добротою, и, конечно, вы не сомневаетесь, что я буду вечно благодарен вам за это.

Официальный тон, которым он выговорил эти слова, поразили не только слух, но и сердце молодой женщины. Она не слышала того, как вздрагивает его голос, не обратила внимания на краску, которою пылали его щеки, не заметила его смущения и чувствовала только, как холод окутал ее сердце, которое вдруг замерло и точно перестало биться.

— Вы хотите уехать? — прошептала она.

Василий Григорьевич не смотрел на нее. Он боялся, что, если он будет любоваться ее милым лицом, у него не хватит храбрости довести до конца принятое им решение, и поэтому он не видел ни бледности, разлившейся по ее лицу, ни того, как потухли ее глаза при его словах.

— Да, я уже здоров, и было бы, во-первых, безумием злоупотреблять долее вашей добротой, княгиня, а во-вторых, я слишком стосковался по Москве, по своим родным, и чем раньше я уеду, тем это будет лучше.

— Стосковались по Москве? — опять прошептала она, чувствуя, как острая боль пронизала ее сердце. Так, значит, она ошиблась, значит, в его взглядах, которые она ловила на себе, она прочла не зародившееся чувство любви, а простую благодарность за ее ласку к нему. Значит, он хотел уехать потому, что стосковался по Москве и по родным, он торопился уехать из приневской столицы, совершенно не жалея, что ее покидает. В его сердце не царит ее образ, и он не унесет его с собою. И при этих мыслях, вихрем пронесшихся в ее мозгу, она почувствовала, что ее грезы разрушены, что ее надежды разбиты; странная слабость стала охватывать ее, и она едва удержалась на ногах. Но она пересилила себя, пересилила это волнение, овладевшее ею.

— Так вы хотите уехать? — проговорила она медленно, точно выдавливая слова сквозь сжатые зубы, боясь, что не выдержит и разрыдается. — Что ж, если так, уезжайте, я вас удерживать не могу, но только попрошу вас переждать до тех пор, пока доктор не разрешит вам выходить из дому. Вы еще так слабы, что рисковать теперь своим здоровьем было бы непростительно.

Голос ее дрогнул и зазвенел, оборвавшись, как рвется высоко натянутая струна. Она не выдержала, и слезы против ее воли брызнули из ее глаз.

Но Баскаков не увидел этих слез. Он все еще боялся взглянуть на Трубецкую и торопливо возразил:

— Нет, Анна Николаевна, не удерживайте меня! Оттого, что я выеду на несколько дней раньше, мне хуже не будет. Поверьте мне, что, если бы я только мог остаться, я бы остался, но я должен ехать; я и так очень долго был в отсутствии, и, наверное, обо мне теперь страшно беспокоятся.

Слезы уже высохли на глазах Трубецкой, и, чтобы замаскировать свое волнение, она даже улыбнулась, хотя улыбка вышла бледной и натянутой.

— Вы так рветесь в Москву, — проговорила она, — что можно подумать, что вы там оставили очень дорогих людей.

Ее фраза кольнула Баскакова. Он хотел возразить ей, что оставит в Петербурге гораздо более дорогого ему человека, но вовремя опомнился.

— Да, я очень люблю свою тетку.

— Может быть, вы любите кого-нибудь еще, кроме тетки? Может быть, в Москве бьется сердце, которое заставляет в ответ биться и ваше? Это вполне естественно, и я глупа, что удерживаю вас, — любовь сильнее голоса рассудка.

— Вы ошибаетесь, княгиня,— медленно отозвался он,— в Москве нет сердца, которое бы билось в ответ на мое чувство.

— Так вы, пожалуй, станете меня уверять, что никого не любите?

Баскаков покраснел до корней волос. В нем вдруг вспыхнуло неудержимое желание броситься к ногам княгини, прижаться лицом к ее коленям и поведать ту тайну, которая таится в его сердце, сказать ей, что она не ошиблась, что он действительно любит, но любит только ее. Но слова замерли на его устах. Он пересилил волнение, охватившее его, и, покачав головой, ответил:

— Вы можете не верить мне, но я действительно никого не люблю. Я еще слишком молод,— прибавил он с бледной улыбкой, едва тронувшей его губы,— и мое сердце еще не успела поразить стрела шаловливого божка любви.

Ей хотелось ему поверить, и она поверила. И в то же самое время и печальная дымка сбежала с ее лица, и глаза снова сверкнули веселым огоньком.

«О, если так,— пронеслось в ее мыслях,— ему не удастся убежать от меня. Не любит, так может полюбить. Трудно вырвать из сердца мужчины уже царящий там образ, но не может быть большого труда завладеть этим сердцем, если оно свободно. Я была бы совсем несамолюбива, если бы не сумела победить его робость; а теперь посмотрим, Василий Григорьевич, как-то вы устоите от моих чар?» И, весело улыбаясь ему, она воскликнула:

— Ну, сударь, как вы там хотите, сердитесь на меня или нет, а я вас не выпущу из плена. Если вы не хотите позаботиться о своем здоровье, так я позабочусь о нем, и ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра вы не уедете в Москву.

Баскаков побледнел.

— Анна Николаевна,— взмолился он,— ради бога, не удерживайте меня!

— Ан вот и удержу.

— Но зачем же, зачем?

— Затем, что вам вредно выходить из дому, и я не хочу, чтоб вы когда-нибудь могли упрекнуть меня, что из-за меня потеряли здоровье.

Он вздрогнул и побледнел еще сильнее. Ему не представлялось иного выхода, как объяснить молодой женщине, почему он

хочет покинуть ее дом, и он с глухой дрожью в голосе проговорил:

— Княгиня, вы напрасно удерживаете меня; мне не хотелось бы объяснять вам причину моего желания оставить Петербург, но я принужден буду ее сказать, и тогда, конечно, вы не только не станете меня удерживать, а даже обрадуетесь моему отъезду. Но я еще раз умоляю вас, княгиня, не добиваться этой причины! Будет лучше, если вы не узнаете о ней...

— Но почему же? Или, может быть, в ней есть что-нибудь преступное или постыдное?

— Скорее преступное, чем постыдное.

Она удивленно расширила глаза:

— Вы меня пугаете, сударь! Уж не принадлежите ли вы к числу заговорщиков?

Баскаков улыбнулся и отрицательно покачал головой:

— О нет, в такое смутное время опасно вступать в заговоры.

— Но тогда что же, что же? Что заставляет вас покинуть мой дом, в котором, надеюсь, никто не сделал вам ничего дурного, в котором никто не посмел бы оскорбить вас?

Баскаков понял, что он может сломить ее упрямство только откровенностью, и, чувствуя, как бледнеет, глухо сказал:

— Я это знаю, но я оскорбил бы вас, если бы остался здесь долее.

Анна Николаевна еще не поняла, но ее сердце охватило смутной надеждой.

Она быстро схватила его за руку и воскликнула:

— Не томите меня более, довольно загадок, я требую от вас правды, одной только правды!..

— Если так,— отозвался он упавшим голосом,— выслушайте, но не сердитесь на меня. Я, конечно, понимаю, что моей дерзости нет имени, я понимаю, что за вашу заботливость и ласку я бы не должен был отплатить вам так, но не вините меня очень, Анна Николаевна! Моя молодость извиняет меня. Я не мог, видя вас постоянно около себя, любуясь вашим лицом, слушая ваш нежный, ласковый голос, не проникнуться к вам такою сильной привязанностью, которая теперь превратилась в любовь. Я знаю, что это дерзко, почти безумно с моей стороны, но я не в силах совладать со своим сердцем и потому-то и бегу от вас, чтобы не оскорблять вас своим присутствием, своею дерзостью, своею неразумною любовью.

Он окончил, не смея поднять на нее глаз, и стоял опустив голову, как приговоренный к смерти, ожидая услышать ее гневный голос, ее сухое приказание уезжать как можно скорее, ее насмешливый совет поскорее излечиться от этой страсти, зародившейся в его сердце. Но вместо этого он вдруг почувствовал, что две нежные, горячие ручки охватили его шею, что к его бледному лицу прислонилось другое лицо, горевшее ярким румянцем, и веселый взгляд черных глаз впился в его глаза. И в ту же минуту он услышал нежный шепот, наполнивший все его существо неизъяснимым блаженством:

— Глупый, и ты хотел бежать от меня? И ты не понял, что я люблю тебя, что твоя любовь для меня не оскорбление, а счастье?

И, слыша этот шепот и видя перед собою полураскрытые, так и манившие к поцелую губы, только что произнесшие эти слова, совершенно забывшись от неудержимого восторга, Баскаков прильнул к этим горячим губам своими губами и замер в долгом поцелуе.

ХІ

ВСТРЕЧА

Лихарев страшно изумился, когда к нему в квартиру вошел Василий Григорьевич Баскаков.

— Вот тебе раз! — воскликнул он. — Вот не ожидал-то! Значит, вы опять прибыли в наши Палестины¹?

Баскаков весело расхохотался.

— Вы еще более удивитесь, — сказал он, отвечая на пожатие Лихарева, — когда узнаете, что я даже не покидал Петербурга.

Антон Петрович развел руками:

— Признаюсь, история! Где же вы все это время прятались?

Баскаков махнул рукой:

— Ох, уж лучше и не спрашивайте! Могу сказать только одно, что, очевидно, я родился, как говорят астрологи, под звездою приключений. Уйдя тогда от вас с твердым намерением тотчас же отправиться на почтовый двор, чтобы уехать в Москву, я был сшиблен и чуть не растоптан лошадьми быстро

¹ Палестины — отечество, отчизна, родина.

мчавшейся кареты, а очнувшись и придя в сознание, увидел себя в каком-то земном раю.

— В котором и провели весь этот месяц? — расхохотавшись, проговорил Лихарев. — Поздравляю, поздравляю, мой друг! Ну, кто же она, эта владычица ваших тайных дум и грез?

Василий Григорьевич покраснел и смущенно замялся.

— Не говорите, не надо, — быстро заметил Антон Петрович, — я совсем не хочу врываться в вашу душу и совсем не требую, чтобы вы открыли мне свои тайны. Скажите-ка вы мне лучше, что вы намерены с собою делать? Думаете ли вы остаться в Петербурге или уедете обратно в Москву?

Баскаков подумал несколько мгновений.

— Я бы очень хотел, — отозвался он после раздумья, — остаться в Петербурге, но принужден буду поехать в Москву.

— Это зачем же? Если ваше сердце остается на невских берегах, так оставайтесь и вы сами.

— Не могу, срок моему отпуску кончается, и мне необходимо вернуться на службу.

Лихарев махнул рукой:

— Это, батенька, пустяки, об этом теперь и разговаривать нечего. Теперь времена переменились, и я знаю некоторых лиц, которым стоит только шепнуть одно словечко, чтобы вас тотчас же перевели на службу в Петербург.

— В самом деле? — обрадовался Баскаков. — Это можно сделать?

— Да хоть сейчас же. Вот, садитесь к моему столу, там есть и бумага, и перья, пишите прошение о своем переводе, и не пройдет нескольких дней, как вы будете перечислены.

Василий Григорьевич не заставил повторять приглашение, тотчас же уселся у письменного стола и принялся торопливо скрипеть пером. А пока он писал, Лихарев медленно прохаживался по комнате, пуская густые клубы дыма из длинного, обмотанного разноцветным бисером чубука¹.

Прошение, которое писал Баскаков, подвигалось уже к концу, когда в смежной комнате застучали чьи-то шаги и послышался чей-то грубоватый басок, удивительно знакомый Василию Григорьевичу; при первых же звуках его он нервно шевельнулся на своем стуле, оторвался от своего писания и вопросительно поглядел на Лихарева.

¹ Ч у б у к — полый деревянный стержень, на который насаживается курительная трубка.

— Узнали? — улыбаясь, проговорил тот. — Ведомый вам человек-то!

— Кто это? — спросил, все еще не в силах припомнить, кому принадлежит этот голос, Василий Григорьевич.

Но Лихарев не успел ответить. Владелец грубоватого баска уже входил в комнату, и Баскаков, едва взглянув в его лицо, сорвался с места и бросился в объятия пришедшего.

— Коля, голубчик! — воскликнул он.

— Васютка, вот уже не ожидал-то, братец!.. — И Николай Львович Баскаков, выражая на своем лице неподдельное изумление, вырвался из объятий брата и впился смеющимся взглядом в оживленное лицо молодого человека.

Николай Львович по виду казался старше своего двоюродного брата, но в действительности между ними не было большой разницы в годах, и, в то время как Василию Баскакову шел теперь двадцать второй год, его кузену минуло только двадцать шесть. Но на вид он был старше по меньшей мере лет на десять. Кутежи и бессонные ночи, слишком бурные волнения жизни и частые любовные утехи наложили резкую печать на его выразительное красивое лицо.

— Да нет, Васютка, — воскликнул он, — скажи ты на милость, какими ты здесь судьбами? Вот что хочешь ожидать бы я мог, а уж твоего появления в приневской столице никоим родом. За каким тебя лешим сюда принесло?

Василий Григорьевич рассмеялся:

— Я и сам хорошенько не знаю, зачем я сюда приехал. Захотелось просто проветриться, я и махнул в Питер.

— Ну что, мамаша здорова?

— Здорова, но страшно беспокоится о тебе, не получая писем. Ты знаешь, Коля, — быстро прибавил Василий Григорьевич, — я разыскивал тебя целых три дня и совершенно отчаялся хоть что-то узнать о тебе.

Николай Львович расхохотался, и в его смехе зазвучали еще более грубые нотки.

— Ничего в том мудреного нет! Меня не только ты, а коллегия иностранных дел отыскать не могла.

— Да ты где же пропадал?

— Где пропадал-то? — Николай Баскаков хотел было уже сказать какую-то фразу, но точно вовремя одумался, отмахнулся рукой и воскликнул: — Ну, это, братец, до тебя не касается! Видишь, жив и здоров, а до остального тебе нет дела. Ты мне расскажи лучше, давно ли ты в Петербурге?

— Уже месяц.

— Целый месяц? Молодчина! Да что ж ты здесь делал столько времени? И потом, каким это ты родом, с Антошей познакомился?

— Ну, это, друже, — перебил Лихарев, — рассказывать очень долгая история. Столкнулись мы с твоим братом совершенно случайно, но этот случай оказал нам большую услугу. Садись и рассказывай, хочешь ли чаю, или дать тебе вина?

— Вот еще чудак! — отозвался Николай Баскаков. — Или ты не знаешь, что мне ваше китайское пойло не по вкусу? Вина, братец, вина!

Антон Петрович крикнул Федора, приказал подать вино и стаканы, и через несколько минут трое молодых людей сидели за столом, медленно потягивая душистую малагу и ведя нескончаемый разговор.

Вино развязало языки, и мало-помалу Лихарев рассказал Николаю Львовичу о том, как он и Левашев встретились с его двоюродным братом в герберге на Невском, как затеяли с ним ссору, рассказал о дуэли, происходившей на Царицыном лугу, и о том, наконец, как разъяснилось это странное недоразумение. Василий Григорьевич поведал о своем последнем приключении, сначала стесняясь, а затем, когда вино зашумело в его еще слабой голове, откровенно сознался, что он влюблен в притившую его красавицу, и что она любит его, и что, весьма вероятно, он скоро пригласит своих собеседников на свадьбу. Не сказал он только имени любимой им женщины, да ее именем и не интересовались, а когда он окончил свой рассказ, Николай Львович одобрительно хлопнул своего кузена по плечу и воскликнул:

— Молодчина друг! Узнаю в тебе баскаковскую кровь! Ну да это вполне и понятно — ишь ты каким амурчиком выглядишь! Будь я женщиной — и то бы в тебя влюбился.

— Ну-ка поведай, Коленька, как твои дела обстоят?

Николай Львович усмехнулся, бросил пытливый взгляд на своего двоюродного брата, залпом выпил стакан, стоявший перед ним, и вино окончательно разогнало последние остатки его сдержанности.

— Эх, была не была! — пробасил он. — Нечего мне Васеньки стесняться! Я, братец ты мой, тоже жениться задумал, только ты, чур, Васютка, матери ни слова. Когда нужно будет — я сам ей обо всем отпишу. Смотри, не выдавать! — И он погрозил

пальцем.— У меня, братец, тоже приключение, и приключение, пожалуй, твоего поинтереснее. Тебя лишь только лошади зашибли, ты сам смерть за плечами чувствовал, а я, братец, свою богиню от смерти спас.

— Ну, ну, не тяни! — перебил его Лихарев.— Рассказывай! И мне ведь интересно узнать начало твоего знакомства с твоей красавицей.

Николай Львович оглядел своих собеседников смеющимся взглядом и забасил:

— Эх, други мои милые, мало ли что случается на свете! Таким родом дело было. Только что я из берлинской амбассады отписался, потому надоел мне этот самый колбасный город до чертиков, и в Питер прикатил. Не успел я из почтовой кареты вылезть, а дело, нужно сказать, было повечеру, как гляжу: подъезжает к почтовому двору небольшая каретка, и вылезает из нее мужчина ростом невысокого, но вида зело¹ препротивного. Как взглянул я на его богомерзкую рожу, так у меня даже сердце засосало. Понимаете, бывают такие люди — увидишь ты его, и лицо-то тебе совсем незнакомое, а вот так руки и чешутся, чтоб ему в горло вцепиться. Такая же, понимаешь, штука и с мной приключилась. Упал это на его рожу луч от фонаря, и так-то мне захотелось его пинком угостить, что просто страх. Однако я удержался, велел своему лакею, что со мной из Берлина приехал, возницу нанять да домой вещи отнести, а сам, думаю, пройдусь пешочком по городу да погляжу, что на улицах делается. Ну, вышел за ворота, прохожу мимо каретки, из которой только что этот препротивный господин вылез, слышу — стон оттуда несется. Нащупал это я шпагу, попробовал, ловко ли она из ножен вылезает, да к дверце, а кучер, здоровенный такой мужичище, орет мне это с козел:

«Не подходи-де, сударь, ступай своей дорогой!»

Робким-то я никогда не был, схватила меня злоба теперь, вытащил я шпагу и говорю:

«Ты, чертова кукла, не ори, если не хочешь этого гостинца попробовать! А я пойду своей дорогой только тогда, когда узнаю, кто это там в карете стонет», — а сам опять к дверце. Кучер это с козел шасть — да на меня; я, натурально, кольнул его шпагой, чтоб он свои руки далеко не протягивал, а он сдуру таким благим матом раскричался, что чуть ли не все почтари сбежа-

¹ Зело — весьма, очень, сильно, крепко.

лись. Прибежал и господин этот. Кучер ему и говорит: «Вот, говорит, сударь, этот самый человек в нашу карету залезть хотел, а я ему помешал, а он меня шпагой пырнул и чуть на месте не положил». Господин с богомерзкой рожей позеленел не то от злости, не то от страха. «Как вы,— кричит,— смеете бесчиние чинить да в чужие кареты лазать? Такой дерзости я не потерплю и посему, коли вы добром не отойдете, то городских сержантов крикну».

Усмехнулся это я и очень вежливенько отвечаю: «Дорогой-де я своей, государь мой, идти не намерен, бесчинства никакого не чиню, а буду весьма доволен, ежели вы городских сержантов крикнете, потому подозрение меня большое берет, что в вашей карете умирающий человек есть, так как явственно я его стон слышал». Не успел, понимаете, я этих слов вымолвить, как мой сударик быстро отворил дверцу, быстро вскочил в карету, крикнув кучеру: «Пошел во весь опор»,— да и дверцу хотел уж захлопнуть, но я быстрее молнии бросился на кучера, который взбирался уже на козлы, одним ударом сбросил его наземь, еще быстрее рванул дверцу и хотел сего господина вежливенько за шиворот взять, а тот вдруг выхватил пистолет да и бац в меня. Произволение¹ ли Господне спасло, рука ли у него от страха дрогнула, только пуля с жужжанием мимо проскочила да кончик уха мне обожгла. Ну, тут уж, конечно, церемониться я не стал! Вытащил сударика из кареты и так его стиснул, что если б почтари его от меня не отняли, так, пожалуй, из него бы и дух вон вышел. Связали господина, связали и кучера, прибежали сержанты, сказал я им, кто я таков, и поволокли их на съезжий двор, а в это время осмотрел я карету и вижу — лежит там с головой завернутая какая-то женская фигура. Помогли мне ее вытащить, развернули мы платок, которым ее голова была окутана, и вижу я девушку красоты неписаной. Так у меня сердце и захолонуло: показалось мне, что она уж не дышит. Недолго думая привез я вот ее сюда, к Антону, на квартиру, и оказалось, что она почти была задушена. Однако отходили мы ее, и сказала она мне — Антоша-то этого не слышал — очень любопытную, но и очень грустную историю.

— Отчего ты мне не хотел рассказать это, когда я тебя спрашивал раньше? — спросил Лихарев в то время, когда Николай Львович остановился, чтобы передохнуть и промочить вином пересохшую во время рассказа глотку.

¹ Произволение — согласие.

Николай Львович пожал плечами:

— Да просто так, не приходилось, а вот теперь пришлось, я и рассказываю. На чем я, бишь, остановился? Да, да, вспомнил! Дело-то вот какого сорта: барынька-то эта оказалась вдовушкой одного сенатского чиновника, умершего незадолго перед тем и оставившего ей в наследство довольно-таки кругленький капиталец; но, кроме капиталца, остался после ее супруга, его брат, нигде не служивший, но проживавший очень-таки роскошно в надежде на наследство, которое оставит ему брат. Но умер супруг моей вдовушки, и надежды его прекратились. Тогда, видя, что кредит, который он имел, уже иссяк, что все те, кто верил его обещаниям расплатиться после смерти брата, перестали ему верить, этот человек стал измышлять способы, как бы ему вернуть деньги брата, оставленные тем вдове. Сначала он стал ухаживать за вдовушкой, рассчитывая увлечь ее и жениться на ней, но та его инстинктивно не любила и раньше, а теперь невзлюбила еще более и отказала ему наотрез. Между прочим, муж, завещая ей свое имущество и свои капиталы, оговорил, что в случае ее смерти это наследство должно перейти не к ее родне, а к его брату. Вот, узнав об этом, сей господин и решил не дожидаться естественной смерти своей невестки, а ускорить эту смерть искусственным образом. Попробовал он подкупить прислугу невестки и отравить ее самое, но это не удалось. Тогда-то он и решил похитить ее и отвезти в одну деревушку, верст за пятьдесят от Петербурга, где, конечно, и задушил бы ее собственноручно, чтобы сделаться ее наследником. На его несчастье, лошадь, запряженная в его карету, захромала, и тогда он вздумал переменить лошадь на почтовом дворе, где судьба и столкнула его со мной. Таким-то образом я оказался спасителем прелестной вдовушки, а она в благодарность за свое спасение полюбила меня так же пылко, как полюбил ее я.

— Что же сделалось с этим господином? — спросил Василий Григорьевич.

— А нетерпеливый наследник попал в сыскную канцелярию¹ и, конечно, выйдет оттуда очень не скоро, да если и выйдет, то только затем, чтоб прогуляться в сибирские леса. Так-то, други мои,— закончил Николай Львович, наливая из новой бутылки в уже опустевшие стаканы своих собеседников и наполняя свой стакан,— такие-то шутки шутит порой судьба! А посе-

¹ С ы с к н а я (канцелярия) — уголовная, судебная канцелярия.

му выпьем за эту судьбу, бросившую тебя, Вася, под копыта лошадей и этим создавшую тебе счастье, и за судьбу, пославшую меня как раз вовремя, чтобы вырвать мою будущую супругу из рук ее нетерпеливого наследника.

— Выпьем,— весело отозвались молодые люди и чокнулись стаканами с Николаем Львовичем.

— Ну а что поделявает Левашев? — спросил тот.— Мне бы его очень хотелось увидеть.

— Да ты, наверное, его увидишь,— отозвался Антон Петрович,— он обещал ко мне зайти.

— Так он уже поправился,— радостно воскликнул Василий Григорьевич,— значит, моя шпага ненадолго приковала его к постели.

— Какое! Он провалялся не больше двух недель.

XII ДВОЙНИК

С непривычки, благодаря большой слабости от недавней болезни, после нескольких стаканов выпитой малаги у Василия Григорьевича закружилась голова. В низеньких комнатах лихачевской квартиры было слишком дымно и душно, и Баскакова потянуло на воздух. Когда он вышел на улицу, день уже клонился к вечеру, но вечерний сумрак еще боролся с уходящим днем, и косые прощальные лучи солнца еще бороздили безоблачное небо и горели на церковных крестах и на шпиле Адмиралтейства.

Василий Григорьевич шел задумавшись, как вдруг до него долетел какой-то окрик, и, оглянувшись на донесшийся до него голос, он заметил остановившиеся в нескольких шагах от него сани, в которых сидел какой-то молодой военный, усиленно делавший ему призывные жесты. Баскаков удивленно поглядел на этого военного и, так как он видел его впервые в жизни, понятно, не счел нужным сходить с мостков, чтобы последовать призыву совершенно незнакомого человека, и, пожав плечами, снова пошел своей дорогой. Но офицер, сидевший в санях, торопливо выскочил и еще торопливее догнал Баскакова.

— Послушайте, сударь,— окликнул он его,— неужели вам так трудно было перейти мостовую, что вы меня заставили вылезать из саней?

Василий Григорьевич оглянулся на говорившего с ним, зорким взглядом сразу схватил красивый, но надменный облик этого незнакомого офицера и почувствовал к нему какую-то безотчетную антипатию. Ему не понравились серые, отливавшие каким-то холодным блеском глаза незнакомца и его резко очерченные губы, немного опущенные на углах, словно подчеркивавшие чувственность и злобность натуры. Баскаков пожал плечами и, усмехаясь, иронически ответил:

— Кажется, вам совершенно и незачем было вылезать из саней, тем более что я лично нисколько не нуждался в этом.

— Не шутите, пожалуйста, сударь! Вы мне нужны, и мне необходимо поговорить с вами. Я послал письмо к вам на квартиру, но очень рад, что встретил вас сам. Садитесь со мною, и я вас довезу к себе.

Баскаков хотел было обидеться, в нем поднялось какое-то непонятное раздражение, но он сразу вспомнил о существовании в Петербурге своего двойника, сразу понял, что это удивительное сходство ввело в заблуждение разговаривавшего с ним офицера.

— Вы изволили ошибиться, сударь,— проговорил он, улыбаясь,— вы меня, очевидно, приняли не за того; я вас не знаю, и вы меня также, и никаких общих дел у нас с вами быть не может.

Офицер смутился, покраснел и, пытливо оглядывая Баскакова, развел руками.

— Приношу свое извинение, удивительное сходство! — воскликнул он.— То есть, знаете, бывают случаи, но господин, на которого вы похожи,— или ваш близнец, или ваш двойник. Еще раз прошу извинения за беспокойство! — И, поклонившись Баскакову, виновато улыбаясь в ответ на его беспечную улыбку, офицер быстро вернулся к своим саням, уселся в них и крикнул кучеру: «Пошел!»

Василий Григорьевич поглядел ему вслед, покачал головой и снова зашагал мерным шагом, а офицер, которого быстро мчавшиеся лошади несли по Невскому, раздумывал об этой странной встрече и об этом удивительном сходстве.

— Ну, влопался! — шептал он.— Вот так оказия! Хорошо еще, что этот малый меня на удочку не поддел, а то бы я так ему все и выболтал. Ишь ты, скажи на милость! Бывают же такие случаи! То есть вот он, да и только.— И когда сани, завернув на Английскую набережную, остановились у подъезда, над которым красовался герб графов Головкиных, Александр Иванович,

вылезая из саней и всходя по лестнице своей квартиры, все еще раздумывал об этом странном случае, об этой удивительной встрече.

Гордый отказ, которым встретила его предложение княгиня Трубецкая, не только не охладил Головкина, но, напротив, точно еще сильнее разжег его страсть. Теперь ему хотелось жениться на Анне Николаевне не только потому, что она приносила в приданое довольно крупный капитал, но потому, что в данном случае было задето не только его самолюбие, но как бы и его сердце. Все эти дни Головкин ломал себе голову над тем, как покорить эту гордую, неприступную красавицу. Он измышлял для этого всякие способы. Он даже хотел просить принцессу Анну Леопольдовну, которая благоволила к нему из уважения к его дяде, чтобы она подействовала на Трубецкую, чтобы она, так сказать, явилась свахой для него, но затем Александр Иванович передумал и решил сначала доискаться причины, заставившей Анну Николаевну так резко отвернуться от него.

Он не сомневался, что причиной отказа со стороны Трубецкой была любовь к кому-нибудь, которая тронула ее раньше молчавшее, но все же расположенное к нему, Головкину, сердце. Александр Иванович был глубоко убежден в том, что, сделай он свое предложение месяц тому назад, в то время как Трубецкая принимала его ухаживания так благосклонно, что на них в свете стали смотреть как на жениха и невесту, молодая женщина не ответила бы ему таким презрительным отказом, а, пожалуй, согласилась бы стать его женой. Не могли в данном случае иметь никакого влияния и политические мотивы, так как Головкин, как и вся его родня, считался приверженцем родителей младенца императора, следовательно, теперь, когда его дядя Михаил Гаврилович был возведен в звание вице-канцлера¹, его положение при дворе только еще более усилилось. Значит, если что и изменило образ мыслей Анны Николаевны, то, конечно, это было какое-нибудь внезапно вспыхнувшее чувство, и поэтому-то Александру Ивановичу казалось необходимым во что бы то ни стало отыскать объект этого чувства. Он был уверен, что ему удастся устранить причину, оттолкнувшую от него Трубецкую, и княгиня снова вспомнит о нем, а вспомнив, может быть, и полюбит.

¹ Вице-канцлер — заместитель министра иностранных дел или президента коллегии иностранных дел.

«Только бы мне узнать,— думал Головкин, крупными шагами меряя комнату,— кто стал на моей дороге. Она так хитро ведет дело, что я, при всей своей зоркости, не могу уловить ничего. В таком случае примем другие меры. Барсуков — парень ловкий, и он, конечно, разгадает ее тайну, он, конечно, узнает, с кем мне придется иметь дело; а мне только бы узнать, я ведь не остановлюсь ни перед чем. Что бы там ни говорили, а своя рубашка ближе к телу. Так убегу молодчика, что княгиня, при всем своем желании, не сможет разыскать его, а тогда дело сделано, недаром пословица есть: «С глаз долой, из сердца вон».

Его размышления были прерваны стуком в дверь. Александр Иванович остановился и крикнул:

— Можно, войдите.

Через порог переступил лакей:

— Там ваше сиятельство спрашивают.

— Кто такой?

— Господин Барсуков.

Лицо Головкина радостно вспыхнуло, и он крикнул лакею:

— Зови его сюда, скажи, что я жду!

Когда Барсуков вошел в комнату, Александр Иванович кивнул, затем, точно повинувшись мелькнувшему в его голове воспоминанию, он зорко поглядел на лицо своего гостя, усмехнулся, пожал плечами и покачал головой.

— Ну, сударь,— воскликнул он,— удивительное дело, да и только! То есть, понимаешь, голову бы дал на отсечение, что я не с кем иным, как с тобой, полчаса тому назад разговаривал.

Барсуков виновато улыбнулся:

— Изволили ошибиться, ваше сиятельство, я не имел счастья вас сегодня видеть.

— Да знаю, знаю! — отозвался Головкин.— А только говорю тебе, что встретился я ноне с одним человеком, который на тебя как две капли воды схож... то есть, понимаешь, не то он — твой брат родной, не то двойник.

Глаза Барсукова забегали по сторонам, а на лице отразилось напряженное внимание. И действительно, если бы теперь случайно, каким-нибудь чудом, в комнату вошел Василий Григорьевич Баскаков и увидел перед собою Барсукова, он принял бы его лицо за собственное отражение. Не только общий контур лица, не только отдельные его черты, глаза, нос, губы, но даже общий склад фигуры и рост были до того поразительно одинаковы, что Барсукова можно было счесть точной копией

Баскакова и наоборот. Немудрено было поэтому, что так жестоко ошиблись Лихарев и Левашев в день встречи с Баскаковым в герберге, немудрено, что ошибся Головкин, встретив сегодня Баскакова на Невском.

Но если между Барсуковым и Баскаковым было удивительное сходство по внешнему виду, то по внутреннему складу натуры между ними лежала глубокая, резкая разница. В то время когда Василий Григорьевич был человеком идеальной честности и порядочности, Барсуков считал честность совершенно излишним балластом практической жизни и возводил в идеал поклонение золотому тельцу. Сергей Сергеевич Барсуков был сыном подьячего¹ петровских времен, подьячего хитрого и пронырливого, и наследственные черты передались ему целиком. В нем уже ребенком сказывались задатки, которые пышно расцвели к зрелому возрасту: жестокий и мстительный, он умел скрывать эту жестокость и мстительность, когда ему было нужно, умел подделываться ко всем, когда это было выгодно, и, когда умер отец, Сергей Барсуков не растерялся, оставленный на произвол судьбы семнадцатилетним юношей, а с помощью свойственного ему лукавства и пронырства быстро сумел устроиться при одном из сенатских чиновников в качестве писца. Он недолго оставался в этой должности: его услужливость и угодливость обратили на него внимание других чиновников, даже самого сенатского секретаря Барвинкина, и через несколько времени молодой Барсуков сидел уже в сенатской канцелярии, усердно скрипя пером по толстой серой бумаге, еще усерднее служа на побегушках всем, кому это было необходимо, и в свободное время еще усерднее подкапываясь под своих благодетелей, выводивших его в люди. Когда наступило смутное бироновское время, Сергей Сергеевич тотчас же почувствовал свое истинное призвание и через несколько месяцев уже состоял в штате послухов² Тайной канцелярии, будучи на лучшем счету у грозного Андрея Ивановича Ушакова в качестве усердной ищейки и оправдывая свою репутацию самым жестоким образом. Здесь природные качества Барсукова развернулись вовсю, и он очень скоро сумел себя так поставить, что даже сам Андрей Иванович Ушаков считал его полезным человеком, и все особенно опасные, особенно секретные дела поручались не

¹ Подьячий — приказный служитель, писец в судах.

² Послух — темные и неверные слухи, молва; свидетель.

кому иному, как Барсукову, который в конце концов сделался как бы правою рукою грозного начальника Тайной канцелярии и занял очень тепленькое местечко секретаря при допросах. Но, прочно усевшись уже на официальном месте, Барсуков не покидал своей прежней должности ищейки из любви к искусству. И он занимался не только сыском официальным, но с удовольствием принимал и частные поручения, которые ему давали многие вельможи, желавшие на всякий случай иметь камешек за пазухой против своих друзей, в то смутное время обращавшихся нередко в заклятых врагов. Сергей Сергеевич не брезговал ничем: брался за все, что ему было выгодно, за что ему платили звонкой монетой, что мало-помалу увеличивало его сбережения, тщательно сохраняемые им в маленьком кованом сундучке в его квартире, в одном из переулков около Сенной площади. Чтобы увеличить эти сбережения, Барсуков не останавлился бы ни перед чем: будь жив его отец и если б пришлось продать отца за известное количество червонцев, он бы не остановился и перед такой сделкой со своей совестью, тем более что совесть если у него и существовала, то была очень сговорчива и никогда не становилась ему на дороге. Барсукова ненавидели, Барсукова презирали, но одним он был нужен, другие его боялись, и он продолжал благоденствовать, усердно сгибая спину перед теми, кто мог защитить его в нужную минуту, и пугая страшными застенками Тайной канцелярии тех, кто имел с ним какие-нибудь счета.

— Я получил ваше письмо, ваше сиятельство,— проговорил Барсуков, удивленный сообщением Головкина и решившийся во что бы то ни стало разведать, что это за странный двойник его появился на петербургских улицах,— вы изволили писать, что у вас есть ко мне важное дело; извольте сказывать, я к вашим услугам.

— Да, да, верно, есть у меня до тебя дельце, почтенный, только дельце тонкое, нужно его так обделать, чтобы и комар носа не подточил.

Барсуков снисходительно улыбнулся:

— Извольте сказывать, ваше сиятельство, чай, вы меня знаете, а коли не знаете, так слыхали, что я всякое дело обделать смогу.

— Знаю, знаю, потому и позвал. Так вот, послушай-ка: знаешь ты княгиню Трубецкую, вдову, Анну Николаевну?

— Как не знать! Кто ж ее в Петербурге не знает?!

— Так вот, видишь ли, почтенный, нужно мне кое-что об ее жизни поразведать: как она живет, кто у нее бывает и кто бывает чаще, видится ли она с кем тайно и с кем,— словом, всю подноготную, да так разведай, чтоб от твоего глаза ничто не ускользнуло.

Если бы Головкин смотрел на Барсукова, он бы заметил, как по губам того пробежала насмешливая улыбка.

— Вот что, ваше сиятельство,— отозвался Барсуков,— все это мне сведать большого труда не составит, да и думается мне, что для того, чтобы такие пустяки узнать, как то: в котором часу княгиня встает или спать ложится да в котором часу из дому выезжает,— для этого, пожалуй, моей услуги вам не надобно. Стало быть, если вы за мной прислать изволили, так у вас дело поважнее есть, а посему извольте объяснить, для какой цели вам это все требуется.

Головкин вспыхнул.

— Да зачем же тебе, почтенный, цель-то мою знать?

Барсуков развел руками:

— Стало быть, нужно, если я про то говорю, а иначе, ваше сиятельство, гневайтесь или не гневайтесь, а я, покуда всего доподлинно не узнаю, и за розыски приниматься не стану.

Подумал, подумал Головкин, видит, что ничего не поделаешь, что приходится карты открывать, и объяснил, в чем дело, почему ему желательно за Трубецкой проследить и что ему знать хочется.

— Так вы полагаете, ваше сиятельство,— промолвил, выслушав его, Барсуков,— что княгиня влюблена, и желаете знать, кто ваш соперник?

— Да, да, именно это.

— Может быть, прикажете и убрать соперника, ежели он окажется?

Головкин задумался на несколько секунд и потом отрицательно покачал головой:

— Нет, нет, с этим погодим, это от нас еще не уйдет! Ты только узнай, кто он таков, а там видно будет, что с ним делать.

— Слушаю-с, можете быть спокойны, ваше сиятельство: не пройдет и трех дней, как я обо всем вам точный доклад сделаю! — И, почтительно поклонившись Александру Ивановичу, Барсуков вышел из комнаты.

ХІІІ

В ПОРЫВЕ СТРАСТИ

Барсуков не даром считался прекрасным сыщиком. Не прошло и двух дней, как он знал решительно все, что так интересовало графа Головкина, знал о том, что лошади княгини Трубецкой сшибли на Адмиралтейской какого-то незнакомца, о том, что этот незнакомец провел три недели под кровом княгини и только недавно перебрался от нее на квартиру по Надеждинской улице, разведal о том, что этот незнакомец считается прислугой за будущего мужа вдовы, знал, наконец, и его имя, и его общественное положение. Как он обещал Головкину, он на третий день после разговора с ним явился к нему в дом и сделал вполне обстоятельный доклад о своих розысках.

Александр Иванович выслушал его, и пока он его слушал, его лицо то покрывалось багровым румянцем, то этот румянец сменяла мертвенная бледность.

— Так вот оно что! — сквозь зубы прошипел он. — Ай да княгиня! Отказаться от моей любви и полюбить какого-то проходимца! Фи, только этого и не хватало, чтоб моим соперником оказался мелкий чиновник из берг-коллегии! — И в его душе даже поднялось брезгливое чувство, но оно тотчас же сменилось взрывом страсти, и его охватила положительная ненависть к этому проходимцу, как он называл своего соперника, ставшему на его дороге.

Барсуков, опустив голову, исподлобья наблюдал за тем, как менялось его лицо, и в его полужакрытых ресницами глазах светилась ехидная усмешка.

— А он молодой? — спросил вдруг Головкин. — Красив? Лучше меня?

Барсуков пожал плечами:

— Говорят, что очень красив, но лучше ли вас, ваше сиятельство, судить не могу, так как я его не видел.

— Напрасно, нужно было бы тебе повидать его.

— Так от этого дело не замедлится. Квартиру я его знаю и хоть сейчас, если прикажете, повидать могу, предлог-то я всегда выдумать сумею... А только не все ли это равно — видели мы с вами его или не видели? Вашему сиятельству, кажется, гораздо важнее, чтобы не только вы не видали его, но чтоб его не видала и княгиня Трубецкая! — И гаденькая усмешка, точно пояснявшая затаенный смысл его слов, расплылась по его лицу.

— Да, да,— подхватил его мысль Александр Иванович,— нужно от него отделаться, но только как?

Барсуков поднял голову и загоревшимся, ставшим каким-то хищным взглядом в упор взглянул на Головкина.

— Ломать над этим голову много не придется,— сказал он,— только прикажите — и мы его уберем так, что о нем и памяти не останется.

Александр Иванович вздрогнул. Как ни был зол он на Баскакова, как ни ненавидел он его за то, что тот явился помехой его счастью, но холодный, жестокий тон, которым Барсуков произнес свою фразу, подействовал на Головкина ошеломляюще.

— Однако, сударь, ты, кажется, много на себя берешь! — промолвил он.— Ноне ведь не те времена, что были прежде. Правительница-то ведь не Бирон.

Барсуков отмахнулся рукой:

— Эх, ваше сиятельство, при чем тут правительница, при чем тут Бирон? Мало ли как и мало ли почему может пропасть человек? Чиновник берг-коллегии — птица не важная, и думается мне, что о нем никто справляться не будет; да и потом, что вам о том беспокоиться? Вам важно, чтоб его в Петербурге не было, а каким путем он из Питера исчезнет, мирно ли отправится, сидя в почтовой карете, в Москву или же, случайно задохнувшись в одном из наших каменных мешков, попадет в Неву, а из Невы в море, не все ли для вас это равно?

В Головкине происходила борьба. Каким бы грубым и злым человеком он ни был, но ему все же претила эта полицейская расправа со своим соперником. И, резко тряхнув головой, он отозвался:

— Нет, не соблазняй меня! Спасибо, что разведал, вот тебе за это два десятка желтячком, и ступай себе с Богом. Коли что нужно будет, коли надумаю я с этим сударем разделаться, так я за тобой пришлю.

Барсуков взял деньги, пожал плечами и, даже не сгоняя с своего лица презрительной улыбки, откланялся графу Головкину.

Когда за ним затворилась дверь, Александр Иванович прошептал:

— Это еще не уйдет, претит мне такая расправа. Попытаюсь, может, как-нибудь иначе выйдет. Благо и то, что я теперь в потемках не брожу и знаю, с какого конца мне за дело приниматься.

Он резко хлопнул несколько раз в ладоши и приказал вбежавшему слуге тотчас же заложить сани, а когда сани были поданы к подъезду, он уселся в них и приказал кучеру ехать на Надеждинскую, к тому дому, где теперь жил Василий Григорьевич.

Баскаков был как раз дома, когда его слуга доложил ему, что приехал граф Александр Иванович Головкин и просит с ним свидания. Он тотчас же вышел навстречу неожиданному и неведомому гостю и страшно изумился, когда увидел перед собою того самого офицера, который несколько дней тому назад остановил его на Невском.

— Вы, сударь? — воскликнул он. — Или опять виною это проклятое сходство?!

Головкин ответил ему не сразу. Он был также донельзя изумлен, увидав пред собою двойника Барсукова, но, вспомнив о цели своего визита, придал своему лицу надменное выражение и резко проговорил:

— На этот раз, сударь, я уже не ошибаюсь, и мне нужно именно вас.

— Меня? — удивленно протянул Баскаков. — Но что же вам угодно? Я вас положительно не знаю.

Злобная усмешка вспыхнула в серых глазах Головкина.

— Да, но я вас знаю. Вас ведь величают Василием Григорьевичем Баскаковым, и вы состоите на службе в берг-коллегии?

— Совершенно верно, — уже серьезно ответил молодой человек, чувствуя, как в нем опять поднимается странная антипатия к этому совершенно незнакомому офицеру и раздражение на его тон, которым он говорил с ним. — Совершенно верно, меня зовут Василием Григорьевичем Баскаковым, и я служу в берг-коллегии. Что же вам, собственно, угодно от меня?

Его хладнокровие подействовало раздражающим образом на Головкина, и он вспыхнул от гнева.

— Мне нужно знать, — почти крикнул он, — в каких отношениях вы находитесь с княгиней Трубецкой.

Яркая краска залила щеки Баскакова.

— Станный вопрос, сударь! — заметил он, едва сдерживая поднимавшееся в нем волнение. — Неужели вы думали, что я вам отвечу на этот вопрос?

Упрек, ясно прозвучавший в тоне Баскакова, заставил Головкина совершенно потерять самообладание.

— Можете не отвечать,— грубо произнес он,— но это несколько не изменяет дела. Я прекрасно знаю, что вы состоите ее любовником.

Кровь бросилась в голову Василия Григорьевича. Он инстинктивно сжал кулаки и сделал движение в сторону Головкина; еще мгновение, и он бросился бы на графа, не помня себя, но его остановило его обычное хладнокровие, его умение владеть собой даже в самые трудные минуты. Он отступил на шаг назад, скрестил руки на груди и проговорил немного вздрагивающим от все еще не улегшегося волнения голосом:

— Очевидно, сударь, вы меня очень плохо знаете, если осмелились сказать только что вырвавшуюся у вас фразу. Ваше счастье, что я не потерял силы воли, иначе вам было бы уже поздно раскаяться в своих словах. Но, хотя я и не имею графского титула, я вижу, что я гораздо воспитаннее вас, и потому, чтобы не раздражать меня более, чтобы не вызывать меня на новую вспышку, которая может окончиться очень печально для вас, я прошу вас, сударь, уйти, и уйти как можно скорее. Но, конечно, вы понимаете, что этого оскорбления имени женщины, которую я глубоко уважаю, я вам не прощу, и вы скажете моим секундантам, где мы с вами встретимся еще раз.

Головкин побледнел. Он совсем не рассчитывал на такой исход своего разговора с Баскаковым, и ему совсем не хотелось уйти, не доведя до конца этой беседы. Он тряхнул головой и отошел с пренебрежительной усмешкой:

— Вы еще успеете прислать ко мне секундантов, но я, во всяком случае, должен пока объясниться с вами без посредников и надеюсь, что вы, как вы сами только что сказали, слишком воспитанный человек, чтоб нападать на другого иначе, как в честной схватке.

Василий Григорьевич страшным усилием воли подавил клокотавший в нем гнев и холодно ответил:

— Если вам угодно продолжать далее это неприятное объяснение, за которое мы с вами рассчитаемся с оружием в руках, то извольте, я вас слушаю.

— Вот видите ли, сударь,— начал после небольшого молчания Александр Иванович,— в чем дело: прежде чем княгиня Трубецкая полюбила вас,— а я не сомневаюсь в том, что она вас полюбила,— она считалась почти моей невестой. Я убежден, что если бы на вашей дороге, как теперь на моей, встретился соперник в обладании сердцем любимой женщины, то вы постара-

лись бы удалить этого соперника, потому что нужно быть святым человеком, чтобы спокойно отказываться от своего счастья, а я такой святостью не обладаю, да мне кажется, что и вы не обладаете ею.

— Кто же вам мешает удалить меня с своей дороги? И о чем нам больше с вами объясняться? Вы меня оскорбили, я вас вызвал на дуэль, постарайтесь меня убить, и дорога к сердцу Анны Николаевны будет перед вами открыта. О чем же нам больше разговаривать?

Головкин пожал плечами и ядовито рассмеялся.

— Да, дуэль — это, конечно, прекрасное средство, — промолвил он, как бы раздумывая, — но кто же поручится мне, что судьба не изменит мне в нужную минуту и что вы убьете меня, а не я вас? И вот потому-то я и хотел объясниться с вами начистоту и предложить вам сделку совершенно иного рода.

— Какого же рода будет эта сделка?

— Вы, конечно, человек бедный, и для вас, я думаю, сумма в десять тысяч рублей представит немалый интерес.

Баскаков понял, какого рода сделку хочет ему предложить его гость, вспыхнул, но сдержался и с иронической усмешкой спросил:

— Что же, сударь, я должен сделать за эту интересную для меня, по вашему мнению, сумму?

— Ничего более, как только устроить так, чтобы княгиня Трубецкая забыла о вас.

Василий Григорьевич продолжал иронизировать:

— Но каким же образом я могу заставить забыть меня женщину, которая, опять-таки по вашему мнению, любит меня?

— Ах, боже мой, это так просто; вам стоит только уехать из Петербурга, уехать куда-нибудь подальше, например, за границу, к какому-нибудь нашему посольству... мне это так легко устроить.

— Да? Я в этом и не сомневаюсь. Но объясните мне, сударь, только одно: какой же вам будет расчет, заплативши мне десять тысяч и удаливши меня как можно дальше от невских берегов, умереть от моей пули или удара шпаги, смотря по вашему выбору, потому что — предупреждаю вас — как только я становлюсь к барьеру, я положительно горю желанием во что бы то ни стало уничтожить своего противника.

Увлеченный своей идеей, Головкин не замечал все время той явной насмешки, которая сквозила во всех словах, обра-

щенных к нему Баскаковым. Ему казалось, что громадная сумма, которой он хотел ослепить этого мелкого чиновника берг-коллегии, заставит того забыть не только о дуэли, но и о княгине Трубецкой, и вдруг он услышал эту фразу, которая поразила его, точно удар грома.

— Но позвольте,— воскликнул он,— тогда о дуэли не может быть и речи.

— Вы так думаете? А мне кажется как раз наоборот: только о дуэли и должна быть между нами речь. Я достаточно наслушался ваших глупых предложений, и единственный ответ, который я могу дать,— это поехать домой и ждать моих секундантов.

Головкин понял, что он одурачен; кровь волной прихлынула к его лицу, и злобные огоньки забегали в его глазах.

— Берегитесь, сударь! — воскликнул он хриплым голосом.

— Беречься? Чего? Что вы меня убьете? Поверьте, что у вас гораздо больше шансов быть убитым мною, чем отделаться от меня.

— Берегитесь, сударь! — снова крикнул уже угрожающим тоном Головкин и чуть не опрометью выбежал из квартиры Баскакова.

Он не слышал раскатов звонкого смеха, который послал ему вдогонку Василий Григорьевич, но он и без того трепетал весь от злобы; эта злоба положительно туманила его мозг, перехватывала его дыхание.

— погоди, щенок! — скрежеща зубами, шипел он. — Слишком много чести, чтоб я стал драться с тобой на дуэли!.. Я сумею отделаться от тебя и без этого. Ты слишком много возомнил о себе, а в этой ставке я совсем не хочу рисковать своей головой, когда могу выиграть игру без всякого риска.

Приехав домой, он чуть не бегом вошел в свой кабинет и тотчас же приказал крикнуть к нему казачка и послал его в Тайную канцелярию за Барсуковым.

Барсуков не замедлил явиться. Головкин платил щедро, а Сергей Сергеевич любил угождать щедрым плательщикам.

— Ну, сударь,— встретил Барсукова Александр Иванович, когда тот переступил порог его кабинета,— видишь, как скоро ты мне понадобился.

Хитрый шпион улыбнулся и проговорил:

— Я к вашим услугам, ваше сиятельство.

— Помнишь, о чем мы с тобой говорили?

— Помню. Я никогда ничего не забываю.

— И можешь это дело устроить? — впиваясь в сыщика загоревшимся взглядом и многозначительно подчеркивая свои слова, спросил Головкин.

— Того человека убрать?

— Да, да!

— Конечно, могу, никакого труда даже нет. Так прикажете убрать?

Легкая тень раздумья пробежала по лицу Головкина, но злая улыбка, искривившая его губы, тотчас же прогнала ее, и он резко отозвался:

— Убирай!

Лицо Барсукова вспыхнуло от удовольствия, он молча поклонился и тотчас скрылся за дверью. Судьба Баскакова была решена.

XIV

«СЛОВО И ДЕЛО»

Баскаков в тот же самый день или, вернее, в тот же вечер, когда у него был Головкин, не откладывая дела в долгий ящик, отправился к Лихареву, чтоб просить его быть своим секундантом. Лихарева он дома не застал, а его лакей Федор заявил ему, что барин уехал к господину Левашеву.

— А ты не знаешь, когда он вернется? — спросил Василий Григорьевич.

— Не могу знать, а только, должно быть, поздно, потому как ежели они к Дмитрию Петровичу отъезжают, так всегда говорят: «Ты меня, Федор, не жди и свету нигде не зажигай!»

Василий Григорьевич постоял несколько минут молча, раздумывая, отправиться ли ему сейчас к Левашеву, чтобы там увидеть Антона Петровича, или же переждать до завтра. Ему казалось, что он сделает большую неловкость, если явится неожиданным гостем в дом своего противника, которого он ранил, но, с другой стороны, его почему-то потянуло к Левашевым. Хотя он еще не виделся с Дмитрием Петровичем, но убедился из слов Лихарева, что молодой человек, так неудачно скрестивший с ним шпагу на Царицыном лугу, будет безусловно рад познакомиться с ним, и теперь у него мелькнула мысль, что

предлог для этого знакомства самый удачный, что не будет никакой неловкости, если он сейчас явится в дом Левашевых; успокоенный этим соображением, он отправился на Фонтанку.

И действительно, Левашев страшно обрадовался ему. Он дружески пожал руку Баскакова, окинул его теплым дружеским взглядом и проговорил:

— Большое вам спасибо, что зашли! Я давно уже просил Антона, чтобы он как-нибудь свел меня с вами, так как я глубоко виноват перед вами и до сих пор не извинился.

— Какие глупости! — отозвался Василий Григорьевич. — Уж вы-то, во всяком случае, ни в чем не виноваты, так как, благодаря моей шпаге, пролежали целых две недели.

— Да, да, это был ловкий удар, и он уже отчасти искупил мою вину, но все-таки простите меня за эту глупую ссору, которая, фехтуй вы хуже, могла бы окончиться очень печально для вас.

— Ну а раз этого не случилось, — весело заметил Баскаков, — так об этом и разговаривать нечего. Вы, надеюсь, не посетуете на меня, что я так поздно заявился к вам с визитом?

— Ну что же теперь за позднее время! И, наконец, я так рад увидаться с вами, что об этом даже говорить не стоит! — ответил Левашев.

Они уселись в том же кабинете, где в памятную ночь дуэли Василий Григорьевич разговаривал с Лихаревым. Прежде чем сесть, Баскаков бросил быстрый взгляд на портрет молодой девушки, висевший над диваном, и его охватило неодолимое желание во что бы то ни стало увидеть наяву милое личико, глядевшее на него теперь из рамки портрета и вызвавшее в нем с первой встречи чувство глубокой симпатии.

Левашев уловил его взгляд и заметил:

— Это — моя сестра. Вы с ней незнакомы, кажется? Да, я и забыл, — с добродушным смехом продолжал он, — что вам негде было с нею знакомиться.

— Вот и ошибся, друг любезный, — вмешался Лихарев, — Василий Григорьевич знаком с твоей сестренкой. Он познакомился с нею как раз в ту роковую ночь, когда ты лежал без сознания.

— Тем лучше, — воскликнул Левашев, — значит, вы встретитесь сейчас со старой знакомой. Маня должна скоро прийти сюда.



Василий Григорьевич, сам не зная почему, покраснел еще сильнее и, чтобы скрыть свое смущение, быстро заговорил, обращаясь к Лихареву:

— А ведь я только что у вас был.

Лихарев вопросительно поглядел на него.

— Какое-нибудь дело есть? — спросил он.

— Да, есть.

— Может, я вам мешаю, господа? — задал вопрос Левашев.

— О нет, нет, нисколько, — отозвался Баскаков. — Я буду даже очень рад, если и вы, Дмитрий Петрович, окажете мне ту же услугу, какую я хочу просить у Антона Петровича.

— Понимаю! — улыбнулся Лихарев. — С кем же у вас, сударь, столкновение вышло?

Василий Григорьевич развел руками:

— Да явился ко мне один господин, ни с того ни с сего нанес мне оскорбление, и я хочу вас просить быть моими секундантами.

Левашев удивленно расширил глаза:

— Да кто же господин этот? Незнакомый вам?

— До сегодняшнего дня я никогда его не видал.

— Так с какой же стати он к вам привязался?

По губам Баскакова пробежала легкая усмешка.

— Да ему, видите, не нравится, что я живу в Петербурге, ему хотелось бы, чтоб я был отсюда как можно дальше. Ну а так как я пока не имею никакого намерения уезжать отсюда, то мы об этом заспорили, и этот спор и приходится разрешать с оружием в руках.

Лихарев зорко поглядел на молодого человека, улыбнулся в свою очередь и спросил:

— А как фамилия этого человека, которому не нравится, что вы живете в Петербурге?

— Граф Александр Иванович Головкин.

Улыбка, появившаяся на лице Лихарева, расплылась еще шире. Он встал с кресла, на котором сидел, подошел к Баскакову и, нагнувшись к нему, шепнул:

— А хотите, сударь, я вам скажу имя вашей красавицы? Ее зовут княгиня Трубецкая.

Василий Григорьевич вздрогнул и испуганно поглядел на него.

— Откуда же это вы узнали?

Антон Петрович покачал головой и рассмеялся.

— Тут большого секрета быть не может,— опять зашептал он.— Головкина считали женихом княгини, и, следовательно, если вы деретесь с ним, то, конечно, только из-за Трубецкой — в этом никакого секрета быть не может. Ведь правда?

Баскаков молча кивнул.

— Так, значит, ехать к графу? — вслух спросил Антон Петрович.

— Да, я был бы очень рад, если вы согласитесь исполнить мою просьбу.

— Конечно, исполним, с удовольствием! Ты, Митя, понятно, не прочь?

— Напротив, я очень рад услужить Василию Григорьевичу,— откликнулся Левашев.

— Ну, так, значит, завтра мы и поедem к его сиятельству. А какие условия дуэли?

Баскаков пожал плечами:

— Как вызванный мною, он имеет право на выбор оружия, следовательно, об этом разговаривать нечего. Что же до общих условий, то у меня к нему нет слишком большой злобы, и поэтому я сам лично согласен драться только до первой крови.

— Ну, так и исполать¹ вам! — проговорил Лихарев.— Значит, Митя, так и сделаем; ты заезжай ко мне утречком, мы вместе и отправимся.

Баскаков пожал руки молодых людей, а через несколько секунд за дверью послышались легкие шаги, и в комнату, точно птичка, впорхнула молодая девушка, которую ему так страстно хотелось видеть. Маня вбежала с каким-то громким восклицанием, но, увидев незнакомого человека, тотчас же остановилась и удивленно взглянула на него.

— Разве вы незнакомы? — спросил Левашев.— Ты же его видела, сестренка.

Молодая девушка пригляделась к Баскакову и дружеским жестом протянула ему руку.

— Здравствуйте! Узнала! — воскликнула она.— Это — вы, убийца моего брата, из-за которого несчастный Митя чуть не отправился на тот свет? — И она даже нахмурила брови, все лицо ее как будто стало мрачным; но через секунду она уже звонко хохотала, и Баскаков, любясь ее веселым, оживленным лицом, чувствовал, как симпатия к этой милой девушке все полнее и полнее захватывает его сердце.

¹ Исполать — хвала, слава.

— Я, может быть, вам помешала? — спросила Маня. — Впрочем, — быстро добавила она, — если и помешала, извиняться не стану и уходить отсюда не намерена. Вы, сударь, еще незнакомы с моими капризами, — улыбаясь, обратилась она к Баскакову, — так довожу до вашего сведения, что я страшно капризна, что в доме все пляшут по моей дудке и прежде всех Дмитрий Петрович. Не так ли, Митенька? — И с звонким смехом она подбежала к Левашеву, обхватила его руками и закружилась с ним.

— Будет, Маня, будет! — взмолился тот. — Этак, пожалуй, и до обморока докружиться можно. Ты лучше скажи, улегся дядя или нет?

— Папочка-то? Конечно, улегся! Ведь это вы только такие полуночники: десять часов, а вы все еще сидите. Папочка, как только десять часов, сейчас же в постель. Ну-с, Дмитрий Петрович, спит ли папочка или нет, это до вас не касается. Вы лучше скажите, хотите чаю или нет? Я уже велела собирать на стол.

— Ну конечно, хотим! — отозвался Лихарев. — Я только вот сейчас сидел и говорил: «Хорошо бы было, кабы Манечка догадалась нас чайком угостить, я ведь знал, что вы у нас умница».

Лицо молодой девушки покрылось яркой краской.

— Антон Петрович! — воскликнула она. — Вы как меня сейчас назвали?

— Как? Как вас поп окрестил — Манечкой.

— А кто же вам, милостивый государь, — сооротив серьезную мину, заговорила девушка, — дал право называть меня Манечкой? Что я вам, сестра, подруга, жена?

При последних словах на смуглом лице Лихарева, постоянно бледном и редко покрывавшемся румянцем, показались багровые пятна. Он как-то смущенно улыбнулся и, разводя руками, ответил:

— Ни то, ни другое, ни третье, хотя третьим я бы с удовольствием вас назвал.

В глазах Мани вспыхнули лукавые огоньки, а на губах зазмеилась улыбка.

— Ого, — воскликнула она, — скажите пожалуйста! Я и не знала, что вы в меня влюблены. Только не на радость вам было бы, если бы я вашей женой стала, — едва сдерживаясь от душившего ее смеха, продолжала молодая девушка.

— Почему же не на радость? — багровея еще больше, спросил Антон Петрович.

— А потому, что я избалована и слишком капризна. Я бы вам всю жизнь отравила.

Лихарев посмотрел на нее пытливым взглядом и вдруг удивительно серьезным тоном произнес:

— Ну, это-то беда не большая.

— Что же, вы, значит, мои капризы ни за что считаете?

Лицо Лихарева как-то странно потемнело, он вдруг порывисто поднялся с места, подошел к Мане и, глядя на нее своими глубокими черными глазами, проговорил:

— Не будем болтать глупостей. Вы никогда не будете моей женой, следовательно, об этом и говорить не стоит, а если бы когда-нибудь вы стали ею, так вы не были бы ни взбалмошны, ни капризны.

Под влиянием ли его жгучего взгляда, от его ли слов, сказанных серьезным, но дрожащим голосом, молодая девушка вспыхнула и, точно смутившись, опустила голову. Но это продолжалось всего только несколько секунд. Ее глаза опять загорелись веселыми огоньками, и она, как бы позабыв о только что происшедшем разговоре, весело воскликнула:

— Ну, не будем болтать глупостей, вы совершенно правы. Гораздо умнее будет идти пить чай, и, кто любит меня, тот последует за мною! — И с тем же звонким хохотом она быстро убежала из комнаты, а вслед за нею отправились в столовую и молодые люди.

Сидя за чайным столом, слушая веселую болтовню девушки, беседуя о разных пустяках с ее кузенком и Лихаревым, Василий Григорьевич чувствовал себя удивительно хорошо и спокойно. Он забыл о сегодняшней неприятной сцене, разыгравшейся между ним и Головкиным, забыл о предстоящей ему дуэли, и все неприятные смутные грезы ушли от него далеко-далеко, точно прогнанные мирным настроением, царившим здесь и успокоительно действовавшим на него. Поэтому, когда часы, стоявшие в углу столовой, хрипло пробили двенадцать раз, ему было жалко уходить из этого дома, ему не хотелось оторваться от этого веселого кружка, где он провел такие счастливые минуты.

Лихарев вышел вместе с ним. Они прошли по Невскому, а затем распростились на углу Надеждинской, и Баскаков завернул к себе.

Падал снег. Его хлопья белыми точками кружились в черной мгле ночи, а нога скользила на обледеневших мостках,

и Василий Григорьевич медленно, шаг за шагом, подвигался вперед, боясь оступиться. Теперь снова нахлынули на него думы, которые навели на него окружавшая тишина и мгла этой ночи. Он припомнил фразу, брошенную ему Головкиным, и невольно улыбнулся. Ему не страшна была предстоявшая дуэль, в нем говорило удовлетворенное самолюбие, он был уверен, что Анна Николаевна любит его, и Головкин ровно ничего не выиграет, если даже и убьет его. Да и вряд ли ему удастся спихнуть его с своей дороги. Баскаков верил в свою звезду, и ему казалось, что Головкину не отнять у него его счастье. Медленным шагом дошел он до ворот своего дома, медленно вошел в ворота, зиявшие черной пастью, но не успел он сделать в их пролете и двух шагов, как в него вцепились чьи-то руки и чьи-то лица наклонились к нему, обдавая горячим дыханием.

— Кто это, что это? — воскликнул Василий Григорьевич, стараясь вырваться из крепко державших его рук, и вдруг в ответ услышал хриплый смех, а вслед за тем прозвучала фраза, заставившая его вздрогнуть всем телом.

— Слово и дело! — прогремело над самым его ухом. — Волоките молодчика в Тайную канцелярию!

И, прежде чем Баскаков успел вскрикнуть, ему на голову накинули какой-то мешок, чьи-то дюжие руки подняли его и понесли, несмотря на его отчаянное сопротивление и на его крики, которые замирали, заглушаемые толстым сукном мешка, надетого на его голову.





Часть вторая

I

ЗАТИШЬЕ

В последние годы царствования Анны Иоанновны Зимний дворец удручал своим мрачным и унылым видом. Государыня не любила его и предпочитала жить в Летнем дворце, навещая Зимний очень редко, только в исключительных случаях, и он казался совершенно необитаемым и темнел печальною громадою на берегах Невы.

Умерла Анна Иоанновна. Промелькнуло метеором время регентства Бирона, и, захватив в свои руки власть, Анна Леопольдовна решила сделать Зимний дворец своей постоянной резиденцией. Петербургские обыватели, радостно настроенные благодаря удачному перевороту, свергнувшему ненавистное иго Бирона, увидели в этом хороший признак. Они рассчитывали, что мрачные прошлые дни окончательно исчезнут из памяти, что Петербург снова заживет прежней веселой жизнью и что средоточием этой жизни, полной радостного веселья, будет снова, как и в былые годы, Зимний дворец. Но петербуржцы ошиблись.

Несмотря на свои молодые годы, Анна Леопольдовна отличалась странным, каким-то замкнутым характером. Несмотря на то что ей пришлось провести несколько ужасно тоскливых лет, каждую минуту дрожа за спокойствие завтрашнего дня, теперь, когда ей улыбнулась полная свобода, она даже не захотела воспользоваться ею. Анна Леопольдовна не любила толпы и, отвыкнув от шума придворной жизни, словно не хотела

привыкать к нему. Окруженная семьей Менгден, из которых старшая Юлиана была ее постоянной спутницей и неразлучной подругой, принцесса Анна считала себя вполне счастливой, проводя целые дни в своем маленьком кабинете, выходившем окнами на Неву, по целым часам пролеживая на кушетке в утреннем костюме, совершенно забыв о том, что она — мать императора и что это высокое звание налагает на нее известные обязанности.

— Ах, Юлиана,— говаривала она порой своей любимой фрейлине,— ну скажи, пожалуйста, на что мне все эти парады, на что мне весь этот блеск? Я теперь счастлива, и с меня этого совершенно достаточно. Поверь мне, оттого, что я надена на себя пышный роброн¹, украшу голову императорской короной, воссяду на троне, мимо которого будут дефилировать целой толпой мои любезные подданные, я не стану счастливее ни на йоту. Власть тем и хороша, что она позволяет делать все по собственному желанию, а мое искреннее желание, во-первых, вот так лежать на этой кушетке, а во-вторых, никогда не надевать корсета.

И такой программы принцесса Анна старалась держаться неукоснительно. Она с положительным отвращением выходила иногда в тронную залу, чтобы показаться придворным, и с еще большим отвращением разговаривала с Минихом, приходившим советоваться с правительницей о государственных делах.

Миниху это было на руку. Он был донельзя обрадован таким индифферентизмом, который проявляла правительница к государственным делам, но в то же самое время не хотел до поры до времени проявлять особенно сильного самовластия и поэтому хотя и изредка, но все-таки утруждал принцессу своими разговорами.

Затишье, царившее в Зимнем дворце, невольно распространилось и по Петербургу. Прежнего уныния, конечно, не было, петербуржцы дышали свободнее, но тишина, окутавшая всех и вся, тишина, заменившая ожидаемое веселье, скоро стала петербуржцам так же ненавистна, как была ненавистна печаль, царившая в бироновские дни. Правительницей многие уже были недовольны. Придворные были недовольны тем, что им почти не приходилось появляться на ее выходах; светские дамы

¹ Р о б р о н — старинное женское платье с кринолином — юбка на обруче.

стали грустить об отсутствии балов, на которых они могли щегольнуть своей красотой и роскошными нарядами, военные стали изнывать от скуки благодаря отсутствию церемоний и парадов.

Не знала или не хотела знать этого недовольства только сама Анна Леопольдовна. Она была счастлива. Ей казалось, что ее счастье должно заражать всех ее окружающих; она была спокойна, и ей казалось, что это спокойствие должно служить идеалом для всех. Теперь в ее маленьком кабинетике стал появляться новый посетитель. Это был посланник польского короля Августа граф Линар, производивший на всех впечатление своею красивою внешностью, выразительным лицом удивительно правильных очертаний и глубоким взглядом громадных черных бархатных глаз.

Граф Линар был и раньше в Петербурге, несколько месяцев тому назад, и тогда в придворных кружках ходили довольно определенные толки, что он недаром зачастил во дворец принца Брауншвейгского, что бархатистый взгляд красавца поляка заронил искру серьезной любви в сердце принцессы Анны. Мужья, как и в наши дни, так и прежде, оставались слепы до самых последних дней. Не был исключением ввиду этого и принц Антон. Верил или не верил он толкам, ходившим вокруг него, толкам, уже принявшим характер настоящей сплетни, но он одинаково любезно относился к посланнику саксонского короля и не закрывал ему дверей своего дома. Но когда слухи дошли до императрицы Анны Иоанновны, та решила разом оборвать их, и граф Линар был отозван к своему двору. Красивый поляк уехал, но его сношения с принцессой Анной Леопольдовной не прекратились: почтовые курьеры то и дело привозили во дворец принца Брауншвейгского письма из Саксонии.

Но вот граф Линар снова приехал как полномочный посол; он был принят в торжественной аудиенции, а затем появился как постоянный гость и в маленьком кабинетике правительницы. И снова пошли толки по Петербургу, и снова заработали досужие языки, и снова стала расти прежняя сплетня.

Стал ли догадливей принц Антон Ульрих или, находясь в положении мужа правительницы, он уже не хотел закрывать глаза на то, на что прежде закрывал как просто принц Брауншвейгский, но он однажды вошел в кабинет своей жены и, бросив многозначительный взгляд в сторону Юлианы фон Менг-

ден, по обычаю сидевшей около окна, недалеко от кушетки, на которой лежала принцесса Анна,— обратился к жене со следующими словами:

— Мне нужно поговорить с вами, ваше высочество.

Принцесса подняла на него ленивый взгляд, заметила, что обыкновенно тусклые глаза мужа сверкают какими-то необычными огоньками, что на его впалых, всегда бледных щеках проступили пятна румянца (что было явным признаком поднявшегося в нем раздражения), и, совершенно не понимая, чего он волнуется, ответила самым беспечным тоном:

— Говорите, мой друг, я вас слушаю.

Принц опять бросил взгляд на Юлиану, досадливо пожал плечами и резким тоном сказал:

— Я бы хотел, чтоб наш разговор обошелся без свидетелей; мне они совсем не нужны.

Анна Леопольдовна невольно насторожилась и даже приподнялась с кушетки.

— Вам помешала Юлиана? — удивленно протянула она. — Вы знаете, что у меня от нее нет секретов.

— У вас нет, но они есть у меня. Девушка фон Менгден может быть поверенною ваших тайн, но я еще не делал ее своим личным секретарем, поэтому я был бы очень вам признателен,— проговорил он, обращаясь уже прямо к Юлиане,— если бы вы оставили меня с женою одного.

Юлиана торопливо поднялась с места и так же торопливо скрылась за дверью.

Принц Антон заговорил не сразу. Он прошелся раза три из угла в угол комнаты, нервно потирая руки, затем остановился перед женой и, глядя на нее в упор все тем же острым взором, спросил:

— Знаете ли вы, ваше высочество, о чем я хочу с вами разговаривать?

Анна Леопольдовна пожала плечами:

— Я решительно не могу догадаться и только убеждена, что дело не настолько важно, чтобы обижать мою бедную Юлиану.

— Ах, оставьте это! — резко воскликнул принц. — Какое мне дело до того, обижена или не обижена девушка фон Менгден?.. Вы странно понимаете, ваше высочество, свои супружеские обязанности: вас трогает то, что обижена ваша подруга, и совершенно не трогает, что оскорблен я, как ваш супруг.

— Вы оскорблены, чем? — произнесла она с таким неподдельным изумлением, что принц Антон невольно передернул плечами и продолжал:

— Известно ли вам, о чем говорят в городе?

Анна Леопольдовна рассмеялась.

— Мало ли о чем могут говорить? Вы знаете, что я веду совсем затворническую жизнь и что до меня почти не доходят городские слухи и толки.

— Но эти толки так громки, что их отзвук проникает и в стены дворца. Сплетни идут о вас.

Анна Леопольдовна опять рассмеялась и опять пожала плечами.

— О, я теперь догадываюсь, о чем говорят. Говорят, конечно, о моей лени, говорят о моей нелюбви к нарядам, о том, что я скучаю сама и заставляю скучать Петербург. Ну, дорогой друг, мне трудно переделать себя, да я и не хочу себя переделывать.

Принц Антон нервно топнул ногой и воскликнул:

— Вы не хотите меня понять! Все, что вы говорите, — пустяки. Толки гораздо серьезнее, сплетня гораздо ужаснее. Вас обвиняют в том, что вы слишком благосклонны к графу Линару, а меня в том, что я слишком слеп.

Краска бросилась в лицо молодой женщины. Эти слова ошеломили ее, но она не захотела показать, что муж затронул ее самое больное место. Она быстро совладала со своим волнением и спросила тихим, вздрагивающим голосом:

— Скажите мне по совести, в этом обвиняете меня вы или же досужие языки?

Принц Антон ответил не сразу. Он впился своими маленькими подслеповатыми глазами в лицо жены, взволнованное и побледневшее, и затем размеренно, точно отчеканивая каждое слово, проговорил:

— Разве это не все равно? Разве не все равно, кто к вам предъявляет обвинение? Не забудьте, Анна, что я долго молчал, долго не верил толкам, ходившим вокруг, и что если я теперь поверил им, если я решил заговорить с вами, то, во всяком случае, у меня на это были слишком серьезные причины. Вы были ко мне холодны — я вас не обвинял в этом, не обвинял я вас и в том, что вы не любите меня; но не забудьте, что я — ваш муж, что я — отец вашего сына, отец императора. Тень, бросаемая на вас клеветниками, ложится на меня; вас могут обвинять, меня

презирают. Обдумайте все это и не играйте так легкомысленно своим добрым именем!..

Голос его на последних словах упал, острый взгляд потускнел, некрасивое лицо подернулось судорогой, и он торопливо отвернулся, чтобы скрыть охватившее его волнение.

Не дождавшись ответа, принц Антон спросил:

— Что же вы на это скажете?

— Ничего. Если вам угодно верить клевете — это ваше дело, я же не желаю оправдываться.

— Берегитесь, Анна, вы играете опасную игру!

Она смерила его с ног до головы насмешливым взглядом и пренебрежительно повела плечами.

— Вам никто не мешает, ваше высочество, — медленно проговорила она, — прекратить эту игру: не слушайте сплетен и не волнуйтесь понапрасну.

Бледное лицо принца стало еще бледнее.

— Я могу сделать нечто иное, — сказал он.

— Что же именно?

— Я поступлю так же, как поступила несколько месяцев тому назад покойная императрица: я предложу графу Линару покинуть Петербург, и, если он того не сделает добровольно, я позабочусь о том, чтобы это сделалось против его воли! — И, быстро повернувшись, он торопливо вышел из комнаты.

Принцесса Анна поглядела ему вслед и рассмеялась обидным, презрительным смешком. Затем, подойдя к двери, которая вела в ее гардеробную и в которую скрылась Юлиана, она распахнула эту дверь и крикнула:

— Юлиана, поди сюда! Грозный супруг ушел. Теперь ты можешь вернуться.

И когда вошла Юлиана, она обняла ее за талию и стала рассказывать ей, о чем шел у нее разговор с мужем.

II

НЕОЖИДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По мере того как принцесса говорила, красивое оживленное личико Юлианы все больше и больше темнело, а глаза ее, улыбавшиеся еще за минуту, вдруг точно подернулись дымкой, потускнели, и в них появилось тревожное выражение. Анна

Леопольдовна заметила, какое впечатление произвели ее слова на любимицу, подошла к ней вплотную и, заглядывая в ее лицо, спросила:

— Что это с тобой, Лина? Ты расстроилась?

Юлиана зорко поглядела на принцессу, лицо которой было так же спокойно, как всегда, и покачала головой.

— А вас не тревожит этот разговор? — промолвила она медленно, точно сама вслушиваясь в свои слова. — Вы ничего не видите в нем опасного?

Губы Анны Леопольдовны чуть-чуть дрогнули от легкой усмешки.

— Помилуй! — воскликнула она. — Неужели я должна тревожиться из-за того, что в моем любезном супруге вдруг неожиданно проснулась ревность? Мне нечего тревожиться, я хорошо знаю принца Антона; это не человек, а автомат, оживленный природой по ошибке. Его движения все размеренны, все предугаданы заранее. Он и злится по заранее определенному плану, и ревнует меня только затем, чтобы показать, что он не просто принц Брауншвейгский, но и супруг принцессы Анны. Нет, голубчик, мне не из-за чего волноваться.

Точно утомленная этой длинной тирадой, тирадой, в которой сказывалась скрытая горечь, копошившаяся в ее сердце, но которую она в то же время произнесла совершенно спокойным, как бы безразличным тоном, молодая женщина медленно подошла к кушетке, оставленной ею для разговора с мужем, снова улеглась на нее, привычным жестом закинув свои полные руки под голову, и полузакрыла глаза. Юлиана, снова поглядела на нее, снова покачала головой, затем подошла к изголовью кушетки и, устремив вдумчивый взгляд на свою повелительницу, тихо проговорила:

— Ваше высочество, вы верите, что я вас люблю? Вы убеждены, что ваше счастье для меня важнее и дороже собственного?

Принцесса пожала плечами, и в ее взгляде загорелось неподдельное любопытство.

— Что за торжественные фразы? Ты меня пугаешь, Лина.

— Ах, если б я действительно могла вас испугать!

Анна Леопольдовна усмехнулась:

— Для чего это тебе необходимо? Чтобы пробудить меня от моей апатии и лени?

Юлиана отрицательно покачала головой:

— Совсем не затем. Мне хотелось бы только, чтобы вы сознательно относились к окружающему. Вы стоите на краю пропасти и сами не видите ее.

По лицу принцессы скользнула легкая гримаска.

— Ах, Лина! — недовольно отозвалась она. — Что с тобою стало, с чего это тебе вздумалось читать мне такие сентенции?

— Только потому, что я люблю вас и что боюсь за ваше счастье и спокойствие. Вот вас нисколько не тревожат ни подозрение вашего супруга, ни толки, которые идут в столице, а между тем это очень плохие предвестники.

Анна Леопольдовна сделала нетерпеливое движение головой.

— Ах, боже мой, не могу же я всем заткнуть глотки!

— А между тем их необходимо заткнуть, — настойчиво проговорила Юлиана. — Вы или не хотите видеть, или не видите той опасности, которая грозит вам...

— Какая еще опасность, о чем ты говоришь?

— Опасность быть свергнутой с престола. Не забудьте, ваше высочество, как вы сели на этот престол: вас возвели на него не любовь подданных, а авторитет Миниха и счастье случайности. В таком положении нужно упрочивать почву под ногами, а вы ее только расшатываете. Не забудьте, что для народа вы остаетесь иноземкой, не забудьте, что сзади вас есть человек, гораздо более близкий к престолу, чем вы сами, человек, который окружен народными симпатиями, — это принцесса Елизавета.

— Ах, какая это старая песня! — медленно проговорила Анна.

— Да, это — старая песня, но к ней всегда нужно прислушиваться. Стоит вам озлобить против себя принца Антона, стоит только начаться разладу в вашей семье, и, когда это выйдет на улицу, — улица станет против вас; но до этого не нужно допускать, от этого нужно избавиться. Я не спорю, — добавила она, — граф Линар очень красив, он достоин вашей любви, но не ослепляйтесь этой любовью настолько, чтобы проглядеть за нею свое спокойствие.

Юлиана замолчала и впилась взглядом, полным ожидания, в лицо принцессы.

Несколько долгих мгновений продолжалось молчание. Ленивая, с трудом поддававшаяся впечатлениям, Анна вдруг задумалась. То, что сейчас услышала она от своей любимицы, странным образом заинтриговало ее, заставило ее чуть не впер-

вые в жизни испугаться за свое будущее, будущее, которое теперь так было важно и дорого для нее. Разговор теперь шел не только о спокойствии власти, но о спокойствии сердца. Правда, ей было бы очень тяжело расстаться с положением, созданным прихотью капризной фортуны, но еще тяжелее было бы забыть о тех надеждах, какие копошились в тайниках ее сердца. Анна Леопольдовна любила Линара, любила всем пылом своей молодой души, всей страстью своего, еще не тронутого любовными бурями сердца, и расстаться с этой любовью, озарившей ее скучную, монотонную жизнь, для нее было бы ужасно. Эта любовь слишком глубоко завладела ею. Еще год тому назад, когда роман ее с графом Линаром так сурово был оборван Бироном и покойной императрицей, она хотя с трудом, но все же примирилась с суровой судьбой, удалившей от нее любимого человека. Весь этот год, пока Линара не было в Петербурге, эта любовь продолжала теплиться в ее сердце, продолжала подогреваться надеждами, но теперь, когда Линар появился снова, когда ее взгляд снова встретился с его жгучим, полным любовной ласки взглядом, любовь Анны вспыхнула с новой силой. И вот вдруг теперь судьба вторично хочет сыграть с ней свою шутку. Теперь она совершенно свободна в своих поступках, теперь над нею нет опеки покойной императрицы, а ей снова говорят: забудь о своей любви, заставь замолчать свое сердце, молчавшее так долго и теперь забившееся в ответ на биение другого сердца. Нет, этого она сделать не может и не хочет. Все, что угодно, только не это.

Под влиянием этих мыслей, бурным вихрем пронесшихся в ее голове, бесстрастное, ленивое лицо принцессы оживилось, холодные глаза точно загорелись огнем.

Анна Леопольдовна торопливо встала с кушетки, привлекла к себе свою любимицу и проговорила:

— Слушай, Лина, мне сейчас мелькнула одна очень важная мысль. Вот ты все говоришь о своей любви ко мне. Я вижу, что ты меня глубоко любишь, верю, что эта любовь владеет всеми твоими чувствами, но ведь все это, дружок, только до поры до времени. Ты еще так молода, эта любовь ко мне будет первенствовать в твоем сердце, пока оно не забьется для другой любви, для другого, более серьезного чувства. Она отойдет на второй план, когда ты кого-нибудь полюбишь.

— Я никогда никого не люблю, — поспешно перебила молодая девушка, вспыхнув до корней волос.

— Не следует так говорить, дитя мое! В вопросах любви нельзя ручаться ни за одну последующую минуту. Мы не вольны в порывах сердца. Ты можешь полюбить, Лина, и, кто знает, может быть, уже теперь твое сердце поражено стрелой амура.

Юлиана еще более резко покачала головой и упрямо повторила:

— Я никогда никого не люблю.

— Предположим, что так. Но разве ты не можешь выйти замуж?

— О, этого-то уж никогда не будет!

— Почему ты в этом так уверена?

— Моя единственная мечта — не расставаться с вами. Замуж я не пойду, кто бы за меня ни посватался. Я уже сказала вам, ваше высочество, что моя единственная мечта, единственное желание — это никогда не расставаться с вами... И вообще не будем говорить об этом.

— Нет, плутовка, постой, меня этот вопрос сильно интересует. Разве в тебе так сильно отвращение к мужчинам, что ты решила остаться вечной девственницей? Уже не собираешься ли ты в монастырь?

Юлиана рассмеялась:

— О нет, на это я не способна, для монастыря я слишком жизнерадостна. Но если я не хочу запереться в монастыре, то это не значит, что я непременно должна выйти замуж, — я могу обойтись и без этого.

— Так и будем знать! — заметила Анна Леопольдовна. — Значит, полюбить ты никого никогда нелюбишь. Но неужели ты также уверена в том, что ты никогда не выйдешь замуж, неужели ты застрахована даже от случайностей?

Юлиана развела руками:

— От случайностей не застрахован никто. Я говорю только про добровольное решение: добровольно я никогда не пойду замуж.

Принцесса подняла глаза и в упор поглядела на оживленное, взволнованное личико своей фрейлины.

— И это без всякого исключения? — точно подчеркивая фразу, спросила она.

Девушка задумалась на секунду, затем гордо тряхнула своей хорошенькой головкой и твердо ответила:

— Без всякого исключения. Исключение возможно только в одном случае. Может быть, вы захотите избавиться от меня и прикажете выйти замуж — вашего приказания я не осмелюсь ослушаться.

Взгляд принцессы засверкал странными искорками, и легкая усмешка пробежала по ее губам.

— О, что до первого,— воскликнула она,— ты можешь быть спокойна: я с тобой не захочу и не смогу расстаться. Я слишком тебя люблю и, кроме того, знаю, что ты — мой самый преданный, самый истинный друг. Но относительно твоего замужества у меня, Лина, есть план. У меня есть, дружок, жених, которого я тебе хочу посватать.

Краска сбежала с лица Юлианы, и в глазах ее отразились неподдельная тревога и изумление.

— Вы не шутите, ваше высочество? — прошептала она дрожащим голосом.

— И не думаю, я говорю совершенно серьезно.

— Кто же этот мой жених?

Принцесса ответила не сразу. Было видно, что ей тяжело вести разговор дальше, было заметно, что взволновалась и она — об этом говорило ее лицо, окрашенное теперь ярким румянцем, и глаза, которые то вспыхивали искорками, то потухали. Наконец Анна Леопольдовна опустила голову и еле слышно ответила:

— Это — граф Линар.

Молодая девушка, совершенно не ожидавшая этого ответа, даже вздрогнула от неожиданности. В первое мгновение ей показалось, что принцесса просто шутит, и она впиалась нетерпеливым взглядом в лицо правительницы, ожидая уловить на нем веселую усмешку, но тотчас же поняла, что о шутке не может быть и речи. Лицо Анны Леопольдовны было подернуто сумрачной тенью, а губы нервно сжаты. Юлиана приблизила взволнованное лицо к лицу принцессы и тихим, замирающим шепотом спросила:

— Вы так хотите, это необходимо?

Анна кивнула и таким же тихим шепотом ответила:

— Да, необходимо, ты меня понимаешь, Лина. Это, может быть, бесчеловечно, жестоко с моей стороны, но если ты действительно любишь меня — ты это сделаешь. Ты не откажешься, нет?

Юлиана покачала головой, быстро схватила руки принцессы и, сжимая их в своих руках, воскликнула:

— Разве я могу отказаться, когда дело идет о вашем счастье? Для вас я готова решительно на все, за ваше спокойствие я отдам даже свою жизнь.

III В ТРЕВОГЕ

С тех пор как Баскаков окончательно оправился и переехал из дома Трубецкой и до того самого момента, когда он был внезапно арестован, он не пропускал ни одного дня, чтобы хоть на несколько минут не заглянуть в дом на Сергиевской, куда его так странно и так неожиданно забросила судьба.

Полные беспредельной любви друг к другу, любви, так странно зародившейся в их сердцах, захваченные этим счастьем, и Баскаков, и Анна Николаевна совершенно забыли об окружающей их жизни; да и какое им теперь было дело до этой окружающей их жизни, бежавшей мимо них? У них были свои интересы, своя жизнь.

Счастье вообще имеет свойство преобразжать людей: преобразило оно и Баскакова, изменило донельзя и Трубецкую.

Тяжелые дни бирюзовского гнета сгоняли улыбку с самых веселых лиц, но Анна Николаевна никогда не отличалась особым весельем. Мрачная и холодная появлялась она при дворе Анны Иоанновны, точно дивная статуя, изваянная резцом великого скульптора, но только созданная, а не оживленная его гением. Но теперь ее лицо светилось живою радостью, пылало румянцем, словно кусочек льда, которым было прежде ее сердце, превратился в целый сноп огненных лучей. Легкая тень, набегавшая на ее лицо, лежала на нем только до той минуты, пока перед ней не вырастала высокая, стройная фигура Василия Григорьевича и пока его губы не прижимались к ее руке горячим поцелуем. Но когда он запаздывал, Анна Николаевна положительно не находила себе места. Она так привыкла к тому, что его шаги слышались всегда в определенное время, что, когда подходила эта минута, чувствовала, как ее охватывает какое-то непонятное волнение, точно она всем своим существом ощущала его близость.

На другой день после того, как Баскакова схватили агенты Тайной канцелярии, княгиня тщетно ожидала его появления.

Громадные английские часы, стоявшие в гостиной, пробили уже два раза, а Василия Григорьевича все еще не было, и Анна Николаевна, еще далекая от каких-либо подозрений, стала уже, по обычаю, волноваться. Но минуты бежали за минутами, а Баскакова не было. Тогда Анна Николаевна стала тревожиться не на шутку. Ей стали мерещиться всякие ужасы. Совершенно невольно ей припомнился злобный взгляд отвергнутого ею Головкина, и ей показалось, что Баскаков не приходит потому, что с ним случилось что-то ужасное, что иначе он не мог бы так запоздать, не мог бы повергнуть ее в такую мучительную тревогу.

— Нужно узнать, что с ним,— решила она,— нужно рассеять это ужасное неведение.

Она нервными шагами подошла к сонетке¹, висевшей у двери, и так резко дернула шнурок, что дребезжание звонка, проведенного в людские комнаты, слабым отзвуком донеслось даже сюда. Горничная княгини, услышав этот нервный, нетерпеливый звонок, чуть не опрометью вбежала в гостиную, в которой находилась Анна Николаевна.

— Изволили звать, ваше сиятельство?

— Да, да, Катюша, пошли, пожалуйста, поскорее кого-нибудь на квартиру к Василию Григорьевичу... Или нет, лучше сходи сама, сходи и узнай, что с ним, здоров ли он, дома ли.

Горничная ушла, а Анна Николаевна, стараясь подавить охватившее ее волнение, стала дожидаться ее возвращения. И этот час, который пришлось провести ей, сгорая от нетерпения и мучась тревожными мыслями, показался ей чуть не целой вечностью. Наконец горничная вернулась. Когда она вошла в комнату, Анна Николаевна не выдержала и воскликнула:

— Ну что, что с ним такое?

— Не знаю, ваше сиятельство,— отозвалась девушка,— их дома нету.

— А давно он ушел?

— Вчерашний день еще ушли, даже дома не ночевали.

То, что казалось простым и обыденным для горничной, положительно повергло в ужас Анну Николаевну.

Теперь она не сомневалась, что с Баскаковым случилось что-то ужасное. Ей ни на минуту не пришла в голову мысль,

¹ Сонетка — комнатный звонок, приводимый в действие шнуром.

что Василий Григорьевич мог случайно запоздать и остаться ночевать у какого-нибудь приятеля. Она была уверена, что если он не ночевал дома, так это только потому, что на него напали по приказанию Головкина, что, может быть, теперь он лежит где-нибудь раненый или убитый. Разгоряченное воображение даже нарисовало ей ужасную картину. Она точно видела перед собой труп Баскакова, труп, залитый кровью, брошенный на одной из пустынных улиц Петербурга. И ужас, вызванный в ней этой картиной, был настолько силен, что она закрыла лицо руками и должна была призвать на помощь всю силу воли, чтобы не разразиться отчаянными рыданиями.

Припадок бессилия продолжался у нее очень недолго. Как тигрица, готовая защищать своего детеныша, попавшего в опасность, она, полная сознанием, что человеку, так беззаботно любимому ею, может грозить неприятность, что, может быть, он попал в какую-нибудь ловушку, почувствовала прилив внезапно проснувшейся энергии и, быстро вскочив со стула, приказала горничной:

— Поди, вели заложить лошадей, я сейчас уезжаю.

А не больше как через полчаса она уже выходила из своей кареты у подъезда Софьи Дмитриевны, ее единственной подруги, с которой она не могла не поделиться своим горем.

Софья Дмитриевна, когда ей доложили о приезде княгини Трубецкой, торопливо вышла ей навстречу и положительно перепугалась, взглянув на бледное как полотно, точно сразу осунувшееся лицо своей приятельницы.

— Анята, — воскликнула она, — что с тобою? Что такое случилось? Ты на себя не похожа.

Анна Николаевна, нервы которой были натянуты до невозможности, не выдержала и отчаянно разрыдалась.

— Будет, голубчик! — стала утешать ее Соня. — Как бы горе ни было велико — слезами все равно не поможешь. Пойдем-ка лучше ко мне в спальню, успокойся и расскажи мне все подробно.

Трубецкая, как послушный ребенок, пошла, поддерживаемая своей подругой, силясь удержать слезы, струившиеся по щекам, но совсем не облегчавшие ее. Софья Дмитриевна подождала, пока она успокоилась, и только затем решилась повторить свой вопрос.

— Ну, что такое случилось? Рассказывай! Кто тебя огорчил?

Она нарочно старалась взять шутливый тон, нарочно заставляла себя улыбаться, но в то же время видела, что Трубецкая расстроена слишком сильно, что несчастье, которое ее потрясло, должно быть велико.

— Баскаков пропал,— медленно ответила Анна Николаевна, с трудом сдерживая рыдания.

— То есть как пропал? Бросил тебя, уехал из Петербурга?

Этот наивный возглас заставил Трубецкую улыбнуться сквозь слезы.

— Ну! Вот еще! — проговорила она.— Как могут приходить тебе в голову такие глупости? Неужели ты думаешь, что, если бы это случилось, я могла бы поддаться такому отчаянию? Это — обида самолюбию, а самолюбие не так чувствительно, как сердце.

— Так куда же он делся?

— Вот в том-то и дело, что я решительно ничего не знаю. Он должен был сегодня прийти ко мне в два часа, как приходил постоянно, каждый день, и не пришел. Я посылала к нему домой, и дома его нет. Мало того, он даже не ночевал сегодня дома.

— И ты думаешь...

— Я думаю все, что может прийти в голову расстроенной женщине. Нет никакого сомнения, что с ним что-то произошло, что его что-то задержало, и понятно, что это не без участия Александра Ивановича.

Софья Дмитриевна испуганно расширила глаза:

— Тебе кажется, что тут замешан Головкин?

Трубецкая кивнула:

— Несомненно! Он не из таких, чтобы прощать обиду, которую я ему нанесла.

— Но ведь он же не знает о твоём романе?

— Ах, боже мой, разве это так трудно узнать?

— Да, положим,— с легкой улыбкой заметила Софья Дмитриевна,— ты действовала достаточно открыто.

— Да я и не считала нужным скрываться,— горячо перебила Трубецкая.— Впрочем, дело не в этом. Теперь нужно что-нибудь предпринять: разыскать Васю, избавить его от беды, если он попал в нее.

Софья Дмитриевна задумалась и после небольшого молчания спросила:

— Но что же можно сделать? Не поедешь же ты к Головкину требовать от него отчета в том, что он сделал с Баскаковым.

— Отчего же не поеду? Если это будет необходимо, так я не остановлюсь перед этим.

— По-моему, это и бесполезно, и рискованно. Прежде всего, еще не доказано, виноват ли в этом Головкин, а кроме того, он не сознается, даже если бы он был виноват. Нет, дружок, нужно поискать какой-нибудь другой способ.

Трубецкая заломила руки и хрустнула пальцами.

— Но какой же, какой? — простонала она. — Ты же понимаешь, что я не могу спокойно дожидаться, отыскивая этот более удобный способ. Я с ума сойду от отчаяния.

— Какой ты еще ребенок, Аня! Успокойся, подожди немного, а я постараюсь отыскать человека, который нам может быть полезен.

Она торопливо подошла к маленькому секретеру, стоявшему в простенке, откинула доску и, взяв листок бумаги, набросала несколько строк.

— Кому это ты пишешь? — спросила Анна Николаевна, заходя сзади ее стула.

— Одному из своих поклонников, — с усмешкой отозвалась Соня, запечатывая письмо облаткой. — Это — человек, который за меня пойдет в огонь и в воду, — добавила она, — и я рассчитываю, что он может быть очень полезен нам в данном случае. Кроме того, у него есть кой-какое знакомство в Тайной канцелярии, а мне кажется, что первые поиски нужно начать именно оттуда.

Трубецкая испуганно попятилась.

— В Тайной канцелярии? — прошептала она. — Ведь Тайная канцелярия бездействует, теперь ведь кончились эти кровавые дни...

— Бездействует, но не уничтожена, и кто может знать — может быть, Баскаков попал именно в один из ее казематов.

— Но в таком случае, — воскликнула Анна Николаевна, — я найду способ избавить его от тюрьмы. Я тотчас же поеду к правительнице.

— Зачем?

— Затем, чтоб рассказать ей об этом ужасном злодеянии, указать на то, что ее повеления не исполняются, потому что я наверное знаю, что принцесса отдала строгий приказ, чтобы все дела Тайной канцелярии были закончены как можно скорее.

Софья Дмитриевна покачала головой.

— Горячка ты, Анюта! — проговорила она. — Ты думаешь, что правительница так и схватится за это дело, так и постарается оказать тебе помощь?

— Конечно, — отозвалась Анна Николаевна, гордо поднимая голову, — к ней приедет просить помощи не какая-нибудь захудалая дворянка, а княгиня Трубецкая, в жилах которой течет кровь нисколько не хуже крови брауншвейгских принцев. И потом, разве так трудно исполнить мою просьбу, ей стоит только отдать приказ освободить Баскакова, и мне больше ничего не нужно. Нет, лучше не отговаривай меня, Соня. Будь что будет, а я поеду во дворец. Если даже это необходимо — как я ни горда, — я на коленях буду умолять принцессу помочь мне. Я слишком люблю Васю, чтобы задуматься хоть на минуту, раз есть возможность его спасти.

— Как хочешь, как хочешь! — раздумчиво повторила Софья Дмитриевна. — Поезжай! А что до меня, то я все-таки пошлю это письмо. Я не хочу пророчествовать, но думаю, что из твоего визита в Зимний дворец ничего ровно не выйдет. — И она протянула руку к сонетке, чтобы позвать прислугу.

Анна Николаевна торопливо поднялась с места, наскоро поцеловала свою подругу и быстро направилась из комнаты, горя нетерпеливой надеждой тотчас же увидеться с принцессой и вымолить у нее спасение Баскакову.

IV

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Анна Леопольдовна, по обыкновению, полулежала на своей любимой кушетке и жмурилась от лучей солнца, целым снопом бивших в оконные стекла и заливавших ярким светом ее маленький кабинетик. На низеньком табурете около изголовья кушетки сидел граф Линар и с веселой улыбкой на холеном самодовольном лице что-то рассказывал принцессе. В дверь кто-то постучал. Анна Леопольдовна недовольно повернула голову и крикнула резким тоном, в котором зазвучала нотка озлобления:

— Войдите!

Вошла Юлиана.

— Ах, это ты, Лина! — встретила ее принцесса, на лице которой снова появилась улыбка. — Садись около меня и давай вместе слушать, что рассказывает граф.

— Я хочу потревожить ваше высочество, — промолвила Юлиана. — Приехала княгиня Трубецкая и просит, чтобы вы ее приняли.

Улыбка опять потухла в глазах Анны Леопольдовны, по лицу ее опять скользнула недовольная гримаска, и она спросила:

— Трубецкая? Что ей нужно? Неужели для своих визитов она не могла выбрать более удобное время? Если б ты знала, Лина, как мне не хочется с ней разговаривать!

Юлиана усмехнулась:

— Я это вижу, ваше высочество. Может быть, позвольте мне переговорить с нею от вашего имени? Я скажу, что вы нездоровы.

— Да, да, пожалуйста! — торопливо отозвалась Анна. — Выйди к ней и спроси, что ей от меня нужно.

Девушка фон Менгден отправилась в приемную, где, вся дрожа от нетерпения, дожидалась выхода правительницы княгиня Трубецкая. С Юлианой она была хорошо знакома и теперь, дружески пожав руку молодой девушки, быстро спросила:

— Что же, ее высочество скоро примет меня?

Юлиана развела руками:

— Принцесса больна и просила меня, княгиня, поговорить с вами... может быть, дело не настолько важно...

— Нет, нет! — торопливо перебила ее молодая женщина. — Мне необходимо видеть принцессу лично. Не обижайтесь на меня, дорогая, но дело слишком серьезно, и я не могу посвящать вас в мою тайну.

— Если так, — проговорила Юлиана, — я передам это ее высочеству и постараюсь, чтобы она вас приняла.

Когда девушка фон Менгден сообщила принцессе о неудачном результате своей миссии, Анна Леопольдовна досадливо воскликнула:

— Ну, что еще за важные тайны? Знаю я их! Наши светские барыни каждую муху готовы превратить в слона.

— Она очень взволнована, — заметила Юлиана, — и я думаю, что она приехала по какому-нибудь важному делу.

Принцесса лениво поднялась с кушетки и вышла в приемную.

Анна Николаевна встретила ее глубоким реверансом и проговорила дрожащим голосом:

— Извините меня, ваше высочество, может быть, я явилась в неуказанное время, но на это есть очень важные причины.

— Что ж вам угодно, сударыня? — обдавая Трубецкую безучастным взглядом, спросила правительница, медленно опускаясь в кресло, стоявшее у окна.

— Ваше высочество, — заговорила Анна Николаевна тем же дрожащим голосом, — я пришла умолять вас о милости. Вы меня поймете, вы сами молоды, и ваше сердце не может быть глухо к мольбе любящей женщины. — У нее перехватило дыхание, и она приостановилась, точно дожидаясь поощрения со стороны принцессы на дальнейший рассказ.

Анна Леопольдовна прищурилась и тем же холодным, безучастным взглядом скользнула по лицу своей собеседницы. Было заметно, что слова Трубецкой совсем не тронули ее сердца, и она снова, по-прежнему холодно, но уже более резко, повторила:

— К делу, сударыня, к делу! Я вас слушаю.

Анна Николаевна была слишком взволнована, чтобы заметить эту перемену тона. Мысли целым вихрем проносились в ее разгоряченной голове, и все они группировались только около одной думы, думы о том, что Баскаков теперь томится в каземате Тайной канцелярии, откуда его необходимо вырвать во что бы то ни стало. И, задыхаясь, нервно вздрагивая, молодая женщина заговорила снова, с мольбой устремляя свои глаза на сумрачное лицо принцессы:

— Ваше высочество, моя просьба не велика, ее легко исполнить, но она имеет для меня громадное значение. Я люблю одного человека, этот человек для меня дороже жизни, я готова пожертвовать всем для его счастья, и он пропал, пропал бесследно... Верните мне его, верните!

Легкая ироническая улыбка тронула губы принцессы.

— Вы обращаетесь ко мне с очень странной просьбой, сударыня! Не могу же я разыскивать по столице каждого своего подданного.

Анна Николаевна заметила насмешку, звучавшую в словах правительницы, и яркий румянец залил ее лицо. В ней проснулась ее обычная гордость, и она уже более сухим тоном проговорила:

— Я прошу вас не об этом, я прошу о том, что в вашей власти. Человек, о котором я говорю, пропал в казематах Тайной канцелярии.

Не будь принцесса вообще раздражена, она, может быть, отнеслась совсем иначе к словам Трубецкой, но ей слышался какой-то странный упрек в ее тоне, озлобление против княгини обострилось, и она уже совсем сурово ответила:

— Если он арестован, значит, за дело; обратитесь в таком случае к Ушакову, а я тут решительно ни при чем! — И она резко поднялась с места, давая этим знать, что аудиенция окончена.

Трубецкая с мольбой сложила руки и воскликнула:

— Ваше высочество, помогите!

— Но что же я могу сделать? И, наконец, кто он, тот, за кого вы просите? Он — ваш жених?

Трубецкая вспыхнула и тихо отозвалась:

— Да, жених.

— Кто же он? Я его знаю? Он из числа моих придворных?

— Нет, он не принадлежит ко двору! Да разве это не все равно, ваше высочество? Разве не все равно, для кого сделать доброе дело: для человека ли, имеющего титул и герб, или для простого гражданина нашего отечества? Наконец, я прошу вас об этом, я, княгиня Трубецкая... Неужели вам еще мало и этого?

Щеки правительницы залило краской.

— Не можете же вы мне приказывать, сударыня! — язвительно заметила она. — Я не сомневаюсь в том, что род Трубецких — очень старый род, но не забудьте все-таки, что я — мать императора... Наконец, довольно об этом! Я вам ничем не могу помочь. Прощайте, сударыня! — И, повернувшись, она вышла из приемной, оставив Трубецкую, совершенно ошеломленную и этими словами, и этим быстрым уходом!

Анна Николаевна хрустнула пальцами рук и, еле сдерживая подступившие к глазам слезы, поспешила выйти из дворца. Усевшись в карету, она задумалась о том, что ей теперь делать. Неужели же так и оставаться в неведении относительно Баскакова, неужели у нее нет никакой возможности спасти его? На мгновение было мелькнула мысль ехать к начальнику Тайной канцелярии Андрею Ивановичу Ушакову, но она тотчас же отказалась от этой мысли. Она слишком хорошо знала Ушако-

ва и была уверена, что из этого ровно ничего не выйдет. Слащавый и любезный вне своей деятельности, Ушаков не трогался ничьими просьбами, ничьими слезами. Ей, княгине Трубецкой, обидно было получить отказ от правительницы, неужели она должна была дойти до такого унижения, чтоб выслушать отказ и от Ушакова?

Между тем кучер, ожидая, пока княгиня отдаст приказание, куда ехать, все еще сдерживал горячившихся лошадей, и карета Трубецкой продолжала стоять у подъезда Зимнего дворца. Анна Николаевна наконец очнулась, заметила это и крикнула кучеру:

— Что же ты стоишь?

— Куда прикажете ехать, ваше сиятельство?

Этот вопрос смутил ее и заставил снова задуматься. Но на этот раз раздумье продолжалось недолго. Она вдруг решила повидаться с Головкиным, поймать его врасплох и заставить его рассказать о том, что он сделал с Василием Григорьевичем. И она отдала приказание кучеру ехать на Английскую набережную.

Граф Головкин и удивился, и обрадовался, когда ему доложили, что его желает видеть княгиня Трубецкая. Он со всех ног бросился в залу, куда уже прошла молодая женщина, и воскликнул:

— Анна Николаевна, вот неожиданность! Неужели вы простили вашего верного раба и сменили гнев на милость? — Он схватил руку молодой женщины и прижался к ней губами, но Анна Николаевна резко выдернула у него свою руку и, не будучи в силах сдерживаться, проговорила:

— Оставьте эти комедии, граф! Меня они не обманут, да и будет гораздо лучше, если мы поведем с вами дело начистоту.

Александр Иванович сразу понял, на что она намекает, и его лицо, оживленное было радостной улыбкой, приняло обычное злое выражение. Однако он решил не показывать и вида, что он понял княгиню, и тем же слащавым тенорком отозвался:

— Какие комедии? О чем вы говорите? Неужели уж вы меня так презираете, что не верите тому, что я искренне рад вашему приезду? Меня можно подозревать в чем угодно, только не в отсутствии любви и уважения к вам.

— Если бы вы меня уважали, — презрительно заметила Трубецкая, — вы не говорили бы мне о своей любви.

Головкин покраснел от этого презрительного, обидного тона, но сдержался и на этот раз.

— Что делать? Я слишком люблю вас, чтобы даже мысленно отказаться от этого. Но ведь я не думаю,— перебил он себя,— что вы приехали только затем, чтобы сказать мне в лицо уже знакомую мне истину.

— Да, вы не ошиблись! Я приехала к вам по более важному делу.

Анна Николаевна устремила на Головкина вызывающий взгляд. Он торопливо и смущенно опустил голову, чтобы скрыть искорки, вспыхнувшие в его глазах.

— Скажите мне, ваше сиятельство,— спросила Трубецкая, говоря нарочно медленно, как бы подчеркивая свои фразы,— честный вы человек или нет?

Щеки Головкина опять покрылись румянцем, и он воскликнул раздраженным, резким голосом:

— Княгиня, как я вас ни люблю, но я не позволю даже вам оскорблять меня!

Анна Николаевна презрительно рассмеялась.

— Я ведь не выразила сомнения,— сказала она,— а просто задаю вопрос и, кажется, имею полное право задать такой вопрос, потому что некоторые факты заставляют меня сомневаться в вашей честности, граф.

— Княгиня! — уже угрожающим тоном воскликнул Головкин.

Но его возглас, его загоревшийся злобой взгляд не испугали Трубецкую; напротив, чем больше злился и волновался он, тем она внешне становилась более и более спокойною.

— Не кричите на меня так,— сказала она, смотря на Александра Ивановича презрительным взглядом,— вы меня этим не испугаете.

Головкин понял, что, злясь, он только делается смешным в ее глазах, совладал с охватившим его волнением и постарался даже вызвать на своем лице ироническую усмешку.

— Да, вы правы,— произнес он,— вы — женщина, следовательно, вы застрахованы от моей мести: не вызывать вас на дуэль...

— Ни убить меня,— обдавая его загоревшимся взором, перебила Трубецкая,— конечно, немыслимо, а вы бы, понятно, не остановились перед убийством, если б на моем месте был мужчина, не правда ли?

Головкин не понял намека и бессознательно пошел в лодушку.

— О, конечно,— воскликнул он,— я не из тех, что прощают.

— Так, значит, Баскакова вы убили? — быстро спросила Анна Николаевна, пронизывая побледневшего при этом вопросе Головкина острым взглядом.

— Баскакова? — бессознательно протянул Головкин.— Ах, это вас возмутило, от этого-то вы и похожи на разъяренную тигрицу? Может быть!..

Анна Николаевна вздрогнула, пошатнулась и протянула вперед руки, точно отстраняя страшный призрак, вдруг составший перед нею.

— Так вы убили его? — воскликнула она, сама еще не веря ужасному признанию.

Головкин нахально рассмеялся.

— А разве его смерть вас так огорчает? — насмешливо спросил он, чувствуя, что роли переменились и что теперь он может отомстить ей за обиду, только что нанесенную ему.— Признайтесь, вы его сильно любили?

— Да, да,— задыхаясь, проговорила Трубецкая,— я его любила и буду любить, а вас презираю, ненавижу: вы — гадкий, подлый человек... Но я не думаю, чтоб ваша подлость дошла до таких ужасных пределов, не может быть, чтоб вы стали мстить человеку, ни в чем не повинному. Признайтесь, вы солгали, вы пошутили? Вы просто хотели нанести мне рану поглубже?

И, вся замирая от страха, чувствуя, как ледяной холод охватывает все ее тело, вся полная одной мыслью, одной надеждой, что слова Головкина не могут быть правдой, она остановившимися от ужаса глазами впиалась в его лицо и ждала, что он рассеет этот страшный туман, который охватил ее. А Головкин с той же холодной усмешкой, с тем же злым блеском в глазах приблизил свое лицо к ее лицу и прошептал голосом, полным язвительной злобы:

— Нет, я не солгал. Вы полюбили Баскакова, он мне стал на дороге, и я решил уничтожить его. Вы можете его любить... но любить только в памяти... для вас он больше не существует.

Эти ужасные слова тысячью раскаленных игл проникли в мозг Трубецкой, раскатами грома раздались в ее ушах, и она, не выдержав потрясения, пошатнулась и, потеряв сознание, тяжело упала на пол.

В КАМЕННОМ МЕШКЕ

Напали на Баскакова так неожиданно и так неожиданно его схватили, что он опомнился только тогда, когда развязали мешок, наброшенный на его голову. Оглядевшись, он не сразу понял, куда попал. Комната, в которой он очутился, была невелика, и в ней царил полумрак, едва разгоняемый слабым светом сальной свечки, горевшей в шандале¹, стоявшем на столе. Кроме этого стола да табуретки, в комнате не было ничего. Не было даже окна, как ни старался отыскать его взглядом Василий Григорьевич. На него со всех сторон глядели глухие каменные стены, да в одной из стен чернело пятно наглухо затворенной двери. В этой странной комнате он был один. Страннее всего то, что Баскаков даже не заметил, как вышли люди, принесшие его сюда, люди, развязавшие и снявшие мешок с его головы.

«Что это значит? — подумалось ему. — Куда это я попал? Что за странное похищение и с какою целью оно совершено?»

Он поднялся с полу, на который его положили, внеся сюда, подошел к двери и, толкнув ее, убедился, что она заперта; затем он обошел углы своей странной тюрьмы и, вернувшись к столу, уселся на табурет, задумавшись.

Он совершенно не мог дать себе отчета, что с ним произошло, как не мог объяснить себе мотивов этого странного ночного нападения. Случись это во времена бироновского владычества, он, конечно, тотчас же догадался бы, что очутился в одном из казематов Тайной канцелярии, в одном из этих так называемых каменных мешков. Он бы понял сразу, что попал в руки бироновских ищеек, которые, как ему казалось раньше, даже охотились за ним; но теперь было не то: Бирон пал, а с его падением, как слышал Василий Григорьевич, уничтожена и Тайная канцелярия, а раз она уничтожена, ему и в голову не могло прийти, что он очутился в ее стенах.

«Однако куда же я попал?» — снова задал он себе вопрос. И, конечно, этот вопрос должен был остаться без ответа. Тогда он сразу как-то успокоился и решил дожидаться, чем все это разъяснится. «Ведь не может же быть, — мелькнуло в его мозгу, — что меня замуровали здесь навсегда, что я не увижу чело-

¹ Ш а н д а л — подсвечник.

веческого лица... Подождем до завтра!» И, приняв это решение, он положил свой плащ на пол, растянулся на нем и тотчас же заснул как убитый.

Долго ли он спал, он этого не знал. Когда он проснулся, в его тюрьме царила непроглядная тьма: свеча догорела и потухла, стоял густой, непроницаемый мрак. Василий Григорьевич зевнул, потянулся и, чувствуя, что ему совсем не хочется спать, понял, что теперь, очевидно, утро. Несколько минут он пролежал спокойно, не шевелясь, занятый только одной мыслью, скоро ли разъяснится эта странная загадка. Но чем дальше бежали минуты, тем сильнее стало его охватывать какое-то странное беспокойство, беспокойство, усиливавшееся благодаря этой мрачной тьме, стоявшей вокруг него, и мертвой тишине, такой тишине, словно он был похоронен в могиле. Поднялось беспокойство, стали в голове тесниться и тревожные мысли. Он решил выйти скорее из этого состояния томительного неведения: поднялся с полу, ощупью добрался до двери и изо всей силы забарабанил в нее кулаком. Но ответом ему были та же самая тишина, то же мертвое безмолвие. Беспокойство еще более усилилось, оно стало переходить в отчаяние, и Баскаков стал колотить в дверь еще сильнее. Очевидно, стук слышали. Жадное ухо Баскакова уловило как будто бы отдаленные голоса, затем шарканье шагов; потом загремел засов, отодвинутый с резким металлическим лязганьем, дверь отворилась, скрипя на заржавевших петлях, и через порог переступила чья-то высокая фигура.

Василий Григорьевич так и впился глазами в этого незнакомца, который своим приходом должен был рассеять тьму, окружавшую его со вчерашнего вечера, разъяснить мучительную загадку, положительно истерзавшую его своей таинственностью. Не успел незнакомец войти в комнату, как дверь уже за ним затворилась и комната снова погрузилась в мрак. Василий Григорьевич благодаря этому не видел, что делает вошедший к нему человек, не мог разглядеть теперь не только его лица, но даже фигуры, а тот, оставаясь стоять около двери, спросил:

— Вы, кажется, стучали? Вам что-нибудь нужно?

Холодный тон, которым произнесены были эти слова, возмутил Баскакова.

— Позвольте,— вскричал он,— прежде всего, что это все значит? Где я и как я сюда попал? Я бы это понял еще, если бы был хорошенькой женщиной, но, насколько мне известно, я на

женщину нисколько не похож. Объясните мне, пожалуйста, зачем меня похитили и для чего меня посадили в эту крошечную тьму?

— А разве вам необходимо знать, где вы находитесь? — услышал Баскаков в ответ, и теперь в тоне незнакомца ему даже почудилась как бы насмешка.

— Я думаю! — горячо продолжал Василий Григорьевич. — На что же это похоже, если человеку, которого хватают на улице, даже не говорят, зачем его схватили? Или, может быть, я попал в какое-нибудь разбойничье гнездо? Но предупреждаю вас, что я — человек небогатый и выкупа за себя дать никакого не могу, да и не дам. Если же это — простая комедия, простая шутка, так пора ее, сударь, прекратить.

В ответ на эту горячую тираду Баскаков услышал легкий иронический смех.

— Так вам, сударь, интересно знать, где вы находитесь? Извольте, так и быть, я удовлетворю ваше любопытство: вы посажены в каземате Тайной канцелярии.

Баскаков вздрогнул, сделал шаг назад и стукнулся спиной о стену.

— Как? В Тайной канцелярии? За что?

— За что — этого я и сам не знаю.

— Но кто же вы сами такой?

— Кто я? Один из агентов канцелярии.

— Может быть, вы меня и арестовали?

— Не стану скрываться. Но вы на меня за это гневаться не можете: я — простой исполнитель приказаний. Мне было отдано приказание схватить вас, я вас и схватил, так же как схватил бы каждого из петербургских жителей, несмотря ни на его положение, ни на его связи.

На минуту воцарилось молчание. Василий Григорьевич был положительно ошеломлен. Он не мог уяснить себе, что все это значит. С одной стороны, он слышал, что с падением Бирона Тайная канцелярия совершенно уничтожена, а с другой — и он сам был живым и ярким доказательством этого — Тайная канцелярия осталась прежним грозным учреждением, и ее агенты действуют так же, как и раньше. Раздумавшись об этом, Баскаков почувствовал, как леденящий ужас прошел по его телу.

— Но скажите, ради бога, — обратился он к таинственному незнакомцу, силуэт которого он скорее чувствовал, чем видел в стоявшей кругом темноте, — долго ли меня будут здесь дер-

жать? Наконец, неужели я обречен на вечное сидение в этих ужасных потемках, потемках, которые могут свести с ума, которые мучительнее всяких пыток. Ведь я — живой человек, нельзя же меня заранее закапывать в могилу!..

— О, что до этого,— отозвался незнакомец,— то я совсем не имею инструкции лишать вас света. Здесь вы помещены только на время, и я могу вас перевести в более удобную и более светлую комнату. Если вам угодно, то пойдемте со мною.

— О, еще бы не угодно! — вырвалось у Баскакова.

Агент отворил дверь, взял под руку Василия Григорьевича и вместе с ним вышел в коридор, с обеих сторон которого чернели дверные амбразуры. В коридоре было сумрачно, он освещался слабым светом, падавшим из двух фонарей, прикрепленных к стенам, но и этот полумрак после абсолютной темноты, в которой пробыл так долго Василий Григорьевич, обрадовал Баскакова и заставил его облегченно вздохнуть. С невыразимой радостью, как человек, который вдруг прозрел после долгой слепоты, Баскаков оглядывался по сторонам и вдруг вздрогнул. Его взгляд упал на фигуру преображенного офицера, сидевшего в глубине коридора и показавшегося ему донельзя знакомым. Да, он не ошибся; это был не кто иной, как поручик Милошев, с которым он так недавно виделся у Лихарева. Он сделал радостное движение, хотел даже крикнуть ему, но в это самое время агент Тайной канцелярии, шедший с ним рядом, остановился у одной из дверей и, пропуская вперед своего пленника, проговорил:

— Вот, пожалуйста сюда, здесь вам будет гораздо удобнее и гораздо светлее.

Каземат, в который вошел теперь Баскаков, был так же неказист по обстановке, но зато в нем была койка, а кроме того — и самое главное,— он освещался дневным светом, падавшим через узкое, защищенное толстой решеткой окно.

До сих пор Василий Григорьевич совершенно не любопытствовал взглянуть на лицо своего спутника. Но теперь, когда они вошли в каземат, Баскаков обернулся к нему, чтобы поблагодарить за перемену помещения, и вдруг замер от изумления при одном взгляде на человека, стоявшего перед ним. Ему показалось, что он заглянул в зеркало. Перед ним стоял человек, до того похожий на него, Баскакова, словно он был не только его родным братом, но его двойником.

Незнакомец заметил изумление, отразившееся на лице Василия Григорьевича, и с улыбкой спросил его:

— Вы, кажется, удивляетесь нашему сходству?

Баскаков вдруг вскрикнул. Он вспомнил встречу в герберге на Невском через несколько дней после приезда в Петербург, вспомнил и дуэль на Царицыном лугу, вспомнил свой разговор с Лихаревым после этой дуэли, вспомнил даже слова Антона Петровича: «Я не скажу вам имени вашего двойника, но, если вам когда-нибудь придется встретиться с ним, вы должны убить его без сожаления, как убивают гадину, попавшуюся на дороге».

— Но кто же вы, кто? — диким криком вырвалось у Баскакова.

— Я уже сказал вам: я — агент Тайной канцелярии. Зовут меня Барсуков, и я, поверьте, нисколько не виноват в странной игре природы, создавшей нас так похожими друг на друга. Впрочем, — прибавил он с легкой улыбкой, — эта игра природы вам на пользу. Я не могу сделать зло человеку, так удивительно похожему на меня, и если вам угодно, то я могу вас избавить от знакомства с застенками Тайной канцелярии.

В тоне, каким он произнес эту фразу, слышалось что-то донельзя фальшивое, но Василий Григорьевич не обратил на это внимания и, обрадовавшись возможности спастись, горячо воскликнул:

— О, еще бы мне не было угодно! Я не знаю, что бы я и сделал, лишь бы вырваться отсюда. Спасите меня, и я сумею вас отблагодарить.

— Я в благодарности не нуждаюсь. Выслушайте меня, и, если вам угодно будет принять мои условия, я сделаю для вас все, что возможно.

— Условия? Какие условия?

— Первое и самое главное: вы должны тотчас же покинуть Петербург.

Василий Григорьевич насторожился и бросил подозрительный взгляд на своего собеседника.

— Странное условие! — пробормотал он. — Кому же я здесь мог помешать?

Барсуков пожал плечами.

— Очевидно, есть люди, которым вы мешаете, — многозначительно произнес он. — Да разве вам не все равно, где жить? Разве вас к Петербургу что-нибудь особенное привязывает?

Василий Григорьевич на минуту задумался. Ему показалась странной последняя фраза его собеседника. По тону, каким он произнес ее, было заметно, что он знает, какая связь существует у него с Петербургом, знает, что ему не безразлично покинуть теперь приневскую столицу. Но затем легкая усмешка дрогнула под усами Баскакова. Ему мелькнула одна мысль, которую он захотел тотчас же привести в исполнение.

— Скажите,— спросил он самым невинным тоном,— вы это говорите от себя или действуя тоже по чьему-нибудь приказанию?

— А вам это не все равно?

— Представьте себе, не все равно. И вот что: будем играть в открытую. Предположим, я соглашусь уехать из Петербурга, но, согласившись уехать из Петербурга, разве я не могу вернуться сюда через неделю или через две? Думаю, что мое возвращение не входит в ваши расчеты.

Глаза Барсукова точно сузились, из них как бы сверкнула молния.

— Конечно, не входит. Если вы хотите знать все, я должен буду вам поставить еще и другое непременно условие: вы должны не только уехать из столицы, но даже забыть о том, что она существует. Живите себе где угодно, делайте что хотите,— вас не тронут, пока вы не вспомните о Петербурге и...

— И о ком еще? — переспросил Баскаков и сам же быстро добавил: — И о княгине Анне Николаевне Трубецкой, не так ли? Вы это хотите сказать? Я мешаю, очевидно, одному из ее поклонников, которому перешел дорогу? Будьте же откровенны, любезный, вы видите, что я насквозь вижу ваши карты.

Барсуков вспыхнул и немного дрожащим голосом ответил:

— Вы угадали.

Лицо Баскакова приняло презрительное выражение.

— Тем лучше! Значит, вы предлагаете мне за свободу забыть о Петербурге и о Трубецкой — не так ли?

— Да,— кивнув, подтвердил Барсуков.

— А если я не соглашусь на это?

— В таком случае вам придется забыть о ней, сидя в этом каземате. Я, как видите, предоставляю вам свободный выбор.

— Я это вижу и уже выбрал,— холодно отозвался Василий Григорьевич.

— И именно что же? — вдруг загоревшимся взглядом впиваясь в лицо своего собеседника, спросил клевет Головкина.

— Я предпочитаю остаться здесь, в этом каземате.

Этого ответа Барсуков не ожидал. Он досадливо пожал плечами и воскликнул:

— Как хотите! Я не вправе насиловать вашу волю.— И, круто повернувшись, он вышел из каземата; дверь за ним захлопнулась, и до слуха Баскакова донеслось лязганье тяжелого запора.

VI

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Выйдя из каземата, Барсуков досадливо повел плечами и даже топнул ногой. Несговорчивость Василия Григорьевича разрушала все его планы.

— Ох, молодчик! — прошептал он.— Попадись ты в мои лапы немного раньше, ты бы у меня запел по-иному...

Да, захвати он Баскакова в бироновские времена — было бы совсем иное дело. Тогда он сумел бы вынудить узника не только согласиться на отъезд из столицы, но мог бы сплавить его таким образом, что он уж никогда бы не встретился на дороге графа Головкина. Легкий допрос с пристрастием, хорошая встряска на дыбе — и вместо Василия Григорьевича Баскакова осталось бы только одно воспоминание в виде записи в книгах Тайной канцелярии да трупа, который ночью отвезли бы на кладбище у церкви Сампсония Странноприимца.

Теперь не то. Правительница слишком мягкосердечна и не желает омрачать свое царствование кровавым продолжением бироновской тирании. На другой же день после ареста Бирона она призвала генерал-аншефа¹ Ушакова, грозного начальника страшной Тайной канцелярии, и категорически заявила ему, что желает уничтожить не только Тайную канцелярию, но и самую память о ней. Когда же Ушаков возразил, что этого сделать сразу нельзя, что в его ведении находятся многие арестанты, судьба которых еще не решена, а выпустить на свободу которых опасно,— принцесса сказала:

— Хорошо! Заканчивайте эти дела, но помните: без пыток, без крови и без безвестного отсутствия...

¹ Генерал-аншеф — инженер-генерал.

Ушакову оставалось только принять к сведению так категорически выраженное желание правительницы — и понятно, что и он сам, и его клеветы вроде Барсукова, связанные теперь по рукам, должны были умерить свою кровожадность.

Впрочем, Барсуков еще не терял надежды. У него было в руках средство избавиться от непокорного арестанта. Правда, его нельзя было слишком неосторожно встряхнуть на дыбе, но можно было «забыть» в каземате. Пока его знакомые и друзья, если у него такие есть, дознаются, где он находится, пройдет довольно времени, чтобы сделать его безвредным. Стоит только не покормить его несколько дней — и графу Головкину нечего будет бояться соперника. Это немножко, конечно, опасно, принимая во внимание уничтожение Тайной канцелярии, но Барсукову не верилось в это уничтожение. Сгоряча правительница могла выразить такое желание, но вряд ли она будет настаивать на нем, раз ей сумеют доказать, что Тайная канцелярия необходима, что она заботится об ее личной безопасности.

А доказать это совсем не трудно.

Что заговор в пользу цесаревны Елизаветы существовал — Барсуков это знал наверное; не сомневался он, что этот заговор существует и до сих пор. Значит, стоило только напугать этим правительницу — и Тайная канцелярия могла рассчитывать на очень долгое существование.

Андрей Иванович Ушаков это прекрасно понимал. Недаром он недавно призвал его, Барсукова, к себе и спросил:

— Ну что, Барсучок, не хотишь снова поохотиться за елизаветинцами?

— С удовольствием, ваше превосходительство,— отозвался достойный клевет страшного начальника Тайной канцелярии.

— Только помни,— продолжал Андрей Иванович,— охотиться нужно наверняка... промаха не давать. Коли мы с тобой эту музыку устроим да представим ее императорскому высочеству списочек цесаревниных пособников с обозначением, какой они камуфлет¹ затевают,— совсем иная статья будет. И еще помни, тут ты не ради награды стараться должен, а ради собственной шкуры. Потому — закроют Тайную канцелярию — и тебе капут... У тебя, чай, столько приятелей, что тебе и часу тогда прожить не придется...

¹ Камуфлет — неожиданная неприятность, подвох, неудача, небольшой взрыв.

Барсуков вполне сознавал справедливость этих слов и теперь предпринимал «охоту на елисаветинцев» действительно ради спасения собственной шкуры. Кроме того, если он и не знал наверняка, то чутьем угадывал, что елисаветинцы притихли только на время, но не оставили своего замысла. Слишком много выгод обещал им новый переворот, чтоб они отказались от давно обдуманного плана.

«Нет, мы еще не совсем пропали,— думал он теперь, стоя у дверей каземата, куда запер Баскакова.— Так ли, этак ли, а мне бояться нечего... На моей улице будет праздник... А ты, дружок,— прошептал он вслух, обращаясь к Баскакову,— ты не будешь больше мешать Головкину... Я имею полное право о тебе забыть. У меня теперь слишком много дела, чтоб помнить о всяком арестанте!» И, завернувшись в меховой плащ и нагнув на глаза шапку, он торопливым шагом направился к выходу из коридора.

В прежнее время в этом внутреннем коридоре всегда стояло на часах трое или четверо солдат. Караулы тогда назначались от разных полков, назначались в очень большом количестве, потому что солдатам приходилось и дневать, и ночевать в стенах канцелярии. Теперь, с воцарением Анны Леопольдовны, эти караулы еще назначались, но вместо сотни солдат при двух-трех офицерах приходило ежедневно только двадцать при одном офицере, который в большинстве случаев проводил время не в особой караулке, а в коридоре, куда выходили двери казематов. Делалось это по особому распоряжению правительницы, и офицеру, назначавшемуся в караул, вменялось в обязанность следить за тем, чтобы заключенных не пытали ни в застенке, ни в казематах. Офицер обыкновенно помещался у выходной двери и здесь, сидя на диване, или дремал, коротая долгие часы дневного дежурства, или читал какую-нибудь книгу, портя глаза, так как масляная лампа, и день и ночь горевшая на столе, давала скудный трепетный свет.

Барсуков дошел уже до двери, взялся было за скобу, но, бросив быстрый взгляд на молодое, цветущее лицо дежурного офицера, устремившего на него зоркий испытующий взгляд, остановился.

— Скучаете? — спросил он.

Преображенский офицер повел плечами и сквозь зубы отозвался:

— Что ж поделать? Служба!.. Вот, Бог даст, уничтожат это чистилище — тогда не будем здесь скучать...

Лицо преображенца показалось Барсукову слишком юным, даже простоватым, и ему захотелось поразведать о настроении преображенцев. Ему казалось, что такого юнца легко обойти, легко вызвать на откровенность, легко заставить разговориться.

— А вы убеждены,— спросил он,— что Тайная канцелярия будет уничтожена?

— Конечно,— отозвался преображенец, опять пожимая плечами,— говорят, это — неперменное желание правительницы.

Барсуков махнул рукой:

— Ну, знаете, вы это напрасно... Не всякому слуху верь! Уничтожение Тайной канцелярии, в особенности теперь, не только невозможно, но даже и опасно...

— Это почему?

— По очень простой, но серьезной причине...— и, произнеся эти слова, сыщик так и впился глазами в лицо собеседника, чтобы поймать впечатление, какое должны были вызвать его слова,— в Петербурге не все спокойно. Переворот, совершенный правительницей, может дать повод к другому перевороту.

Как ни было слабо освещение, но Барсуков заметил, что лицо преображенца покрылось яркой краской. Правда, этот внезапный румянец, вспыхнувший на щеках молодого человека, был простым следствием раздражения, охватившего преображенца, но Барсуков увидел в этом признак смущения и радостно вздрогнул; он был уверен, что напал на след.

— Ну, вы, однако, говорите глупости, милейший! — резко отозвался офицер.— Прежде всего, о новом перевороте никто не помышляет, так как все довольны свержением Бирона, а главное — если бы, паче чаяния, и существовал заговор, то не Тайной канцелярии его предупредить...

Барсуков снова радостно вздрогнул. Юный офицерик — как ему казалось — сам шел в ловушку. В последней фразе слышалась ему не только скрытая угроза, но признание в существовании заговора. И он спросил вслух:

— Отчего же это так, сударь?

— А оттого так, сударь, что Тайная канцелярия прозевала ночной поход графа Миниха. Стало быть, она ни на что не пригодна...

Барсуков позеленел от злобы и вдруг решил поймать своего собеседника врасплох.

— А что, сударь,— спросил он,— среди ваших товарищей много, я чаю, елизаветинцев?

— Как это? — не сразу понял истинный смысл вопроса преобразенец.

— Да приверженцев цесаревны Елизаветы Петровны...

Яркая краска негодования еще гуще проступила на щеках офицера.

— Мы все, сударь, — проговорил он, дрожащим от сдерживаемого раздражения голосом, — любим и уважаем цесаревну Елизавету Петровну как дочь великого государя, как принцессу императорской крови, но мы приносили присягу его императорскому величеству и его августейшей родительнице и своей присяги не позабудем... И еще вам, сударь, скажу, — повысил он голос, — вы не по тому адресу обратились. Коли я вам сделал честь разговором, то вам не след бы забывать, что я здесь не по своей охоте нахожусь, а в карауле, и, как русский дворянин и офицер, в ищейки непригоден... На это нужно иметь особую совесть...

Барсуков выслушал эту отповедь с злобной усмешкой и затем спросил:

— А как, господин офицер, ваша фамилия?

— Это для того, чтобы меня причислить к елизаветинцам?.. Валяйте, сударь, я сего не боюсь... Зовут меня Александром Гавриловым, а фамилия моя Милошев... — И Милошев громко расхохотался.

Барсуков хотел что-то сказать в ответ на этот обидный смех, но предпочел промолчать и торопливо скрылся за дверь.

Когда дверь закрылась, Милошев, все время сдерживавшийся, дал волю своему негодованию.

— Ишь, подлюга! — вслух заговорил он. — На какие подходы идет!.. Так и норовит живьем слопать. Ну, погоди, дружок, не долго тебе блаженствовать!.. И на твое горло найдется хорошая веревка. Не попустит правительница такого беззакония... закроет вашу лавочку!..

Он так был взволнован, что положительно не мог усидеть на месте и, чтобы хоть немного успокоиться, принялся крупным шагом мерить темный сырой коридор, изредка поглядывая на темневшие с обеих сторон, окованные железом и запертые тяжелыми засовами двери.

Вдруг Милошев остановился. Тишину, царившую в коридоре, нарушаемую только звуком его шагов, прорезали чей-то крик и стук. Юноша вздрогнул от неожиданности и прислушался. Стук повторился, на этот раз еще громче, глухим эхом

отдаваясь под сводами коридора. Наконец преображенец понял, что это стучит кто-то из заключенных, разобрал, какую именно дверь молотят кулаки нетерпеливого узника. Он вплотную подошел к двери и громко окликнул:

— Кто стучит? Что надо?!

Голос узника, донесшийся из-за окованной железом двери очень глухо, заставил Милошева вздрогнуть и насторожиться. Он не разобрал слов, но голос показался ему удивительно похожим на голос так разозлившего его недавно сыщика.

— Что за оказия! — изумленно прошептал он. — Ровно наваждение какое... Не может же быть, чтоб это он в каземате был: ведь я видел, как он ушел! — И молодой офицер, еще больше насторожившись, совсем прильнул ухом к холодному железу дверной оковки.

— Вы слышите, что я говорю? — прозвучало из-за двери.

Преображенец на этот раз расслышал слова и еще больше убедился, что голос, раздавшийся за дверью каземата, и голос сыщика совершенно одинаковы. На мгновение в нем поднялось даже неприязненное чувство. Этот голос пробудил в нем ту же гадливость, какая поднялась в нем во время разговора с Барсуковым.

«Должно быть, такой же негодяй, как и эта лиса! — подумалось ему. — Недаром Господь ему такой же голос дал... Ну его в болото! Пусть себе сидит на здоровье!»

Но узник, не слыша ответа, снова забарабанил кулаками. Это обозлило Милошева.

— Какого дьявола вы стучите! — резко крикнул он. — Коли попали сюда, так и сидите. По правилам стучать да дебоширить здесь не полагается.

— А по каким это правилам, — откликнулся арестант, — полагается хватать неповинных людей? Чай, мы ноне не при Бироне живем.

Фраза заинтересовала преображенца; он снова прильнул к двери и крикнул:

— А давно ли вас сюда запрятали?

— Я чаю, вы про то знаете.

Милошев нетерпеливо повел плечами:

— Кабы знал, так не спрашивал.

— Вот те на! — И в голосе арестанта послышалось неподдельное изумление. — При Тайной канцелярии состоит, а что в оной творится, того не знает.

— Потому и не ведаю,— раздраженно отозвался преображенец,— что при канцелярии не состою.

— Так кто же вы такой?

— Караульный офицер...

— От какого полка?

— Преображенского...

— Вот как! — слышалось на этот раз радостное восклицание узника.— Слава Тебе, Содателю... А как, сударь, ваша фамилия?

Милошев на секунду задумался. Сказать или не сказать? Но тотчас же он решил, что сказать можно, что от этого для него ничего дурного не будет, и он после небольшого молчания ответил:

— Могу и фамилию сказать... Поручик Милошев.

Но каково же было его изумление, когда раздалось восклицание узника:

— Милуша! Вот так оказия!

Так Милошева называли только близкие знакомые; и, весь трепеща от любопытства, он воскликнул:

— Да кто ж вы, сударь, такой?!

И преображенец вздрогнул от удивления, почти ужаса, когда раздался ответ арестанта:

— Кто я-то?! Ведомый вам человек! Василий Баскаков.

VII

ДВА ДРУГА

Выйдя из помещения Тайной канцелярии на улицу, Барсуков остановился в раздумье. По-настоящему нужно было бы отправиться теперь к графу Головкину и рассказать ему о неудачном разговоре с его соперником, а также получить дальнейшие инструкции. Но затем он передумал.

«Не к чему мне к его сиятельству ходить,— решил он мысленно, рассеянно поглядывая на суетливо проходивших мимо него прохожих.— Птичка сидит в клетке — и моя забота только ее не выпускать. А графу больше ничего не надо. Да и не о том мне теперь думать нужно, другое дело — куда поважнее есть».

Тут Барсукову вспомнился его разговор с преображенцем, и злая улыбка подняла углы его губ.

«Ишь как напустился! — подумалось ему. — Знаю я, что у всех у вас Тайная канцелярия на глазу бельмом сидит. И Андрея Иваныча, и всех нас вы, дай только волю, в ложке воды утопите. Молокосос, а туда же: „Тайная канцелярия не нужна, переворот прозевала...” Я-то не прозевал; ведал я, что готовится, да Андрей Иваныч маху дал... Ну а ноне мы маху уж не дадим... Тут дело о собственной шкуре идет... Чую я, что елизаветинцы только минутки удобной выжидают... Вот мы теперь за ними и проследим, и изловим... Мое-то обличье им уж ведомо, так у меня на сей случай человек один припасен. И парень дошлый, и никому из елизаветинцев не ведом... Нет, государи мои, не на того напали. Дай срок, будет на моей улице праздник. Все вы в моих лапах будете!»

Мимо проезжал извозчик. Барсуков махнул ему рукой, когда тот остановил свою мохнатую лошаденку, уселся в его сани и приказал везти себя за Неву, на Петербургскую сторону. И всю дорогу, пока обтрепанная чухонская лошаденка мелкой рысцой тащила санки через широкое полотно Невы, а затем пустырями Петербургской стороны, Барсуков не мог оторваться от своих дум, от своих планов и надежд.

Повинуясь энергичному толчку своего седока, извозчик остановил лошаденку у одной из хибарок, глядевших маленькими оконцами прямо в поле. В петровские времена здесь была плотничья слобода, а теперь эти хибарки, заброшенные на конец Петербургской стороны, почти на самую окраину тянувшихся отсюда целой цепью болот, сдавались внаймы и служили жильем столичной бедноте.

Приказав извозчику дожидаться, Барсуков храбро шагнул в сугроб, загораживавший вход в низенькую калитку, провалился почти до колен в снег, толкнул калитку и очутился на маленьком дворе, таком же пустынном, как и вся эта заброшенная окраина. Перешагнув порог, он огляделся, точно соображая, сюда ли он попал, и затем крупным, торопливым шагом направился в сторону крылечка. Но не успел он дойти до него, как дверь, обитая почерневшей, полусгнившей рогожей, отворилась, и в облаке пара, вырвавшегося на морозный воздух, показалась миловидная женская головка, освещенная большими синими глазами, теперь сурово и недружелюбно глядевшими из-под густых, насупленных бровей на гостя.

Но если девушке, глядевшей теперь на ушаковского послуха, была неприятна встреча с ним, то Барсуков, наоборот, совер-

шенно преобразился, встретившись взглядом с этими синими глазами, такими теперь сердитыми. Морщины на его лбу разгладились, глаза засветились неподдельной лаской, а на губах задрожала приветливая улыбка.

— Здравствуйте, Катенька,— проговорил он, быстро взбегая на крылечко и протягивая руку.

Но девушка или не заметила, или не хотела заметить его протянутой руки.

— Кажется, я не родня вам, чтоб вы меня Катенькой называли,— отозвалась девушка зазвеневшим, как перетянутая струна, голосом.— Вы это зачем к нам пожаловали? — продолжала она явно враждебным тоном.

Барсуков весело усмехнулся:

— Коли пожаловал — значит, дело есть.

— Ну, если ко мне — так у нас с вами никаких дел быть не может.

— Вот как! Нечего сказать, приветливо вы, Катерина Яковлевна, гостей встречаете!

На губах девушки появилась пренебрежительная усмешка.

— По гостю и почет,— ответила она.— Иного гостя в красный угол сажаем, иного со двора метлой провожаем.

Как ни обидны были эти слова, как ни ядовит был тон, Барсуков, донельзя вспыльчивый и себялюбивый, не обиделся на свою собеседницу. Веселой улыбкой ответив на это последнее оскорбление, он проговорил:

— Так мы с вами, Катенька, все еще враги?

Хорошенькое личико девушки, побелевшее на морозе, вспыхнуло ярким румянцем гнева.

— Враги! — воскликнула она.— Ничуть. Враждовать можно с тем, кого можно уважать, а вас я только презираю...

— Теперь презираете, а потом... полюбите...

Катя гневно передернула плечами, глаза ее сверкнули такой молнией, что это даже покорило Барсукова. Но тяжелое впечатление от этой сцены продолжалось не более секунды, и снова в его глазах засветилась ласка.

— Ну, не будем говорить об этом,— проговорил он уже более серьезным тоном.— У меня сегодня нет никакой охоты вас злить. Отец дома?

— Дома,— отрывисто и неохотно ответила девушка.

— Трезвый?

— Пока вас не было — не пил.

— Тем лучше... Ну, будет вам злиться!.. Не стойте в такой величавой позе и пропустите меня.

Миновав сенцы, Барсуков, хорошо знакомый с расположением домика, отворил низенькую дверь и очутился в небольшой, но уютной горенке, вся обстановка которой говорила о вопиющей бедности.

— По-старому живут,— прошептал он, окидывая зорким взглядом почерневшие стены, хромой стол да несколько расшатанных табуреток.— Тем лучше... мне это на руку. Яков Миронич! — крикнул он, остановившись против двери в другую комнату.— Где ты запропастился? Вылезай! Встречай гостя!

За дверью в ответ на этот оклик зашмыгали чьи-то ноги, дверь скрипнула на заржавленных петлях, и через порог перешагнул грузный пожилой мужчина, одутловатое бритое лицо которого и воспаленные слезившиеся глаза ясно говорили, что трезвость не стоит на почетном месте его жизненного формуляра.

Яков Миронич Пospelов — как прозывался хозяин этой хибарки — когда-то знал лучшие дни. Отец его был камер-лакеем¹ Петра Великого, готовил и сына к продолжению своей придворной должности, и одно время Яков Пospelов состоял в штате придворных служителей императрицы Екатерины I. Так бы, может быть, и кончилась его жизнь в звании гоф-фурьера², к которому уже подбирался его родитель,— но, на беду, в Петербург приехала труппа комедиантов Ягана Буски, «презентованного — как он называл себя в афишах — в Цесарии, Пруссии, Франции, Польше и других княжествах». Труппа эта давала свои представления в балагане, нарочно выстроенном для этого у Летнего сада, и ежедневно собирала высшее общество столицы. Повадился ходить туда и Яшка Пospelов, сначала из простого любопытства, а затем привлекаемый более серьезными видами. У него вдруг возгорелось желание стать самому комедиантом, и он пошел к Ягану Буске в добровольные ученики. Учеником он оказался очень способным и даже талантливым и уже через три месяца после начала учения не хуже других заправских комедиантов умел делать «всякие удивительные экзерциции³», плясать танец фолидишпан⁴, строить

¹ Камер-лакей — старший лакей при дворе.

² Гоф-фурьер — придворный служитель в чине восьмого класса.

³ Экзерциция — учение, обучение, упражнение.

⁴ Фолидишпан — танец.

уморительные рожи и играть «всяческую роль» в любом балете. Но, сделавшись талантливым комедиантом, Яков Пospelов стал в то же время горчайшим пьяницей. И это последнее низвело его на последнюю ступень нищеты. В качестве комедианта побывал он в царствование Анны Иоанновны даже в придворных мимах, служил в театрах московских вельмож Гагарина и Шереметева, держал даже собственный балаган на Царицыном поле,— но чарочка отовсюду изгоняла его, пьянство сбрасывало его постоянно с вершины благополучия в смрад и грязь вопиющей нужды.

Пока была жива его жена, дочь одного из придворных служителей цесаревны Елизаветы Петровны, периоды упадка и благоденствия чередовались; его худенькая и маленькая законная половина обладала удивительной энергией и не раз заставляла его подняться из грязи и снова пытаться счастья. Но года три тому назад, неосторожно помятая супругом в минуту пьяного гнева, Пospelова отдала Богу душу, оставив двух сирот — слабого и беспомощного мужа и четырнадцатилетнюю девчурку Катю... С той минуты пошло совсем скверно. Лишенный нравственной поддержки, Яков Мироныч не мог уже никуда выбраться с окраины Петербургской стороны и постепенно дряхлел, напиваясь, когда было на что напиться, или в тоске валяясь на кровати и ежеминутно призывая смерть, что служило верным признаком трезвого состояния и души, и тела.

В последнее время он все чаще и чаще валялся на кровати, горько жалуясь на бесполезность своего существования и возложив все хозяйственные заботы на Катю, расцветшую пышным цветком, на который многие кидали жадные, завистливые взоры. Девушка как-то ухитрялась сводить концы с концами, промышляя необходимую на пропитание копейку шитьем. Правда, на водку для отца она не могла заработать, но печь была вытоплена ежедневно, и ежедневно же в определенный час она ставила на стол горшок с горячими щами да латку с кашей или жаренным на сале картофелем. Яков Мироныч удивлялся этому волшебству, благодарно поглядывал на дочь и основательно набивал желудок, неизменно заканчивая трапезу словами:

— Сыт не сыт, голоден не голоден, а умереть нельзя. Вот кабы стаканчик пропустить — совсем бы ладно было. Что на сие, волшебница, скажешь?

Но стаканчик не являлся по волшебству. Не могла или не хотела волшебница-дочь доставить отцу это высшее удовольствие, но она отмалчивалась на эти слова, и только изредка улыбка скользила по ее румяным губам.

И сегодня Яков Мироныч был трезв, и сегодня он с утра пребывал в самом мрачном настроении духа, пролеживая бока на засаленной перине, единственном воспоминании о былой роскоши.

Заслышав хорошо знакомый голос Барсукова, старик радостно вздрогнул и не заставил ждать гостя.

— Здравствуй, старый хрен,— приветствовал Барсуков бывшего «придворного мима».

— Мое почтение, сударь!.. Как изволите здравствовать?

— Я-то ничего. А вот как ты попрыгиваешь?

Поспелов печально вздохнул и еще печальнее покачал головой.

— Ох, и не спрашивайте лучше, государь мой! Совсем сквернота настала. Жду не дождусь, когда буду нем и недвижим и послужу пропитанием земным червям...

Барсуков звонко рассмеялся:

— Старая песня! Стало, давно водки не нюхал?

— Почитай, дён двадцать маковой росинки во рту не было.

— Строптивая у тебя дочка... совсем старика отца не жалеет.

Яков Мироныч торопливо покачал головой:

— Как не жалеет? Очень даже жалеет! А только откуда ж ей достать?! Что выработает с трудом превеликим — все на пропитание уходит... Неоткуда ей больше взять.

На лбу Барсукова легла резкая морщина. Ему вспомнилось, как обидно и пренебрежительно отнеслась к нему девушка при встрече.

— Сама виновата,— глухо проговорил он,— не было бы у нее «трудов превеликих», кабы умнее была...

В слезящихся тусклых глазках Поспелова сверкнули лукавые искорки.

— Знаю, сударь,— воскликнул он,— о чем вы говорите. Сколько раз, можно сказать, ей всяческие резоны приводил — ничего с ней поделать невозможно. Строгого нрава девица. Говорит: «Не люб»,— и кончено.

— Может, ей кто иной люб? — немного бледнея от подавленного волнения, спросил Барсуков.

— Ни-ни, ни боже мой! — замахав руками, поспешно возразил старик. — Ни на кого Катюня не глядит, никто ей по сердцу не приходится.

— Да ведь семнадцать лет. Самая пора для невесты.

— Верно изволите, сударь, говорить, да ничего с девкой не поделаешь. Нет в мыслях женихов, не желает невеститься...

Барсуков досадливо повел плечами и покачал головой.

— Погляжу я на тебя, Мироныч, — насмешливо заметил он, — старый ты человек, а глупый. Да кто же из родителей девку спрашивает — есть ли ее желание в невестах быть али нет? Строгость нужна...

Печальная усмешка тронула сухие губы старика, и лицо его приняло виноватое выражение.

— Воля ваша, сударь, а не могу я к ней строгость предъявлять. Кормит она меня, старого; из ее рук я, можно сказать, на свет божий гляжу — не поднимается у меня на нее голос. Вот о вашем деле по душам я с нею поговорил, так и эдак резоны ей представлял, что и молоды вы, и лицом не урод, а даже красотой одарены, и на дороге хорошей... Куды тебе! Так мне напрямик и отрезала: «Коли я вам, батюшка, не надоела, коли вы не хотите, чтоб я в Неву бросилась, никогда вы мне о Барсукове не заикайтесь. Ненавистен он мне. Лучше за нищего да уродливого замуж пойду — только не за него».

— Ишь как она меня аттестовала! — злобно проворчал Барсуков и быстро перебил сам себя: — Ну, не будем об этом и речь вести... Не люб так не люб. И не затем я к тебе пришел, чтоб от твоей павы еще раз поворот получить... Дело у меня к тебе есть.

Старик встряхнулся, насторожился, и тусклые глазки загорелись живым огоньком.

— Дело? — переспросил он. — А какого рода?

— А вот сейчас узнаешь...

VIII

ВОЛК В ЗАПАДНЕ

Барсуков не сразу заговорил о деле. Он несколько мгновений поглядел на старого комедианта зорким испытующим взглядом, точно мысленно соображая, пригоден ли старик для того дела, к которому он его хотел приставить, потом усмехнулся и спросил:

— А что, друг любезный, я чаю, выпить тебе страх как хочется?

Яков Мироныч вздрогнул. Глаза его сузились и замаслились, на губах появилась какая-то блаженная улыбка, а лицо окрасилось багровым румянцем.

— Ах, сударь,— сознался он, зажмуриваясь, как кот, почуявший мышь,— грешно смеяться над бедным человеком... Точно вы не знаете! Понятно, хочется... Такой жажды у меня уж давно не бывало. Легко сказать, сударь, двадцатые сутки чище слез...

— Ладно,— отозвался Барсуков,— тем лучше. Охотнее за работу примешься.

— А какая работа будет?

— Какая будет, такая и будет. Допрежь всего ты вот что мне скажи: ты ведь на дочери Михайлы Нилова был женат?

Старый комедиант, не понимая, к чему клонится этот вопрос, изумленно поглядел на своего собеседника и затем уж ответил:

— Совершенная истина, сударь.

— А теперь ты с тестем видишься?

Мироныч отрицательно покачал головой:

— Давно его не видал. Теперь ведь он на покое и зиму и лето в Покровском проживает. Почитай, года три в Петербурге не бывал.

Барсуков это знал и сам, но ему точно необходимо было услышать подтверждение из уст Мироныча.

— Ну а среди других служителей цесаревны у тебя есть знакомство?

— Есть, как же! Многих знаю. Ведь я напоследях сильно захудал, а пока Марья Михайловна была жива, со многими ведался. Знаю, знаю! И цесаревниного гофлакея¹ Емельяныча знаю, и буфетчика Григория Мушкина, и другого буфетчика...

— И прекрасно,— перебил Барсуков.— Это — на руку. Ну а скажи-ка мне, друг любезный, не сможешь ты через этих своих знакомых к цесаревнинному дворцу пристроиться? Ну, там лакеем, что ли, буфетчиком, истопником, наконец?

Маленькие глазки Якова Мироныча расширились от изумления до того, что стали совсем круглыми.

— Да зачем вам это, сударь?! — тоном неподдельного изумления воскликнул старик.

¹ Гофлакей — придворный лакей.

Барсуков досадливо перевел плечами:

— Коли говорю — стало быть, нужно. Это — не твоего ума дело. Ты только мне на вопрос ответствуй.

Старик опустил голову, помолчал несколько секунд, раздумывая, что может означать это странное предложение, и потом отозвался:

— Устроить-то это можно... Скажу, что с голоду помираю, — цесаревна добрейшей души, даст угол... да только, — прибавил он с виноватым видом, — не выдержу я долго. Отстал я от службы, да притом привычка у меня подлая — сопьюсь.

— А сколько выдержишь? Месяц удержишься?

— Месяц-то выдержу! — опять просветлев, воскликнул старый комедиант. — За большее не поручусь, потому как во мне червяк сидит, а месяц смогу...

— Ну и прекрасно, — одобрил Барсуков. — Так вот, изволь-ка попытать, завтра и отправляйся в цесаревнин дворец. Помни: коли попадешь туда на службу — озолочу. Прямо говорю: ничего не пожалею. Выгонят тебя оттуда — пьянствуй без просыпа, хоть опейся водкой — столько ее у тебя будет, что хоть купайся.

При последних словах гостя лицо Мироныча расплылось в самую восторженную улыбку, но затем улыбка исчезла разом, глаза приняли озабоченное выражение, и он спросил хотя и робким, но совершенно серьезным тоном:

— Так вам очень необходимо, чтобы я на службе во дворце цесаревны Елизаветы Петровны находился?

— Угадал. Очень необходимо.

— Значит, там шпионить придется?

— И это угадал. Следить нужно за всем, что там творится, кто у цесаревны бывает, и обо всем мне каждодневно сообщать...

Поспелов задумался на минуту, медленно потер облысевший лоб ладонью.

— А что, — с расстановкой, точно сам прислушиваясь к своим словам, спросил он, опустив голову и словно боясь смотреть на своего собеседника, — а что оттого ее высочеству может какая неприятность приключиться?

— А тебе какая до того забота?! — резко оборвал его Барсуков. — Ты мне будешь служить, а не ей.

— Жалко мне... добрая она, матушка...

— Ишь какой жалостливый! А что тебе ее доброта-то даст? Как нищему, кусок хлеба бросят. Да и жалеть-то ее нечего. Че-

ресчур дурного ей никто не сделает. Чай, она — не простой человек, а принцесса императорской крови... Да и времена ноне не те. Это при регенте еще можно было опасаться, лютый был, а государыня-правительница по доброте-то с цесаревной поспорит. Впрочем,— прибавил он,— как пожелаешь. Хочешь мне служить — не поскуплюсь, не хочешь — скажи, и другого найду... Но только уж,— продолжал Барсуков с ядовитой усмешкой,— о водке тогда не думай. А чтоб тебе совсем от нее отучиться — я тебе горенку в Тайной канцелярии отведу.

Яков Мироныч побелел как полотно и затрясся всем телом от этой угрозы.

— Что вы, сударь,— воскликнул он, заикаясь от страха,— за что гневаетесь! Нешто я отказываюсь! Да я рад служить вашей милости!..

— То-то же! Так, значит, ты согласен?

— Согласен, согласен.

— И завтра в цесаревнин дворец отправляешься?..

— Все сделаю.

— Ладно. Как туда попадешь — приходи ко мне, но не в канцелярию, а на квартиру. Понял?

— Понял, сударь, понял. Как не понять!

Барсуков встал, надел плащ и двинулся к двери.

— Ну а пока прощай...

На крыльце Барсуков опять столкнулся с Катей, вышедшей на стук двери из кухни.

— Прощайте, Екатерина Яковлевна! — проговорил он.

— Опять будете спаивать отца? — спросила девушка.

— Я спаивать не буду, он сам будет пить.

— Господи! — простонала Катя.— Когда только я вас видеть не буду!..

Барсуков рассмеялся:

— Сильненько вы меня не любите... Впрочем, это для меня утешительно. Есть такая пословица: «Стерпится — слюбится». Вот женюсь я на вас — тогда души не будете чаять! — И, не ожидая ответа девушки, ушаковский клевет крупными шагами спустился с крыльца, пробежал через двор и, усевшись в сани дожидавшегося извозчика, велел ему снова ехать за Неву в город.

Он был донельзя доволен результатами своей поездки. Дело удалось гораздо лучше, чем он рассчитывал. Поместить шпиона при дворце Елизаветы — это значило наверняка выиграть

дело. Как бы ни была осторожна сама цесаревна, как ни были хитры елизаветинцы, но уберечься от домашнего соглядатая им не удастся.

Барсукову нужно было только знать, что творится в стенах этого скромного и пустынного с виду дома на Красном канале, кто там бывает чаще других. Узнай он это — и ему не трудно распутать сложную интригу, которую ведет цесаревна.

Что она ведет эту интригу — в этом Барсуков не сомневался. Недаром любимец Елизаветы Петровны Алексей Разумовский ведет такую тесную дружбу с измайловскими и преображенскими офицерами; недаром сама цесаревна то и дело крестит детей у гвардейских солдат, недаром, наконец, жены этих солдат ежедневно посещают дворец цесаревны и возвращаются оттуда нагруженные всякими подарками. Все это очень просто с виду, но эта-то простота и интригует Барсукова.

«Ладно, старайся, матушка, — думает теперь ловкий сыщик. — Ты обманешь всех, кроме меня... А уж я-то тебя накрою. Нужно мне это — потому и буду я за тобою охотиться... Мне тоже нужно о своей шкуре позаботиться». Но он думает не только о спасении собственной шкуры. Мечты его разрастаются и рисуют ему самые заманчивые картины. Удастся ему раскрыть заговор елизаветинцев, выдать их головой правительнице — и его личная карьера обеспечена. Кто знает, к чему это приведет? Генерал-аншеф Ушаков, заботясь о сохранении Тайной канцелярии, заботится лично о себе. А он, Барсуков, позаботится о себе. Когда у него в руках будут несомненные доказательства замысла цесаревны свергнуть Брауншвейгскую фамилию — он сам найдет дорогу в Зимний дворец. И, понятно, спасенная им правительница сумеет отблагодарить его... Андрей Иванович уж стар; ему пора на покой, и отчего ему, Барсукову, не занять его места? А сделаться начальником Тайной канцелярии — это значит стать на равную ногу со знатнейшими персонами в империи. А тогда и строптивая девушка Катя не уйдет от него. Он сумеет покорить ее если не лаской, то силой...

Грезы так завладели Барсуковым, что он едва заметил, как извозчик, проехав Адмиралтейскую, выбрался на Невскую перспективу и привез его к зданию Тайной канцелярии.

Рассчитавшись с извозчиком, Барсуков прошел в помещение Тайной канцелярии, зорким взглядом посмотрел на стоявших тут на часах двух преображенцев, затем заглянул в комнату дежурного офицера, которая, как и давеча, была пуста, и,

сняв со стены связку ключей, направился в подвальный этаж, где помещались казематы.

Когда он отворил дверь в коридор, Милошев, сидевший у стола, поднял голову и проговорил:

— Вы хорошо сделали, что зашли сюда.

— А что, вы соскучились?

Молодой офицер отрицательно покачал головой:

— Ну, меня вы развлечь не можете... А вот тут одному арестанту, очевидно, необходимо повидаться с вами... Он все кулаки обколотил и охрип даже, требуя свидания или с начальником, или с аудитором¹. А вы ведь, кажется, аудитор?

— А какой это арестант? — спросил Барсуков.

— Этого, батенька, я не знаю. По артикулу я не должен разговаривать с арестантами. Просьбу я его выслушал и вам сообщаю... В какую дверь он колотил — тоже могу показать. С правой стороны, пятая отсюда...

Барсуков поглядел и убедился, что это была дверь каземата, в который он запер Баскакова.

— Надумался, — прошептал он, — ну да теперь поздно. Теперь, голубок, я уж тебя не выпущу. А поговорить с тобой можно...

И, подойдя к пятой справа двери, он отпер тяжелый замок, откинул засов и вошел в камеру, по которой, как зверь в клетке, бегал Василий Григорьевич.

Если бы, входя в этот каземат, Барсуков обернулся, то заметил бы очень странную вещь: караульный офицер встал со своего места и подошел ближе, а вместе с тем, как бы повинувшись заранее отданному приказанию, трое солдат, стоявших в разных местах коридора, скорым шагом направились к своему начальнику. Но этого Барсуков не видел, да если б и увидел, то не придал бы этому слишком серьезного значения.

Перешагнув порог, он спросил Баскакова:

— Вы со мной говорить хотели?

Тот сделал резкий жест рукой:

— Не имел ни малейшего желания!

— Но ведь вы же меня звали! — удивленно продолжал сыщик.

— Это — правда. Звал.

¹ Аудитор — чиновник для военного судопроизводства, письмоводитель и стряпчий или секретарь и прокурор в одном лице.

— Зачем же?..

— Затем, чтобы сказать, что ты — негодяй и мерзавец, затем, чтоб наградить тебя тем, что ты заслужил!

И, прежде чем Барсуков успел догадаться о его намерении, Василий Григорьевич, как разъяренный зверь, бросился на него, ударил его по лицу и затем вцепился ему в горло.

— Караул! — закричал, отбиваясь от насевшего на него Баскакова, сыщик. — Ко мне! На помощь!..

Помощь не заставила себя ждать. Почти в тот же момент дверь распахнулась, и в каземат вбежали Милошев и его преображенцы. На секунду они остановились, пораженные удивительным сходством дерущихся людей, таким сходством, что трудно было решить, кто из них — действительный арестант.

И вдруг, к величайшему ужасу Барсукова, преображенцы оторвали от него Баскакова и вытолкнули его в коридор, а его так сильно толкнули, что он вразяжку грохнулся на пол.

— Что вы делаете?! — заорал он. — Я — аудитор канцелярии... Тот — арестант, а не я!..

— Ладно, толкуй! — слышался ответ преображенцев, выходивших уже из каземата.

Тогда, вне себя от ужаса, с душераздирающим криком Барсуков бросился к двери, намереваясь выскочить в коридор, но один из солдат опять толкнул его, и он снова грохнулся на пол. Затем дверь захлопнули, загремел засов, звякнул ключ в замке, и ушаковский послух понял, что он опростоволосился, что Баскаков выскользнул из его рук.

IX

НОВЫЙ ДРУГ

В то самое время, когда в Тайной канцелярии разыгрывалась эта комедия, придуманная Милошевым, чтобы, пользуясь необычайным сходством арестанта и тюремщика, освободить Василия Григорьевича, княгиня Трубецкая сидела в уютном будуаре¹ цесаревны Елизаветы Петровны, дожидаясь появления цесаревны, уже уведомленной о приезде важной гостьи.

¹ Будуар — дамский кабинет, комната, где светская женщина проводит свой день и принимает близких.

Анна Николаевна, собственно, сама не знала, зачем в действительности она приехала к цесаревне. Рассчитывать на то, что она может помочь ее горю, может избавить ее от отчаяния, Трубецкая, конечно, вовсе не имела возможности. Елизавета не пользовалась никакой властью, особенно теперь не могла повлиять на правительницу, которая все больше и больше отдалялась от нее. Княгиня все это прекрасно понимала и приехала просто в порыве отчаяния, просто затем, чтоб не отнимать у себя последней надежды.

В эти последние сутки Анна Николаевна пережила так много потрясений, что даже изменилась физически. И теперь, в ожидании появления цесаревны, поглядывая на свое лицо, отражавшееся в толстом стекле туалетного зеркала, Трубецкая положительно не узнавала себя. Горе наложило на нее свою страшную печать. Всегда оживленное и цветущее лицо ее поблекло, глаза как бы потухли и были окружены мрачной тенью, полные губы как бы побелели и приняли скорбное, страдальческое очертание.

— Да, горе не красит человека,— прошептала Трубецкая, отворачиваясь от зеркала и подавляя тяжелый вздох, колыхнувший ее высокую грудь.— И кто мог ждать, что горе так быстро, так неожиданно подступит ко мне?!

Шелест платья и легкие шаги, раздавшиеся за дверью, оборвали ее печальные мысли, и, поднявшись навстречу входившей в это время в будуар цесаревне, она в ответ на ласковую, приветливую улыбку, дрожавшую на губах Елизаветы Петровны, попробовала улыбнуться в свою очередь, но эта улыбка гримасой пробежала по ее лицу и тотчас же потухла.

Цесаревна тотчас заметила, что ее гостья расстроена, и в ее добрых глазах загорелись искорки неподдельного участия...

— Вы приехали ко мне, княгиня, с какой-то печалью,— промолвила она, дружески пожимая руку Трубецкой.— Такова моя судьба, что мне приходится видеть грустные лица... И что хуже всего — это то, что я лишена возможности сгонять тень с лица моих друзей...

Как эта фраза и этот задушевный, полный грусти тон не были похожи на то, что пришлось пережить Трубецкой в приемной Зимнего дворца сегодня утром! Эта ласка растопила ей сердце, и, схватив руку цесаревны, Анна Николаевна, вдруг повинаясь какому-то внутреннему порыву, прижалась поцелуем к этой руке и в то же время разразилась слезами. Елизаве-

та Петровна с нежной лаской погладила склоненную к ее коленям голову молодой женщины и промолвила тоном, полным нежной ласки и грусти:

— Плачьте, дитя мое, плачьте!.. Нам, женщинам, и остались только слезы... Они облегчают, если не утишают горе... Было время, и я так же плакала, чувствуя, как сердце разрывается от боли... невыносимой и незабываемой...

— Ах, ваше высочество,— воскликнула Трубецкая,— если бы вы только знали, как я несчастна!..

— Верю, дитя мое, и знаю. От радости так не плачут...

Задумчивый голос цесаревны так и проникал в душу Трубецкой. Она и раньше знала, что Елизавета Петровна добра и отзывчива, но теперь, столкнувшись так близко, выплакивая свое горе на ее коленях, она оценила и поняла ее.

Слезы мало-помалу высохли на ее глазах. Иные мысли, копошившиеся теперь в ее голове, если не рассеяли ее горя, то отодвинули ее печаль на второй план. И когда она подняла голову, ее бледное лицо не было уже искажено, как давеча, страданием.

Цесаревна, увидев, что Анна Николаевна перестала плакать, ласково погладила ее по голове и сказала:

— Ну а теперь, родная, расскажите мне, какое горе так потрясло вас, какое несчастье омрачило вашу юную жизнь. Может быть,— прибавила она с грустной улыбкой,— я и не в силах буду оказать вам помощь, так как я совсем теперь бессильна, но все-таки расскажите. Я прошу это не из любопытства, а потому, что горе, которым поделишься с другом, кажется как-то легче... Вы хотите быть моим другом?

— От всей души! — воскликнула Трубецкая и, обняв цесаревну, звонко ее расцеловала.

Затем все еще дрожащим от подавленного волнения голосом она рассказала историю своей любви к Баскакову, про ненависть Головкина, про исчезновение Василия Григорьевича и про то отчаяние, какое овладело ею. Не умолчала она также и о приеме, какой ей сделала правительница.

— А зачем уж я к вам приехала, ваше высочество,— откровенно закончила свой рассказ Анна Николаевна,— я и сама не знаю. Просто меня потянуло к вам... Я хорошо понимала, что вы не в силах оказать мне какую-нибудь помощь.

Елизавета Петровна сморгнула набежавшие на глаза слезинки.

— Правда, дитя мое, правда... Я теперь бессильна и ничего не могу сделать... Мой голос только может повредить всякому делу. А видит Бог, с какой бы радостью я осушила ваши слезы!..

Она печально поникла головой и замолчала в тяжелом раздумье. Трубецкая не решалась прервать молчание и мягким взором следила за цесаревной, прекрасное лицо которой все больше окутывалось тенью.

— Да, я ничего не могу сделать,— продолжала цесаревна, оторвавшись через минуту от своих грустных дум.— Я бы, пожалуй, съездила к правительнице, но уверена, что из моей просьбы не выйдет никакого толка. Великая княгиня теперь слишком настроена против меня за то, что я не согласилась выйти замуж за принца Вольфенбютельского. Это ее страшно раздосадовало, и она мне даже монастырем пригрозила. Так что, видите, моя просьба ее не тронет...

— Ах, ваше высочество! — пылко воскликнула Трубецкая.— Нешто вам можно просить? Вы должны приказывать!..

Елизавета Петровна грустно усмехнулась:

— Это будучи опальной принцессой?

— Нет, будучи русской императрицей!

— Тс... неразумная! — торопливо остановила свою гостью цесаревна.— О таких вещах громко не разговаривают. Да и это немыслимо... На стороне Брауншвейгской фамилии и русское дворянство, и русское войско... Я — одна,— с хитрой улыбкой поглядывая на Трубецкую, продолжала Елизавета Петровна.

— Неправда, ваше высочество,— понизив голос, но так же пылко заговорила Анна Николаевна.— Русское дворянство не на стороне Зимнего дворца. Там немцы... Минихи, Остерманы, Левенвольды...

— Головкины, Юсуповы, Стрешневы, Головины... Это — тоже все немцы? — перебивая свою собеседницу и печально улыбаясь, добавила цесаревна.

— Да, но это не все русское дворянство. Скажите слово — и вас на руках донесут до императорского трона...

Елизавета Петровна покачала головой:

— Не будем загадывать вперед, дорогая моя... Если судьба захочет — я не стану противиться... Но сама я не хочу создавать свою фортуна. А теперь будет об этом. Поговорим лучше о вас. Я не советую, дитя мое, слишком отчаиваться. Мне сдается, что с вашим возлюбленным ничего очень дурного не случится. Я Александра Головкина знаю; он труслив, как заяц.

Глаза Анны Николаевна загорелись надеждой, на щеках проступил румянец.

— Я боюсь, что его запрятали в Тайной канцелярии,— прошептала молодая женщина.

— И это не слишком скверно. Вы же, чаю, слышали, что Ушакову правительница приказала прекратить пытки... Поговаривают даже, что она совсем хочет уничтожить канцелярию... Так что, если он там,— бояться слишком нечего.

— Но это неведение — хуже смерти! — стоном вырвалось у Трубецкой.

— Что ж делать, дитя мое! Потерпите пока. А там, может, и я вам как-нибудь пособлю. Скажу я своему лейб-медику Герману Генриховичу... У него кой-какие лазейки есть... он нам, что нужно, разведает. А когда узнаем, куда вашего дружка сердечного запрятали, тогда, может, мы его и вызволить сумеем.

— Спасибо вам, ваше высочество! — с чувством проговорила Трубецкая, поднимаясь с места.— Вовек я не забуду вашей доброты и ласки...

Цесаревна проводила свою гостью через все комнаты, еще раз расцеловалась с нею и затем медленным шагом вернулась назад. Голова ее была задумчиво наклонена, на пухлых губах дрожала загадочная улыбка... Эта улыбка говорила о том, что Елизавета Петровна полна какой-то тихой радостной думы. А кто прочел бы эту думу — тот бы узнал, что цесаревна счастлива тем, что купила лаской еще одно сердце, приобрела еще одну союзницу... А дочери Великого Петра так нужны были преданные сердца, лишние союзники!

Вернувшись в будуар, она протянула руку к колокольчику и позвонила. В то же мгновение складки портьеры колыхнулись, раздвинулись, и среди них, как в рамке, появилось широкое скуластое лицо любимицы цесаревны — Мавры Ивановны Шепелевой.

— Изволила звонить, матушка?

— Да, Мавруша. Доктор-то наш дома?

— Должно, дома. Давеча, как у тебя Трубецкая была, выходил из своего логова, спрашивал, с кем ты занята. Кажись, никуда не выходил.

— Так ты пройди к нему, Мавруша, попроси его ко мне пожаловать...

— Слушаю, золотая, слушаю!..

Шепелева помедлила мгновение, бросила испытующий взгляд на свою «золотую принцессу», но ничего не сумела про-

честь на ее лице. Тогда она тихохонько вздохнула и скрылась в складках бархатной портьеры.

Елизавета Петровна продолжала стоять на том же месте, опять погрузившись в раздумье, и опять на ее губах замелькала загадочная улыбка. Она очнулась только тогда, когда пол в смежной комнате скрипнул под чьими-то тяжелыми, грузными шагами и в ее будуаре появилась жирная фигура «господина лейб-медикуса» Лестока. Перевалившись своим жирным телом через порог цесаревнина будуара, Лесток остановился в почтительной позе и вопросительно взглянул на свою августейшую хозяйку.

— Садись, Герман Генрихович,— с улыбкой промолвила цесаревна.— Чай, твой жир и ноги не держат...

Лесток грузно опустился в кресло и спросил:

— Что приказать изволите, ваше высочество?

— Чай, слышал...— обратилась к нему цесаревна,— у меня Трубецкая была.

— Осведомлен о том,— пробасил лейб-медик.

— А была она у меня с большой печалью... завела она себе тут дружка сердечного Баскакова, из Москвы он. Да встал этот Баскаков у графа Александра Головкина поперек горла... Сам он на Трубецкую-то зарится. Ну и убрал молодчика куда-то Головкин, а куда он его убрал — то как-никак разведать нужно.

— А нам до того какая докука?..

Щеки цесаревны покрылись багровыми пятнами. Не любила она, когда ее приближенные задавали такие бессмысленные, праздные вопросы.

— Значит, есть докука,— резко ответила она.— Умный ты человек, Герман Генрихович, а не понимаешь, что мне превеликий расчет Трубецкую одолжить.

Маленькие, заплывшие жиром глаза Лестока хитро сверкнули.

— Понял! — воскликнул он.

— И разведаете?

— Все усилья к тому приложу...

На мгновение воцарилось молчание. Елизавета задумалась; Лесток не осмеливался вызвать ее из раздумья.

— А что в городе слышно? — спросила наконец она.

— Много нового,— оживился Лесток.— За верное передают, что правительница от Миниха совсем отшатнулась, а принц Антон с Остерманом ему яму выкопали... Слышал я стороной, что не пройдет недели, как Миниха от двора удалят.

Елизавета грустно покачала головой.

— Вот она, благодарность! — тихо произнесла она. — Как же правительница могла позабыть, чем она Миниху обязана?

— Уж он слишком часто стал напоминать, чем она ему обязана. А тут, — продолжал рассказывать Лесток, — такая оказия вышла. Отозвался граф неодобрительно о Линаре; дошло это до этого польского щенка — он и стал настраивать Анну против Миниха. А тут еще каша заварилась. С Австрией союз заключили, а Миних супротив этого союза. Так что, по всему видно, несдобровать ему...

— Жаль и его, — опять прошептала цесаревна, — и правительницу, если она отталкивает верного ей слугу.

— Вот бы нам сим воспользоваться, — раздумчиво проговорил Лесток.

— Чем это?

— Ихним недружелюбием, да и приветить фельдмаршала.

— Зачем?

— Если он сумел свергнуть Бирона, то брауншвейгцев свергнет еще легче.

Лицо Елизаветы приняло холодное, ледяное выражение.

— Я в нем не нуждаюсь... — отчеканила она. — Разве он дает короны по желанию? И я если оную пожелаю, то и без него сумею получить... А теперь, мой друг, — мягче прибавила она, — ступай да постарайся разведать, что я просила. Поверь, что мне важнее приветить одну Трубецкую, чем десяток Минихов... Я — русская цесаревна и не нуждаюсь в немецкой помощи...

Лесток поднялся, отвесил глубокий поклон и вышел. А цесаревна, оставшись одна, снова задумалась, и снова на ее губах задрожала загадочная улыбка.

Х

ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ ГРЕЗЫ

Барсуков, так неожиданно попавшийся в ловушку, конечно, пробыл в каземате недолго. Наутро, когда явились сторожа, принесшие заключенным обычную порцию хлеба и кружку воды, его узнали и освободили. Он бесновался, кричал, выходил из себя — все было бесполезно: вернуть Баскакова было невозможно. Правда, Барсуков бросился в казармы Преобра-

женского полка, увидался с Милошевым, даже пригрозил ему, что отдаст его под суд за пособничество побегу государственного арестанта, но Милошев так на него зыкнул, а двое гвардейцев, явившихся на зов офицера, так недружелюбно надвинулись на Барсукова, что он был от души рад, что ушел из полковых казарм целым и невредимым. Попробовал он сунуться в дом княгини Трубецкой, но там гайдуки¹ натравили на него здоровенных дворовых псов. Побывал он в том доме, где помещалась квартира Баскакова, но и тут его ждала неудача. Почти целых три дня продежурил он на морозе, а Баскаков не появился.

Хуже всего было то, что он не мог для розыска Баскакова употребить никаких официальных мер. Захватил он Василия Григорьевича из желания угодить Головкину, даже не сообщив об этом начальнику Тайной канцелярии. Генерал же Ушаков был донельзя самолюбив и кичился своим беспристрастием. По законному поводу он мог арестовать, заточить в каземат и подвергнуть жесточайшей пытке даже принца императорской крови, чем даже в бироновские времена пригрозил принцу Брауншвейгскому, но никогда не согласился бы употребить свою страшную власть по чьей-нибудь дружеской просьбе или из видов корыстолюбия. Естественно, Барсуков не мог ему сообщить о побеге арестанта, о котором Андрей Иванович не имел ни малейшего понятия; тем меньше он мог признаться в том, как он опростоволосился, в какую ловушку он попался. Ушаков считал его слишком умным и сметливым сыщиком, и подрывать к себе доверие своего грозного патрона совсем не входило в расчеты Барсукова.

Несколько дней он ходил как опущенный в воду. Ночь, проведенная им в каземате, положительно не давала ему покоя. Его отчаяние было так сильно, досада на себя так ужасна, что он забыл решительно обо всем, даже о своих недавних блестящих планах и радужных надеждах. Он позабыл даже о поручении, которое дал Якову Миронычу, и, все еще рассчитывая столкнуться с Баскаковым, целые дни проводил на петербургских улицах, жадно вглядываясь в лицо каждого прохожего и проезжего.

Прошла целая неделя, пока, наконец, улеглась острота досады, пока Барсуков пришел в себя. Тогда он понял, что безрас-

¹ Г а й д у к — ратник, служитель у вельможи, для прислуги при езде, запяточник высокого роста.

судно гоняться за призраком, что беды все равно не поправишь, а что гораздо лучше отплатить за эту злую шутку и Милошеву, и Баскакову со временем, когда к тому представится случай. А что этот случай представится — теперь Барсуков не сомневался. Теперь об уничтожении Тайной канцелярии не было уже помину. Мало того, с тех пор, как началось недовольство Минихом при дворе, Ушаков получил от графа Остермана приказание усилить штат сыщиков «на всякий случай».

Наконец Миних пал. Это было на другой день после подписания в окончательной форме договорного союза с Австрией, коим российская корона обязалась помогать Марии-Терезии войском и деньгами в случае необходимости. Миних протестовал против этого неразумного договора, Миних горячо оспаривал и принца Антона, и графа Остермана, отстаивавших этот союз, но правительница уже охладела к человеку, избавившему ее от бироновской тирании, она уже тяготилась благодарностью к нему — и мнение Миниха было отвергнуто. Самолюбивый фельдмаршал понял, что его роль кончена, и решил сразу поставить все на карту: или он должен был получить былую власть, или ему не нужно было никакой власти. Он послал правительнице просьбу о дозволении ему «пребыть на покое».

Правительница в первое мгновение и слышать не хотела об его отставке. С этим извещением и был отправлен к фельдмаршалу графу Левенвольде. Но Миниху этого было мало. Он заявил, что только тогда возьмет свое прошение об отставке назад, когда ему будет возвращена вся его прежняя власть, когда он будет первым министром не только по названию, но и в действительности. Но первая минута прошла. Анна Леопольдовна раздумалась и под влиянием убеждений Линара, что можно смело обойтись теперь и без Миниха, не захотела пойти на уступки, каких требовал фельдмаршал. В то же время и Остерман, и принц Антон, ненавидевший Миниха до глубины души, не дремали, и через день Сенату и тайному кабинету был дан указ, коим правительница «с глубоким сожалением» соглашалась на просьбу первого министра и генерал-фельдмаршала графа Миниха уволить его от занимаемых им должностей.

На другой день после этого знаменательного события Барсуков, зайдя в Тайную канцелярию, застал там генерал-аншефа Ушакова.

— Где ты пропадаешь? — набросился тот на него, шевеля, как кот в минуты раздражения, своими длинными седыми усами.

В первое мгновение Барсуков оробел, но затем, не замечая в своем грозном начальнике обычных признаков гнева — багровых пятен на лбу и на носу, оправился.

— Я, ваше превосходительство,— сказал он,— по делам службы отсутствовал...

— По каким еще, к дьяволу, делам службы?!

— По ведомому вам делу... насчет цесаревны...

— Ну ладно,— буркнул Ушаков.— Узнал что-нибудь?

— Надеюсь вскорости все доподлинно доложить вашему превосходительству...

— И это не вредно. А теперь слушай, Барсучок: тебе пофортунило — изволь завтра во дворец отправиться.

— В какой дворец?

— В Зимний, дьявол! — заревел Ушаков, не терпевший, чтоб его перебивали.— Какой еще другой дворец в Петербурге есть? Ступай туда, в покои генералиссимуса, и вели о себе принцу доложить... Понял?

Барсуков молча кивнул.

Андрей Иванович прищурился, взял со стола круглую золотую табакерку, отправил в нос изрядную щепотку табаку, обтер руку прямо о камзол, весь усеянный табачными пятнами, и затем продолжал:

— Спрашивал у меня его императорское высочество надежного человека — так я ему тебя аттестовал. Коли сумеешь — большим человеком будешь.

— По гроб жизни обязан, ваше превосходительство,— промолвил Барсуков, не чувствуя от радости под собою ног.

— Нечего благодарить! — отозвался Ушаков.— И без благодарности обойдусь... Так не забудь,— прибавил он, вставая и медленной тяжелой походкой проходя к дверям,— завтра отправляйся. Да помни: не выставляйся, не бахвальствуй. Этим там не возьмешь...

Ушаков ушел, а Барсуков долго еще стоял на месте, не веря самому себе, не зная, сон ли это или действительность.

И на следующее утро, подходя к Зимнему дворцу, с затаенной радостью поглядывая на ряды бесконечных окон, горевших теперь под лучами солнца, Барсуков все еще не верил, что все это происходило не во сне. Он уверился только тогда, что он здесь действительно нужен, что родитель младенца-императора желал его видеть,— когда вышел адъютант принца и провел его в кабинет супруга правительницы.

Барсуков давно уже не видел так близко принца Брауншвейгского и невольно изумился происшедшей с ним за последние дни перемене. Принц, правда, не вырос, он так же был сухощав, как и прежде, но в его лице не было и тени былой робости, а его глаза, в бироновские времена, казалось, не смевшие отрываться от полу, сверкали теперь огнем решимости. Одетый в малиновый бархатный халат, в меховых туфлях на босу ногу, принц бегал по громадному кабинету и в этой высокой комнате, среди массивного письменного стола, сплошь заваленного кипами бумаг, среди громоздких кресел, казался таким мизерным и маленьким.

Когда Барсуков вошел в комнату в сопровождении адъютанта, принц остановился, поглядел на него несколько мгновений и ломаным русским языком, немилосердно перевирая слова, спросил:

— Ты и есть Барсуков? Это о тебе мне докладывал генерал Ушаков?

— Так точно, ваше императорское высочество,— низко кланяясь, ответил Барсуков.

— Очень хорошо... И ты давно служишь?

— Четвертый год.

Принц кивнул головою, запахнул полы халата и опять принялся бегать из угла в угол кабинета, обдумывая, как удобнее приступить к разговору с этим шпионом, которого он предполагал употребить для очень важного и секретного дела.

Дело в том, что хотя принц Антон Ульрих Брауншвейгский и обладал горделивым взглядом, а в глазах его сверкал иногда огонек решимости,— но он удивительно был робок и труслив. Он трусил перед Бироном, когда тот был кабинет-министром и приближенным покойной императрицы, трусил, когда тот сделался регентом Российского государства, а он, принц, стал отцом императора, трусил перед своей супругой, трусил перед Линаром и, наконец, до глубины души боялся Миниха. Фельд-маршала он боялся особенно сильно теперь, когда так удачно низверг его с помощью Остермана, и боялся так, что всю сегодняшнюю ночь провел положительно без сна. Он был уверен, что Миних не простит своего унижения, что старый волк покажет еще зубы, что человек, так удачно в одну ночь совершивший переворот в пользу его жены, может, если только прозевать, так же удачно совершить переворот хотя бы в пользу Елизаветы Петровны. Значит, зевать было нельзя. Необходимо

было следить за каждым шагом фельдмаршала и арестовать его при малейшем подозрении. Для этой роли он и хотел употребить Барсукова. Но как же ему объяснить, что от него требуется?

«А, черт! Не спросил я Ушакова, говорит ли этот гусь по-немецки,— пронеслось в мыслях принца.— По-русски это ужасно трудно объяснить...»

Принц еще несколько мгновений побегал по кабинету, то и дело обкусывая ногти, еще бросил несколько взглядов на неподвижно стоявшего Барсукова, затем круто повернулся, остановился перед ним и торопливо спросил:

— Скажите, сударь, а по-немецки вы понимаете?

— Не только понимаю, но и говорю, ваше высочество,— онять почтительно склоняя голову, отозвался Барсуков.

Лицо принца просветлело.

— О, да вы совсем золотой человек! — весело воскликнул он уже по-немецки.— Теперь-то мы с вами споемся... Скажите, вы не прочь мне служить?

— Сочту за величайшее счастье положить жизнь за ваше высочество...

— Вот и прекрасно, и прекрасно. Я очень рад, что с вами познакомился. Я вижу, что вы — ловкий, смелый малый, а мне такой и нужен. Внакладе не будете, сударь,— прибавил он с той же веселой улыбкой.

Затем он подбежал к одной двери, заглянул за нее и запер на ключ, потом то же проделал с другой дверью и, вплотную подойдя к Барсукову, заговорил, понизив голос:

— Я хочу вам поручить одного человека... Вы знаете, конечно, что я удалил графа Миниха. Нет спора,— продолжал он, не дожидаясь ответа со стороны Барсукова,— мы были ему обязаны, но нельзя же было брать и меня, и жену, и моего сына-императора в вечное рабство... Понятно, нам пришлось указать ему настоящее место. Не для того же, в самом деле, мы избавились от Бирона, чтобы иметь нового Бирона в лице господина Миниха... Впрочем,— заметив, что совсем некстати разоткровенничался, спохватился принц,— впрочем, вам это малоинтересно. Дело в том, что я Миниху не доверяю... Если он изменил регенту — то так же легко может изменить нам... Понимаете?

— Понимаю, ваше высочество,— отозвался Барсуков, сердце которого замирало от радостного волнения.— Вам угодно поручить мне следить за фельдмаршалом?

— Вот именно! Вот именно! Не только следить, но быть его тенью, его постоянным спутником. Я всего опасюсь с его стороны, поэтому я хочу знать, что он будет делать, как он будет жить. Куда бы он ни поехал, кто бы его ни посетил — вы должны мне доносить обо всем, положительно обо всем. Пуще всего,— продолжал принц, еще более понизив голос,— пуще всего следите, чтобы он не вздумал отправиться во дворец цесаревны... Ей я тоже не доверяю... Если бы не жена — я давно отправил бы ее в монастырь...

Барсуков набрался храбрости и решил, вопреки правилам этикета, вставить одно замечание, которым на будущее время он мог держать в руках словоохотливого родителя императора:

— Вы не ошибаетесь, ваше высочество, относясь к цесаревне с недоверием. Это — очень опасный враг, с которым, может быть, придется вступить в борьбу в очень недалеком будущем...

Принц Брауншвейгский побледнел, нервным движением запахнул полы халата и воскликнул:

— Правда, правда! Я это сколько раз говорил ее высочеству, но она почему-то уверена в ней... Но это не может помешать нам быть осторожными. Если вы сможете — следите и за цесаревной. Берите себе в помощники кого хотите, но сделайте так, чтобы я мог спать спокойно.

— Я не пощажу жизни.

— Очень хорошо! Я, сударь, физиономист и вам верю... Но помните: прежде всего — Миних. Самое опасное, если он столкнется с цесаревной...

— А если он отправится к ней?

Глаза принца злобно сверкнули; он поднял руку, делая угрожающий жест.

— Тогда его измена будет очевидна,— проговорил он,— и с ним нечего будет стесняться. Я вам даю полномочие: если фельдмаршал поедет в дом цесаревны, арестуйте его моим именем, когда он будет выходить обратно.

— Слушаю, ваше высочество.

Принц замолчал, как бы что-то обдумывая, затем торопливо подошел к секретеру, стоявшему в углу комнаты, выдвинул один из ящиков и, достав оттуда кошелек, сквозь петли которого сверкнули золотые монеты, снова вернулся к Барсукову.

— Вот вам на расходы,— сказал он, опуская в руку сыщика тяжелый кошелек,— тратьте, не стеснясь. Помните, что я вам поручаю безопасность государства, охрану персоны императо-

ра. Теперь ступайте. Если что будет нужно — приходите сюда во всякое время, даже ночью...— И, похлопав Барсукова по плечу, принц отпустил его.

Ушаковский клеврет вышел из Зимнего дворца в состоянии какого-то опьянения. Голова его кружилась, в ушах шумело, в глазах расплывались светлые круги.

Вот оно то, к чему он так жадно стремился, о чем так страстно мечтал. Первый шаг сделан — и какой шаг! Теперь его карьера обеспечена. Теперь он не простой послух, не только аудитор Тайной канцелярии, а человек, которому поручена «охрана персоны императора»!

Охваченный радужными грезами Барсуков торопливо миновал Дворцовую площадь, прошел набережной Мойки и остановился только на углу Невской перспективы.

«Куда идти? — подумал он. — Домой или...» — и, не докончив своей мысли, он круто повернул в сторону Адмиралтейства, решив отправиться за Неву, к старику Поспелову, чтобы, во-первых, узнать, попал ли Яков Мироныч в штат цесаревниной прислуги, а во-вторых, еще раз повидать Катю...

Он бодро зашагал вперед и вдруг вздрогнул, остановившись: прямо на него шел его двойник, его недавний арестант, сыгравший с ним такую злую шутку, — Василий Григорьевич Баскаков.

ХІ

КАРА БОЖЬЯ

В первое мгновение сыщик растерялся. Это было так неожиданно, что он даже испуганно попятился в сторону, и очень может быть, что Баскаков, шедший задумчиво склонив голову, так и прошел бы мимо, не обратив внимания на своего двойника. Но Барсукову вдруг вспомнилась сцена в каземате, вспомнился удар, который нанес ему Василий Григорьевич, — и ему захотелось смутить Баскакова.

Тот уже приближался. Барсуков быстро двинулся вперед и столкнулся почти грудь с грудью с молодым человеком. От неожиданности Василий Григорьевич отшатнулся, хотел было извиниться, думая, что виновата его задумчивость, поднял голову и, встретившись глазами с горевшим неукротимою злобой

взглядом сыщика, узнал его. Но на лице его не отразилось ни малейшего смущения, как ожидал Барсуков. Василий Григорьевич за эти дни виделся с Левашевым и Лихаревым, рассказал о том, как столкнулся с своим двойником, и узнал от них, что такое Барсуков. Узнал он также, что ему пока решительно нечего бояться, что головкинская интрига не повторится, что страшное «слово и дело» упразднено и что его не могут арестовать официальным порядком. В то же самое время ему объяснили, что от Барсукова необходимо избавиться, и хотя ни Лихарев, ни Левашев не сознались своему новому приятелю, что принадлежат к числу елизаветинцев, за которыми баскаковский двойник охотился раньше и будет, конечно, охотиться снова,— но дали понять молодому человеку, что были бы донельзя рады, если бы Барсуков больше не попадался на их дороге. Все эти мысли вихрем пронеслись в голове Баскакова, и он, обдав сыщика холодным взглядом, обратился к нему:

— Вам, сударь, очевидно, мало одной затрещины, которую я имел удовольствие вам нанести... вы, конечно, желаете повторения.

Ядовитый иронический тон, каким была произнесена эта фраза, заставил Барсукова вспыхнуть до ушей. Как бы он дорого дал за то, чтоб иметь былую возможность крикнуть «слово и дело»! О, тогда бы этот молодчик не посмел так издеваться над ним! Он заставил бы его плакать кровавыми слезами... Но схватить его здесь, на Невском, среди бела дня он не мог. Этим он только бы испортил свою так блестяще начавшуюся карьеру. Ушаков не простит ему самовластия и сумеет так аттестовать в глазах принца, что он уже не будет состоять для «охраны персоны императора». Нет, принимать крутые меры было нельзя. Нужно было сначала упрочить свое положение, сделаться в Зимнем дворце необходимым, а тогда он сумеет так сплавить этого дерзкого мальчишку, что тот всю жизнь будет помнить о нем. И, рассуждая так мысленно, он даже пожалел, что толкнул теперь Баскакова.

Однако нужно было что-нибудь ответить. Баскаков смотрел слишком вызывающе.

— Ого, господин,— проговорил он,— как вы разговаривать умеете! Видно, Невская перспектива — не каземат Тайной канцелярии.

Насмешливая улыбка скользнула на губах Василия Григорьевича.

— Вы самолично можете засвидетельствовать, что я и в Тайной канцелярии поступил с вами так же, как могу поступить и здесь, на Невской перспективе! — И, высвободив руку из-под плаща, он сделал довольно понятный жест.

Этот жест и это вторичное напоминание о сцене в каземате опять заставили Барсукова побагроветь. И вдруг у него мелькнула смелая мысль и он проговорил:

— А что, если б я потребовал у вас сатисфакции.

Василий Григорьевич побледнел. Перспектива дуэли со шпионом ему не улыбалась. Но он вспомнил, что Левашев, такой же кровный дворянин, как и он, Баскаков, не постеснялся скрестить с ним саблю, приняв его за Барсукова, вспомнил, что от Барсукова следует избавиться, и ответил тоном, полным презрительной иронии:

— Если у вас хватит храбрости держать в руках оружие — я к вашим услугам.

Злобная радость сверкнула в глазах шпиона. Баскаков шел в ловушку, которую он ему расставил. Понятно, он и не рассчитывал драться с ним; ему это совсем было не нужно. Он просто хотел, требуя дуэли, заманить Василия Григорьевича в пустынное место, напасть на него с тремя или четырьмя из своих сыщиков и снова запереть в каземате Тайной канцелярии, но запереть уже так, чтобы он оттуда вышел только на кладбище.

— Очень рад, сударь,— промолвил он,— что у вас такие благородные взгляды. Где же вы позволите с вами встретиться?

— На Царицыном поле,— сказал Баскаков, вспомнив о своей дуэли с Левашевым.

— Там неудобно. Там слишком много снега — со всего Петербурга снег туда возят: теперь там и не пройдешь. А уж если вы не прочь дать мне сатисфакцию, сударь,— быстро добавил Барсуков, уже сообразив, что ему делать и как удобнее заманить своего двойника в западню,— мы можем встретиться с вами на Петербургской стороне сегодня повечеру.

— Мне все равно,— отозвался Василий Григорьевич, совершенно забыв о том, что сыщик может ему расставить ловушку. Он был уверен, что теперь уж его не захватят врасплох. Он захватит с собой шпагу и пару пистолетов, а с этим оружием он справится с кем угодно.

— А если вы согласны, так потрудитесь, сударь,— подхватил Барсуков,— часу в восьмом пожаловать на Петербургскую слободу... Там есть домик некоего Пospелова; вы постучите в окошко — я тотчас же выйду.

— Ладно,— согласился Василий Григорьевич и торопливо отошел от шпиона, глядевшего ему вслед злым, торжествующим взглядом.

Было около семи часов вечера, когда Барсуков поднялся на крылечко поспеловского домишка и постучал в дверь. Он уже все приготовил для встречи с Баскаковым и был уверен, что тот от него теперь уже не ускользнет. Когда Баскаков постучит, он тотчас же выйдет и предложит ему отправиться на берег Невы, к комиссариатским складам. А там уж будут в это время дожидаться двое сыщиков и трое сторожей Тайной канцелярии. Они бросятся сзади на Василия Григорьевича, свяжут его, и тогда он может окончательно проститься с белым светом. И, постукивая в дверь кулаком, Баскаков злорадно шептал:

— Покажу я тебе, дружок, сатисфакцию... И глупыш же! Другой бы от меня за версту бежал, а он сам в руки дается...

Наконец его стук услышали. Скрипнула дверь, и мелодичный голос дочери Якова Мироныча окликнул:

— Кто там стучит? Батюшка, ты, что ли?

«Ага, отца-то дома нет,— подумал Барсуков,— ну, это мне на руку... поговорю с нею на свободе».

И вслух он сказал:

— Отворите, Катерина Яковлевна, это — я.

— Вас зачем еще принесло?

— Если пришел — значит, нужно.

— Отца дома нет.

— Я его подожду.

— Так ждите на улице... Я не желаю вас пускать.

— А я дверь сломаю — поневоле пустите.

Очевидно, Катя решила, что Барсуков способен исполнить угрозу, и скинула крючок, запиравший дверь.

Настойчивый гость вошел, улыбаясь, запер дверь и, скинув свой плащ в сенцах, проследовал в горницу, слабо освещенную сальной свечкой, горевшей в жестяном шандале. Барсуков оглянулся — Кати не было.

— Нечего сказать,— промолвил он,— хороша хозяйка: гость пришел, а она спряталась.

— Я для вас не хозяйка,— послышался гневный дрожащий голос девушки, убежавшей в соседнюю горницу,— а вы для меня не гость...

— Кто же я таков?

— Хуже врага злого.

— Вот как! — воскликнул Барсуков, но это восклицание, которое он хотел произнести обычным насмешливым тоном, вырвалось таким злобным, что он изумился сам и невольно замолчал.

Однако он молчал недолго. Пройдя несколько раз из угла в угол горницы, он вдруг тряхнул головой, точно решившись на что-то, подошел к косяку двери, за которой спряталась девушка, и окликнул ее:

— Катерина Яковлевна!..

— Что вам нужно? Чего вы ко мне пристаєте?! — слышалось в ответ, и в голосе, каким были сказаны эти слова, ясно прозвучали подавленные слезы.

— Ответьте мне совершенно откровенно на один вопрос.

— На какой еще?

— Очень вы меня не любите?

— Я вас ненавижу. И как будто вы этого не знаете!

Барсуков подавил тяжелый вздох и печально поник головой. С ним сегодня творилось что-то донельзя странное. Эту жестокую фразу он слышал из уст дочери старого комедианта не в первый раз, и никогда еще до сих пор она не производила на него такого ужасного впечатления. Но сегодня она точно перевернула его сердце, которое вдруг заныло, точно в нем открылась рана, сочившаяся кровью. Как бы он был счастлив, если бы девушка ответила ему теплым, ласковым словом, если бы с ее полных, красиво очерченных губ, вместо этой ужасной фразы, сбежало слово любви, если бы эти губы, так и манящие к горячему поцелую, прильнули с этим поцелуем к его губам! Он опять помолчал, опять прислушался к доносившемуся из-за двери дыханию девушки и снова спросил:

— А за что же вы меня так ненавидите?

— А за что же вас можно любить? — вопросом ответила Катя.

— А я вас люблю, Катенька.

— Совершенно напрасно. Я не нуждаюсь в вашей любви...

Барсуков опять печально опустил голову; затем он вдруг точно оторвался от косяка и перешагнул порог комнаты, в которой спряталась от него девушка.

Слабая полоска света, падавшая чрез дверной прорез, позволила ему разглядеть стройную фигурку девушки. Катя сидела на кровати, сжав руки; лицо ее скрадывалось в сумраке, царившем здесь, но ему показалось, что девушка удивительно блед-

на и что в ее больших, как раскаленные угли, сверкающих теперь глазах стоят слезы. Когда он вошел, девушка вздрогнула, но, когда он подошел совсем близко к ней,— она не пошевелилась, только еще ниже опустила голову на трепетно вздымавшуюся грудь.

— Катенька,— заговорил он и сам удивился, как странно, как мягко звучит его голос,— Катенька! Неужели для меня все кончено? Неужели вы никогда не изменитесь ко мне?

Он смотрел на нее во все глаза и не видел, чтоб она покачала головой, не слышал ее ответа.

— Катенька,— снова повторил он,— неужели я вам так противен, что вы никогда не полюбите меня?

Он с жадностью, с замиранием сердца ждал ответа. Он чувствовал, что этот ответ снова заставит зануть от боли его сердце, но молчание девушки было для него еще тяжелее, еще мучительнее. И вдруг он вздрогнул.

— Зачем вам нужна моя любовь? — тихим стоном вырвалось у Кати.— К чему она вам?!

— Но я вас люблю... люблю больше жизни... Ведь вы поработили меня... Ведь за счастье назвать вас женой — я не знаю, чем бы я пожертвовал.

Если бы он мог теперь видеть полные слез глаза молодой девушки, если бы он мог разглядеть ее лицо, искаженное мукой,— он понял бы, что в ее сердце совсем нет к нему ненависти. Но он не смотрел на нее; он стоял как преступник, склонив голову в ожидании смертельного удара.

— Это — правда, что вы говорите? — тихо, едва шевеля пересохшими от волнения губами, спросила девушка.

— Что правда? — не сразу понял он.

— Что вам дорога моя любовь, что вам хотелось бы назвать меня своей женой?

Что-то новое послышалось в тоне Кати, и это заставило радостно встрепенуться сердце Барсукова.

— Господи! — воскликнул он вполне искренне.— Да ведь я об этом только и думаю... Да для меня не нужно большего счастья.

— Хорошо,— прозвучал вдруг сразу окрепший голос девушки.— Я вам верю и постараюсь вас полюбить; я соглашусь быть вашей женой, но только тогда, когда вы дадите мне клятву стать другим человеком...

— Как это другим человеком?

— Бросить свою службу в Тайной канцелярии...— нервным голосом пояснила Катя.— Пока вы будете шпионом, пока вы будете приносить с собою всюду кровь и проклятие — я никогда не полюблю вас. Но я скажу вам правду: я ненавижу не вас, а вашу службу.

Сердце Барсукова захолонуло от счастья; значит, надежда не совсем еще потеряна. Теперь, конечно, он не может дать клятвы, какую требует от него Катя, но со временем... кто знает. Он может и не служить в Тайной канцелярии; теперь дорога для него открыта. Важно то, что любимая им девушка не ненавидит его, что она может полюбить его. И, не помня себя от радости, он хотел упасть на колени к ее ногам... Но в это самое время резкий стук в оконное стекло нарушил тишину. Любовь, полымем охватившая сердце Барсукова, сразу отошла на второй план; он вспомнил, что еще должен отомстить.

— Это — батюшка! — воскликнула Катя, спрыгивая с постели на пол.

— Нет, это пришли за мной,— остановил он ее.— Прощайте, Катя. Спасибо вам, что вы дали мне надежду... Я вас так люблю, что перестану быть шпионом, стану другим человеком...— И, торопливо поцеловав холодную как лед ручку девушки, он бросился в сенцы и, стрелой пробежав двор, выскочил на улицу.

Там его дожидался Баскаков.

— Я к вашим услугам, господин Баскаков,— сказал сыщик, оглянувшись кругом и убедившись, что Василий Григорьевич пришел один.— Пойдемте.

Они молча зашагали вперед, мимо забора, загораживавшего какой-то пустырь. Но не успели они сделать двухсот шагов, как вдруг на белой пелене снега, лежавшего кругом, выросли какие-то две фигуры, спешно направлявшиеся в их сторону.

Барсуков вздрогнул, предчувствуя что-то недоброе. Он вдруг понял, что его перехитрили. Он остановился и спросил:

— Это что же значит?

— А это — мои секунданты,— спокойно ответил Баскаков.— Они могут быть и вашими...

В эту минуту Левашев и Лихарев подошли так близко, что в сероватом сумраке ночи сыщик сразу узнал их.

— А! Так вы мне устроили ловушку! — воскликнул Барсуков, скрежеща зубами от бессильной злобы.

— Ничего подобного,— холодно отозвался Левашев.— Дуэль с секундантами — дуэль по правилам. И вы можете не обижаться на господина Баскакова... Он, правда, хотел идти один, но случайно проговорился, и мы сочли себя обязанными сопровождать его — во-первых, потому, что один он снова рисковал очутиться в каземате Тайной канцелярии, а во-вторых, потому, что у нас с вами, сударь, есть счеты, и мне очень приятно с вами увидеться.

Барсуков, побелев как полотно, оглянулся кругом, как за-
травленный волк, и понял, что ему нет спасения.

— Но это — убийство! — воскликнул он.— У меня даже нет шпаги...

Левашев рассмеялся:

— Если вы шли без оружия на дуэль — значит, вы готовили Баскакову ловушку... Но не беспокойтесь — я вам дам собственную шпагу, чтобы вы умерли честной смертью, хотя вы этого и не заслужили...— И он вытащил из ножен шпагу. Трусливый по природе Барсуков при виде шпаги испуганно вздрогнул.

— Я не буду драться! — закричал он.— Я не умею держать шпагу в руках.

— Это вас не спасет,— тем же ледяным тоном ответил Левашев.— Если вы не хотите умереть от руки господина Баскакова, который шел с вами дуэлировать, так отправитесь на тот свет от моей руки. Но я вас прямо убью... и не сочту это за грех.

— Спасите! — отчаянно закричал Барсуков.— Помогите! Убивают!..— И, продолжая неистово кричать, бросился бежать.

Но Левашев был наготове. Он одним прыжком догнал его, сбил с ног и почти по рукоять всадил свою шпагу в его грудь.

— Ты прав, негодяй,— глухо сказал он при этом,— тебя действительно убили...— И, вытащив шпагу из тела Барсукова, вокруг которого снег почернел от крови, отошел к своим друзьям.

— Зачем вы это сделали?! — вырвалось у Баскакова.

— Затем, мой друг, что это необходимо было сделать. Нам предстоит великое дело, а эта гадина могла помешать довести его благополучно до конца.





Часть третья

I

В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

Прошло несколько месяцев. Промелькнули короткие весенние дни, которые в Петербурге удивительно похожи на осень, пробежало лето, обиловавшее дождями, и снова наступила сырая осенняя пора.

При дворе в течение этого времени произошло мало перемен, если не считать того, что как раньше потерял значение граф Миних, так теперь терял значение Остерман. Хитрый царедворец, переживавший четвертого государя, снова целые дни стонал, сидя в кресле перед камином своего мрачного кабинета, снова глубже надвинул на глаза зеленый зонтик, снова жаловался, что мучительные припадки подагры скоро сведут его в могилу. Это было характерным признаком того, что Остерман потерял веру в звезду правительницы, что правительница охладела к нему.

Впрочем, если к нему охладела правительница, то ее супруг оставался с ним в прежней дружбе. Их связывала общность положения; они оба были забыты Анной Леопольдовной, которая, будучи увлечена Линаром, забыла и о государстве, и о муже, и о своей собственной безопасности. А невзгода была близко. Родовитая знать и все, на кого она могла бы опереться в минуты несчастья, отстранились от нее. В Петербурге было неспокойно. На границе Финляндии стояло шведское войско, грозившее вторгнуться в русские пределы, и хотя война со Швецией и началась счастливо, хотя шведы и были разбиты при Вильманстранде, но за будущее поручиться было нельзя.

Но Анна Леопольдовна об этом не задумывалась. Она была счастлива, видя Линара каждый день, слушая его звучный, красивый голос. Вся жизнь казалась ей каким-то очаровательным сном — и она очнулась от этого сна только тогда, когда Линар объявил ей, что должен на время покинуть Петербург, что ему необходимо съездить в Дрезден, окончательно порвать свои сношения с польским двором и вернуться в Северную столицу свободным и независимым.

Принцесса знала, что он ее не обманывает, что он снова вернется, вернется не потому только, что любит ее, но потому, что в новом отечестве он может занять неимоверно высокое положение, какого никогда не даст ему дрезденский двор, — и, зная все это, Анна Леопольдовна не могла отделаться от мрачного предчувствия, сжимавшего ее сердце. Ей казалось, что теперь все кончено, что светлые дни ее жизни прошли безвозвратно, что они видятся с Линаром в последний раз.

Накануне отъезда графа Линара Анна Леопольдовна проплакала целый день и, когда вечером он явился во дворец, чтобы откланяться, приняла его в капоте, в котором проходила с утра, с головой повязанной платком и по привычке, и от сильнейшей головной боли, которую в конце концов вызвали слезы. Линар пристально поглядел на ее бледное лицо, на воспаленные, окруженные темными кругами глаза и укоризненно покачал головой.

— К чему вы расстраиваете так себя, дорогой друг! — проговорил он. — Можно подумать, что мы расстаемся, чтоб больше не увидеться.

Анна Леопольдовна с трудом подавила подступившее рыдание и отозвалась глухим звуком:

— Если б вы знали, какие мрачные мысли переполняют мою голову, вы поняли бы мое настроение.

Линар взял ее нежную, точно просвечивавшую руку и поднес к своим губам.

— Отгоняйте эти мрачные мысли, ваше высочество... Не терзайте себя! Наша временная разлука все равно необходима. Не пройдет и двух месяцев, как я снова буду здесь.

— Два месяца! Шестьдесят дней!.. — прошептала принцесса, закусывая вздрагивающие губы.

Линар опять укоризненно покачал головой.

— Какой вы еще ребенок, мой друг! — промолвил он мягким, ласкающим голосом. — Эти два месяца гораздо короче того

долгого времени, какое мы провели уже вдали друг от друга. И тогда мы разлучались, не зная, сведет ли нас снова судьба. Теперь же совсем другое дело. Теперь вы располагаете властью, теперь никто не сможет меня вернуть с русской границы...

— Я сама не знаю, что происходит со мной в последние дни,— промолвила Анна Леопольдовна.— Я так была счастлива все это время, что положительно страшусь грядущих минут. Мной овладевают какие-то странные предчувствия. Мне кажется, что все то, что теперь происходит со мною,— все это сон, от которого я неизбежно должна очнуться... Вы знаете, на меня находят странные минуты. Например, вчера я положительно боялась выйти из своей уборной... Мне почудилось,— прибавила она, пугливо озираясь по сторонам,— что я слышу голос герцога Бирона...

Линар, точно на мгновение сам поддавшись ее волнению, внимательно ее выслушал и затем расхохотался.

— Ну, голос почтенного герцога вряд ли может напугать вас!.. Он теперь уж довольно далеко.

Как ни была печально настроена Анна Леопольдовна, но она и сама улыбнулась. Но когда она заговорила снова, улыбка опять сбежала с ее бледных губ, а в глазах отразился испуг.

— Меня, конечно, испугал не голос... меня испугало предчувствие. Мне показалось, что этот голос, голос человека, который по моей вине упал в пропасть с вершины недостижимого могущества, предвещает и мне такой же конец.

Принцесса произнесла эти слова таким зловещим тоном, что даже у ее собеседника по телу прошел озноб.

— Вы больны,— возразил Линар,— и вам необходимо лечиться... Этак вы можете дойти до того, что вам будут слышаться не только голоса, но и являться привидения... что-нибудь вроде белой дамы, путешествующей, как говорят, по залам берлинского дворца, или вроде того двойника, который появился перед покойной государыней... Все эти привидения и двойники, понятно, глупости; я им не верю, не советую верить и вам... И если уж нужно кого остерегаться,— продолжал он серьезным тоном,— так остерегайтесь живых людей.

Анна Леопольдовна вопросительно поглядела на своего фаворита.

— Кого же? — спросила она.— Остермана?

— О нет... Он уже не опасен. Не доверяйте ему — и только. А вот цесаревны Елизаветы следует опасаться.

Анна улыбнулась:

— Вы очень не любите цесаревну, мой друг.

— Я даю вам этот совет только ради вашей же безопасности. Его серьезный тон заставил правительницу насторожиться.

— Вы что-нибудь знаете? — спросила она тревожно.

— Я знаю, что цесаревна спит и видит занять престол своего отца.

Эту фразу Анна Леопольдовна слышала так часто, что и теперь улыбка приподняла уголки ее губ.

— Мой друг, — проговорила она медленно, — это обвинение к цесаревне предъявляют ровно четырнадцать лет. Не подумайте, что я ослеплена или я слишком люблю ее... ни того ни другого. Но я не могу обвинять ее в том, в чем она действительно виновна. Если бы Елизавета хотела царствовать — она могла бы занять престол после смерти своего племянника и не допустить воцарения Анны Иоанновны... За нее тогда было войско. Это раз. Ей было легче свергнуть Бирона, чем мне, — и она этого не сделала. Это два. Нет, я могу обвинять ее в резкости, невоспитанности, дурном характере, но не в преступных замыслах.

Линар сделал обиженное лицо:

— В таком случае не будем говорить об этом... Но все же, ваше высочество, не доверяйте цесаревне...

Он заговорил о другом, и Анна от души была рада забыть политические тревоги. Особенно сегодня ей было не до них.

Только когда они расстались, когда граф Линар уехал из Зимнего дворца, чтобы завтра ранним утром покинуть Петербург, Анна Леопольдовна, оставшись одна в своем будуаре, вспомнила его предупреждение и прошептала:

— Хорошо, я буду остерегаться цесаревны...

Анна Леопольдовна вообще не была подозрительна, но менее всего она подозревала Елизавету. Сама прямодушная и откровенная, она в особенности ценила это прямодушие в других. Сначала, под влиянием увещаний Остермана, она стала очень недружелюбно относиться к Елизавете, но та как-то очень быстро в одном разговоре сумела рассеять опасения правительницы.

Анна не забыла этого разговора. Это было еще весной, когда по настоянию Остермана был вызван в Петербург брат принца Антона и цесаревне предложили выйти за него замуж.

— Скажите, сестрица, — спросила Елизавета, — почему вам так хочется выдать меня замуж?

Этот прямой вопрос — Анна и теперь это помнит — захватил ее врасплох. Она покраснела, смутилась и, не умея совершенно лгать, стала сбивчиво что-то говорить о политических причинах, о желании породниться с Елизаветой.

— Полноте, ваше величество, — своим густым, немного грубоватым контральто перебила Елизавета, — не темните истину. Коли вам трудно признаться, так я за вас скажу. Хотите вы избавиться от меня оттого, что боитесь меня.

Анна Леопольдовна смутилась еще больше, еще гуще покраснела, но затем оправилась и, пожимая плечами, возразила:

— Чего же мне вас бояться?!

— И это я вам скажу. Боитесь вы меня потому, что всероссийский престол, на который судьба возвела вашего сына, по исконному праву принадлежит мне. Вот вы и боитесь, чтоб я смуты не произвела да этим престолом не овладела... Ну-ка, признайтесь, сестрица, правду ли я говорю?

— Положим, правду.

— Так неужели вы думаете, — возвысила голос Елизавета, — что, обвенчав меня с этим поджарым немчиком, братцем вашего супруга, вы меня лишите права на престол? Право-то за мной все-таки останется — и для вас тогда хуже будет. Царствуйте вы и оставьте меня жить спокойно. Ни мужа мне, ни престола не нужно. Коли бы я захотела корону на себя надеть — давно могла бы это сделать. Стоило мне гвардейцам моего отца сказать: «Вы знаете, что я — дочь Петрова, помогите мне Петров трон занять», — и сотни Биронов да Минихов мне бы страшны не были. Да не хочу я этого, ваше высочество. Привыкла я к своей тихой да мирной жизни, и не надобно мне царских тревог. Но только вот вам крест: коли вы надо мною насильничать вздумаете да под венец с кем ни на есть неволить — на все пойду. Тогда лучше из-под венца прямо в монастырь ведите — иначе ни себя я, ни вас не пожалею...

Эта откровенная речь тогда так подействовала на правительницу, что она, заливаясь слезами, бросилась на шею Елизаветы. Эти слова цесаревны приходили ей на память каждый раз, когда ей наговаривали на Елизавету, советовали ей остерегаться ее происков. Вспомнились они ей и сегодня.

— Нет, — прошептала она, — нет... я верю тебе, сестра... Так лгать нельзя...

Фарфоровые часы, изображавшие пляску амуров и стоявшие на верхней доске секретера, звонко пробили двенадцать

раз. Анна потянулась всем своим худощавым, но грациозным телом, подошла к двери, отделявшей спальню от будуара, и крикнула:

— Юлиана, ты еще не ушла?

Дверь скрипнула, и хорошенькое личико баронессы Менгден выглянуло в разрезе портьеры.

— Нет еще, ваше высочество...

— Пора спать, Юлиана,— лениво опускаясь в кресло, проговорила Анна Леопольдовна.

Фрейлина расхохоталась:

— Пора спать, а сама в кресло... Не прикажете ли на руках отнести вас в кроватку...

Правительница улыбнулась в свою очередь:

— Нет, я лягу сама... но немного погодя. Запри дверь и посиди около меня. Я хочу с тобою поговорить...

Юлиана подошла к двери, выходящей в парадные комнаты дворца, повернула ключ в замке, но даже не успела повернуться, как за дверью послышались чьи-то торопливые шаги, и раздался резкий стук, отдавшийся под потолком звонким эхом. Юлиана вздрогнула от неожиданности, а Анна Леопольдовна побледнела; ей вдруг припомнились ее мрачные мысли, и тяжелое предчувствие охватило ее.

— Юлиана! — прошептала она.— Не отворяй... я боюсь...

— Кто там? — спросила Юлиана.

— Ах, да отворите, ради бога! — послышался взволнованный, раздраженный голос принца Антона.— Что это за новости! Скоро мне, кажется, придется заранее докладывать о своем приходе.

Баронесса Менгден вопросительно поглядела на Анну, та облегченно вздохнула и молча кивнула ей. Юлиана отворила дверь, и принц бурей ворвался в будуар жены. Он хотел заговорить, но Анна Леопольдовна перебила его с недовольной гримасой:

— Что вы так стучите, мой друг! Я бог знает что подумала и даже перепугалась...

— И если не будете меня слушаться,— воскликнул принц Антон,— ваши страхи могут оправдаться!..

— Что еще случилось?

— То, что вы должны дать немедленно приказ арестовать цесаревну Елизавету и всех ее клевретов.

Анна Леопольдовна вздрогнула и испуганно поглядела на взволнованное лицо мужа.

— Произошло что-нибудь особенное?

— Особенное, особенное! — раздраженно проговорил он. — Вам все нужно особенное! И это случится, если вы все будете по-прежнему медлить... Вы хотели доказательств... Вот, читайте!.. — И, выхватив из-за пояса сложенный вчетверо лист бумаги, он сунул его в руки правительницы.

— Что это такое? — не сразу поняла Анна.

— Это манифест шведского короля... Тут объясняется, по чьему наущению начата война с нами... Тут прямо сказано, что ее повлекло отстранение от всероссийского престола цесаревны Елизаветы Петровны и принца Гольштейнского... Вам и этого мало? Я не знаю, чего вы еще хотите дожидаться. Очевидно, того, чтобы Елизавета арестовала вас, меня и императора...

Лицо Анны Леопольдовны приняло скучающее выражение. Она зевнула и лениво проговорила:

— Первый час, мой друг, и я смертельно хочу спать.

— И это все? — спросил озадаченный принц.

— Нет, не все. Для вашего успокоения я завтра утром съезжу к цесаревне и поговорю с ней. Если я увижу что-нибудь подозрительное — я приму необходимые меры... А теперь ступайте к себе, ложитесь спать и не трусьте так... Нельзя же быть таким трусом, чтоб бояться даже собственной тени...

Принц Антон вспыхнул до корней волос, круто повернулся и вышел из будуара, ворча что-то сквозь зубы.

II

ДВЕ СОПЕРНИЦЫ

Елизавета Петровна не ожидала, что ей придется принимать такую высокую посетительницу. Цесаревна была рада, что при дворе хоть официально о ней на время забыли, что к ней не пристают больше со сватовством, и сама была в Зимнем дворце в последние дни всего два раза: по приезде из ее подмосковной Покровской вотчины, где она провела лето, затем недавно на куртаге¹.

Зимние и весенние месяцы Елизавета Петровна подумывала о перевороте в свою пользу, мечтала о возможности возло-

¹ Куртаг — выход при дворе, приемный день.

жить на свою голову императорскую корону, но, пробыв лето в Покровском, прожив там целых восемьдесят дней мирной и спокойной жизнью, вдали от придворных тревог и интриг, проводя время среди незатейливой деревенской природы, которая манила ее гораздо больше, чем шум и блеск императорского двора, цесаревна, к удивлению всех своих приближенных, заявила, что больше не думает о престоле. И это заявление она сделала вполне искренне. Ей действительно надоели придворные интриги, и, если бы ее только оставили в покое, она была бы вполне счастлива. Почти не сомневаясь, что переворот может удался, Елизавета в то же самое время страшилась тяготы, которую ей придется возложить на плечи вместе с императорскою порфирой.

Вот и сегодня у нее по этому же поводу вышла горячая схватка с Маврой Ивановной Шепелевой. Не поспалось что-то сегодня Елизавете Петровне. Легла ли она вчера раньше обычного, или просто сон отлетел раньше, чем нужно, но уж в пять часов утра цесаревна открыла глаза, полежала несколько минут, поглядывая на различные предметы, слабо освещенные огоньком лампад, горевших перед образами, но лежать она не любила и, спрыгнув с постели, принялась одеваться. Шепелева спала в соседней комнате и спала очень чутко. Шум в спальне цесаревны разбудил ее, она встала, заглянула осторожно в дверь и ахнула, увидав, что Елизавета Петровна уже на ногах.

— Да ты, никак, проснулась, золотая?! — воскликнула она. Елизавета расхохоталась наивности восклицания.

— Нет, сплю, Мавруша!..

— Да что тебя это, матушка, спозаранку подняло?

— Не послалось что-то...

— Ну, матушка, — заметила совершенно серьезно Мавра Ивановна, издавна убежденная, что «Лизанька как-никак, а царицей будет», — когда государыней станешь — не изволь чуть свет вставать... А то людям спать не дашь.

По лицу цесаревны прошла недовольная гримаса.

— Оставь, Маврушка, эти глупости! — резко проговорила она.

— Какие это глупости?!

— А вот мечтания-то эти несбыточные... Не буду я государыней, да и не хочу ею быть.

Шепелева даже глаза вытаращила от охватившего ее изумления; все ее круглое калмыцкое лицо покрылось багровым

румянцем, и она, забыв, что весь ее костюм состоит из одной рубашки, подскочила к цесаревне.

— Как не будешь?! Как не хочешь?! — крикнула она, чувствуя, что от волнения у нее перехватило горло.

Ее полная фигура в одной рубашке, спустившейся с плеча, была теперь так комична, что Елизавета не выдержала и расхохоталась.

— Так и не хочу! — сказала она, перестав смеяться.

— Матушка! Золотая ты моя! — взмолилась Мавра Ивановна. — Не шути ты так... Не доведешь ты меня этими шутками до добра. Опять будет мне Герман-то наш кровь отводить.

— Да не шучу я, Мавра Ивановна, — на этот раз с непритворной досадой отозвалась цесаревна. — Совершенно всерьез я говорю — не буду я корону носить, не надобна мне она.

— Как не надобна! Да что ты, золотая моя, несурязицу такую несешь. Да как же наша Расея без царицы будет?!

— У России есть царь, и другой царицы ей покамест не нужно.

— Ну какой же это царь, ежели он еще в люльке лежит!

— Это все равно, — твердо проговорила Елизавета Петровна. — Есть царь, хоть и в люльке, и слава богу... А мне соваться не к чему.

Мавра Ивановна помолчала с секунду, затем вдруг взвизгнула и хлопнула себя руками по бедрам.

— Так не бывать этому!.. — воскликнула она таким звонким голосом, что даже цесаревна испуганно вздрогнула.

— Как не бывать? Чему не бывать?

— А вот откажу-то твоему. Так и не бывать! Ишь что удумала... Нет, ваше высочество, нельзя, нельзя этого! Ведь коли предрешено тебе царствовать — так ты и царствуй! — Мавра Ивановна вдруг залилась слезами и выбежала из спальни цесаревны.

Цесаревна усмехнулась, когда Шепелева выбежала за дверь, но усмешка вышла какой-то гримасой. Горячая любовь, так и сквозившая в каждом слове этой непочтительной речи, тронула цесаревну, и она все утро думала об этих словах ее простой, бесхитростной камер-юнгферы¹.

¹ Камер-юнгфера — девица для прислуги при государыне, второй по значению женский придворный чин.

Обыкновенно, когда происходила размолвка по какому-либо поводу между Елизаветой и Маврой Ивановной, Шепелева или исчезала на целый день из дому, или запрятывалась так, что цесаревна не могла ее разыскать. Так, по обычаю, полагалось и сегодня, но каково же было удивление цесаревны, когда в одиннадцать часов утра дверь ее будуара, где она сидела, держа в руках какую-то книгу, но витая мыслями в прошлом, отворилась и показалась голова Мавры Ивановны. Это так обрадовало Елизавету, не умевшую долго сердиться и страшно скупавшую о своем друге, что она бросилась к дверям, боясь, что Шепелева опять исчезнет.

— Маврушка! — воскликнула она. — Бросила дуться!

Мавра Ивановна переступила порог, с таинственным видом притворила дверь и промолвила:

— Матушка, гостья дорогая к тебе пожаловала...

— Какая гостья?

— Какая еще у вашего высочества самая дорогая да любезная есть?.. Вестимо, ее императорское высочество великая княгиня всероссийская, родительница императора августейшая.

— Правительница! — воскликнула Елизавета.

— Она самая. К крыльцу уж подъехала... Петр Иванович встречать побег...

«Зачем она приехала?» — как молния мелькнуло в мозгу цесаревны.

Но она не стала задумываться над разрешением этого вопроса и, наскоро оправив перед зеркалом волосы, быстрыми шагами направилась в приемную залу, в которой уже находилась Анна Леопольдовна.

Отвешивая, согласно этикету, глубокий поклон, цесаревна постаралась уловить выражение лица своей гостьи, чтобы заранее знать, чего ей ожидать от этого визита, чтобы заранее приготовиться к отпору, если это необходимо. И выражение лица Анны Леопольдовны ей не понравилось. Было заметно, что правительница не в духе.

Едва ответив ледяными губами на поцелуй цесаревны, Анна Леопольдовна кинула быстрый взгляд на Шувалова и Шепелеву, стоявших на почтительном расстоянии поодаль, и проговорила, подчеркивая фразу:

— Я приехала поговорить с вами, сестрица...

Елизавета взглянула в свою очередь на своих любимцев, те поняли ее безмолвное приказание и вышли из залы.

— Вы, конечно, не ждали меня увидеть у себя, сестрица? — спросила Анна, когда они остались одни.

— Откровенно признаться, не ждала, — ответила Елизавета. — Но я от души рада, что вы мне оказали эту высокую честь. Ядовитая улыбка тронула губы правительницы.

— Вряд ли вы скажете то же самое, когда узнаете, какие причины заставили меня переступить порог вашего дома.

Цесаревна почуяла что-то враждебное в этой фразе; тон, каким она была сказана, ее обидел. Она вспыхнула, но сдержалась и мягко заметила:

— Каковы бы ни были причины, приведшие вас ко мне, — я рада видеть ваше императорское высочество.

Анна устремила на цесаревну испытующий взор и медленно произнесла:

— Даже если бы я явилась затем, чтобы арестовать вас?

Елизавета вздрогнула, отступила назад; но ее замешательство продолжалось не больше секунды.

— Арестовать?! — холодным тоном, гордо закидывая голову, спросила она. — За что же?

Правительница ожидала иного. Она все утро продумала над этой фразой, мысленно представляла себе, какой эффект произведет она, сказав эти роковые слова, как побледнеет Елизавета и, если она действительно виновна, как упадет к ее ногам, как будет молить о пощаде. И вместо всего этого — гордый вид, ледяной тон. Одно из двух: или цесаревна действительно не помышляет ни о каких происках, либо она — притворщица и интриганка. Вчера Анна Леопольдовна пришла бы, несомненно, к первому заключению, но разговор с Линаром, манифест, поднесенный мужем, — все это расстроило молодую женщину, расшатало ей нервы.

— Так вы думаете, — заговорила она дрожащим от гнева голосом, — что я ничего не знаю, ничего не вижу! Вы под мою корону подкапываетесь, по вашему наущению шведы на Русь идут, идут, чтоб добыть вам корону, и прямо об этом заявляют! Нет, теперь уж вы меня не обманете... Теперь я вижу, что вы — враг мой и моего сына...

Елизавета, порой удивительно робкая и бесхарактерная, иногда удивительно была находчива. Так и в это мгновение она поняла как-то сразу, что эту раздраженную женщину нельзя сломить ни убеждениями, ни слезами обиды, которые уже готовы были брызнуть из глаз цесаревны; что с нею нужна со-

вершенно иная тактика. И, вздрагивая от внутреннего холода, пробежавшего по телу, дочь великого императора еще выше подняла свою голову и еще более гордым тоном сказала:

— Так чего же вы ждете, ваше высочество... Если, по-вашему, все это — так, если я действительно такой ярый враг вам и вашему семейству — то арестуйте меня.

Пришла очередь смутиться Анне Леопольдовне. Она посмотрела на свою соперницу широко раскрытыми от изумления глазами и прошептала:

— И вы не хотите даже оправдываться?!

— В чем? — так же гордо спросила цесаревна. — В тех винах, которые вы на меня возвели?.. Так я их не знаю и мне оправдываться в них смешно. А если я, по-вашему, повинна — поступайте со мной по законам, если они еще существуют на Руси, или без законов, если снова наступило бироновское время.

Анна Леопольдовна положительно растерялась; эта выходка Елизаветы совсем ошеломила ее. Ей показалось, что она так смертельно обидела цесаревну, что та никогда не простит ей этой обиды. Она бессильно опустилась на ближайший стул и, чувствуя, что у нее набегают слезы на глаза, прошептала:

— Ах, сестрица, как злы люди!..

Елизавета Петровна облегченно вздохнула. Она поняла, что на этот раз она победила, и на ее губах даже проскользнула улыбка.

— Не люди злы, ваше высочество, — тоном правоучения проговорила она, — а мы сами чересчур слабы. Неужели вы до сих пор не убедились, что у меня нет желания отнимать корону у вашего сына?

Анна Леопольдовна подняла на нее заплаканное лицо:

— Вы правду говорите, сестрица?

— Ведь я говорила уже вам это...

Лицо правительницы просветлело.

— Я вам верю, верю... Но если бы вы знали, как все восстанавливают меня против вас!.. И мой муж, и граф Остерман... И если бы только я их слушалась, вы бы давно были арестованы...

Елизавета вздрогнула при этих словах и подумала: «Это нужно принять к сведению... Ты так малодушна, и тебя так легко во всем убедить».

В это время Анна Леопольдовна поднялась со стула.

— Куда же вы, ваше высочество? Оставайтесь позавтракать.

— Нет, мой друг, я поеду... Я так взволнована, что мне кусок в горло не пойдет. Но я рада, что мы с вами опять в мире...

Она расцеловалась с цесаревной и направилась к двери. У порога она снова обернулась, чтобы улыбнуться Елизавете, как вдруг поскользнулась и упала на пол. Елизавета поспешила ее поднять.

Когда правительница уехала, цесаревна, стоя у окна и глядя, как сани Анны Леопольдовны отъезжали от подъезда, прошептала:

— Если бы она была так суеверна, как я, она, упав к моим ногам, должна была арестовать меня. Она будет у моих ног — я это предчувствую.

Сзади нее послышались осторожные шаги. Елизавета обернулась и увидела подходившую Шепелеву.

— Уехала гостя-то дорогая? — сказала она.

— Уехала, — улыбаясь, ответила Елизавета.

— Стало, выходит, не забыли тебя, матушка... Опять, что ли, с женихом подъезжала?

— С женихом не с женихом, а для тебя с сюрпризом.

— С каким еще сюрпризом?!

Цесаревна взяла Шепелеву за плечи и, приблизив свое лицо к ней, раздельно проговорила:

— А с таким, что тебе приятен будет. Уговаривала она меня, Маврушка, чтоб я на всероссийский престол вошла, императорскую корону на себя возложила... Ну, я и согласилась.

Мавра Ивановна побагровела, вырвалась от цесаревны и воскликнула:

— Да ты опять шутки шутить!

— Какие шутки! Совсем всерьез говорю... Давеча, как мы с тобой поругались, всерьез отказывалась, а теперь — как уговорила меня государыня правительница, — всерьез согласна на сие действо... — И, сказав это, она расхохоталась веселым смехом.

III

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ

Если бы кто-нибудь через несколько дней после визита правительницы к цесаревне заглянул вечером в бильярдную герберга купца Берлина, что помещался на углу Караванной, тот немало бы изумился бывшему там сборищу. Правда, берлинов-

ский герберг славился своими бильярдами и привлекал в свои гостеприимные стены и гвардейских офицеров, и чиновников всевозможных коллегий, и проживавших в Петербурге в то время в значительном числе иностранцев. Но гвардейцы очень презрительно относились к штафиркам¹, штатские небезосновательно побаивались буйных гвардейцев, а иностранцы держались больше особняком и от тех, и от других. Поэтому здесь и установился такой порядок, сохранявшийся в течение целого ряда лет: заседали в герберге гвардейцы — штафирки и иностранцы уж не заглядывали туда, катали по зеленому сукну шары чинуши или немцы — гвардейцы обходили стороной и направлялись в какое-нибудь другое злачное место. Сегодня же, к удивлению и самого Берлина, толстого рыжевато-го швейцарца, и его трех тонконогих жердеподобных кельнеров, произошло что-то необычайное.

Сначала в бильярдную пришли два гвардейца: один в измайловском, другой в семеновском мундире; потом, через несколько минут, явились два преображенца. Прошло еще несколько времени — и в герберг, отряхиваясь от только что повалившего впервые снега, вошли двое каких-то штатских в меховых плащах, даже не чиновных, так как их треухи² не были обшиты галуном³. Они направились к двери, соединявшей общую залу с бильярдной, откуда неслись взрывы хохота и щелканье шаров, но хозяин предупредил их и, став перед дверью, довольно категорически заявил, что «там в бильярдной играют гвардейские офицеры и он, Берлин, просит милостивых господ не мешать им во избежание неприятностей». На это «милостивые господа» рассмеялись, один буркнул: «Мы знаем», другой довольно невежливо отодвинул хозяина от дверей, и оба храбро переступили порог бильярдной. Берлин схватился за голову, зажал даже уши, «во избежание неприятностей», но, к его вящему изумлению, доносилось щелканье шаров и взрывы веселого смеха.

Когда в герберг вошли еще трое штатских, причем один был лейб-медик цесаревны Елизаветы Лесток, а другой — секретарь французского посла Вальденкур, и когда они все трое направились в бильярдную и их всех троих так же спокойно туда впу-

¹ Штафирка — подкладка под обшлага рукавов.

² Треух — теплая шапка с опускающимися наушниками и задком.

³ Галун — позумент, газ, золотая, серебряная или мишурная тесьма.

стили,— господин Берлин перестал удивляться; затем, когда в бильярдную проходили один за другим новые посетители, среди которых были и военные, и штатские, Берлин уже не смотрел на них, не делал попытки их остановить, а только встречал их низким поклоном.

Часам к девяти вечера входная дверь перестала хлопать, а в бильярдной набилось так много народу, что на бильярдах уже не играли — повернуться было негде. Тогда Берлину пришлось изумиться еще раз. Дверь из бильярдной отворилась, и его кто-то позвал. Он поспешил на зов и на пороге чуть не налетел на грузную фигуру Лестока.

— Ты меня знаешь? — спросил лейб-медик.

— Как же мне не знать вашу милость! — сопровождая свои слова самой любезной улыбкой и глубоким поклоном, отозвался хозяин, в глубине души немного встревоженный этим странным вопросом.

— И знаешь, что я умею платить?

— Помилуйте, ваша милость! Я не знаю гостя в Петербурге щедрее вас!..

— Тем лучше. Таких, как я, здесь двадцать шесть человек. Они все, как и я, умеют пить и платить. С тебя достаточно на сегодня такого числа посетителей?

— Совершенно достаточно.

— Если так — сделай мне одолжение и не пускай больше никого. Можешь ты это сделать?

— О, конечно, могу! Больше сюда не войдет никто.

Лесток повернулся и вошел в бильярдную, а Берлин опрометью бросился к дверям и запер их на ключ. Он не понимал, зачем это нужно, но был уверен, что эти двадцать шесть человек с лихвою вознаградят его за это послушание.

Когда Лесток вернулся в бильярдную, он прямо подошел к секретарю маркиза Шетарди Вальденкуру и спросил шепотом:

— Вы, понятно, все еще удивляетесь, зачем я привел вас в эту компанию?

Вальденкур кивнул:

— И даже очень.

— Будьте терпеливы, и вы все поймете. Я прошу вас прислушиваться ко всему, что здесь будет говориться, и затем сообщать все это маркизу. Я хочу, чтобы маркиз сам убедился, насколько мы сильны. Вы, надеюсь, знаете кой-кого из собравшихся.

Вальденкур окинул быстрым взглядом лица сидевших и стоявших в бильярдной и ответил:

— Некоторых знаю хорошо. Вот это — Воронцов, это — князь Трубецкой, это, кажется, князь Черкасский...

— Вполне верно, — торопливо подхватил Лесток, — а вот эти преображенцы, измайловцы и семеновцы — это офицеры главных в России полков... Общество, как видите, довольно разнообразное; их всего двадцать шесть, но за каждым из них стоит по меньшей мере сотня его друзей, знакомых и подчиненных. А теперь, — закончил Лесток, — слушайте и запоминайте...

Он поспешным шагом отошел от Вальденкура и, выйдя на середину комнаты, заговорил:

— Вы, конечно, господа, догадываетесь, зачем я вас собрал...

— Нет, сударь, — раздался молодой, звонкий голос, принадлежавший рослому преображенскому сержанту, — не только не догадываемся, но, что до меня — то я и удивляюсь.

Лесток улыбнулся.

— Господин Грюндштейн, — проговорил он, обращаясь к остальным, — новичок. Он недавно предложил ее величеству цесаревне помощь свою и своих товарищей, если она пожелает воссесть на прародительский престол... Но ведь такую же помощь, и уже давно, предлагаете, кажется, господа, и вы...

— О да! Слишком давно! — воскликнул Левашев, сидевший на бильярде рядом с Лихаревым и Баскаковым. — Но ее высочество не хочет наших услуг...

— Я именно и просил вас собраться сюда, — продолжал Лесток, — чтоб доказать совершенно обратное...

— Как обратное! — слышалось несколько голосов. — Значит, матушка цесаревна надумалась?!

— Да, — твердо отозвался Лесток. — Ее высочество решила согласиться на ваши общие просьбы...

Лица всех радостно вспыхнули, точно их озарил неведомо откуда упавший солнечный луч.

— Вы не шутите, сударь? — воскликнул Левашев. — Не обнадёживаете нас понапрасну?

— Смею ли я шутить таким важным делом? Я готов передать вам подлинные слова ее высочества. Несколько дней тому назад цесаревна изволила призвать меня к себе и заявила: «Я обдумала и пришла к решению спасти Россию. Не для своего величия и счастья решаюсь я на это, а ради счастья всего русского народа. На этот раз я не отступлю от своего слова,

и, если мои друзья не отказались от меня,— соберите их и скажите им, что я рассчитываю на них, жду от них помощи...» Вот ее собственные слова... Что же мне передать ей от вас?..

Глухой ропот прошел среди этой толпы, слышались отдельные восклицания, но все их покрыл молодой, звонкий голос сержанта Грюндштейна:

— Скажите ей, матушке, что мы отдадим за нее каждую каплю своей крови с безмерной радостью!..

— Верно! Правильно! — подхватили остальные.— Лишь бы она не отказалась от нас, а мы от нее вовеки не откажемся...

— Слышите, сударь,— шепнул Лесток Вальденкуру, опять очутившись рядом с ним.— Эта игра, надеюсь, стоит свеч...

— Энтузиасты! — усмехнулся Вальденкур.

— Не энтузиасты, а сила...

Вальденкур хотел что-то заметить, но Лестока уже около него не было.

— А позвольте, сударь,— спрашивал его в эту минуту измайловский майор Грибков,— позвольте узнать, не ведомо ли вам, долго нам еще эту иноземщину терпеть? Может, вы осведомлены, когда ее высочеству угодно вас будет призвать и совершить сие действие?

Лесток развел руками, не зная, что ответить на этот вопрос, но его выручил Воронцов.

— Кажется,— заговорил он своим мелодичным, звучным голосом,— об этом еще у Германа Генриховича не было случая поговорить с цесаревной, но я о сем с нею говорил, и говорил не далее как сегодня. Ее высочество сие действо в долгий ящик откладывать не намерена... Точно ли так она думает поступить или еще перерешить — утвердительно не скажу, но выразила она такое свое мнение, чтобы быть сему на Крещение. Когда войска на крещенский парад соберутся — она выйдет к ним и попросит их заступы...

Лесток поглядел на Воронцова и даже плечами повел. «Ишь, врет, шельмец, бровью даже не моргнет!» — подумалось ему.

Но он ошибался. Воронцов не врал. Как раз именно сегодняшним утром Елизавета разговорила с ним по этому поводу и высказала намерение произвести переворот во время крещенского парада.

— Так и запишем,— заметил Лихарев.— Хоть и долгонько еще до Крещения, ибо ноне только десятое ноября,— ну да все ж лучше поздно, чем никогда...

— Так, значит,— снова спросил Лесток,— ее высочество может на вас, государи мои, надеяться?

— Может, может! Как на каменную гору! — гулким хором грянули все.

Важный вопрос был порешен, и снова в бильярдной зазвучали смех, шутки, начался шумный говор. Лесток высунулся в дверь и зычно крикнул:

— Вина! Да больше!

Вино тотчас же появилось, захлопали пробки, стаканы зазвенели, сталкиваясь один с другим, голоса сделались оживленнее, и скоро началась настоящая попойка.

— Так и ты наш? — спрашивал своего двоюродного брата Николай Львович Баскаков, снова только что появившийся на горизонте петербургской жизни.

— Наш, наш! — с веселым хохотом ответил за Василия Григорьевича Лихарев.— Если бы ты не пропадал столько времени, так давно бы знал об этом.

Полное лицо Николая Баскакова залило густым румянцем.

— Я не пропадал,— отозвался он,— а был занят делами.

— Амурными, конечно,— поддержал его Левашев, скрадывая под усами насмешливую улыбку.

— Почему же непременно амурными? — вызывающе спросил Николай Львович.

— Потому что ты по преимуществу состоишь на действительной службе в департаменте богини Киприды. Вот я тебя знаю,— продолжал тем же ироническим тоном Левашев,— скоро шесть лет... и за эти шесть лет слышал по меньшей мере о сотне твоих романов. Готов вот и сейчас спорить на что угодно, что ты нам расскажешь сейчас о новом романе...

— А вот и не расскажу! — хитро возразил Николай Баскаков, залпом выпивая свой стакан.

— Однако ты не споришь, что у тебя есть новый роман! — воскликнул Дмитрий Петрович.

Василий Григорьевич изумленно поднял глаза на своего двоюродного брата.

— Как новый роман?! — проговорил он.— А история со вдовушкой, спасенной от злодея-брата? Ведь ты же хотел на ней жениться?

Николай Львович покраснел до ушей, а Левашев и Лихарев звонко рассмеялись.

— Эх, Васенька! — укоризненно заметил Лихарев. — Не смущай ты своего братца воспоминаниями о прошлом. Охота тебе помнить какую-то вдовушку, о которой Николай и думать забыл! Наш Николенька — дон жуан петербургский... У него что ни день, то новый роман, что ни час — то новая вдовушка!

Николай Баскаков стукнул кулаком по столу.

— Ан и врешь! — воскликнул он. — На этот раз у меня совсем серьезная авантюра...

— А давно ли началась?

— С месяц...

— Ну, так через неделю будет другая, и еще серьезнее! — И Лихарев, сказав это, расхохотался; рассмеялся и Левашев; даже на губах Василия Григорьевича скользнула усмешка.

— Смейтесь... смейтесь! — хмуро пробурчал Николай Баскаков, доливая рейнским наполовину опорожненный стакан. — Вам хорошо смеяться, а у меня на сердце, может, кошки скребут.

— Это все из-за авантюры этой?

— Понятно, из-за нее.

— Да кто же твой предмет?

Николай Львович задумался на мгновение и потом, оглянувшись по сторонам и видя, что кругом никто не обращает на них внимания, ответил:

— Я и сам того не знаю.

На лицах его собеседников отразилось неподдельное изумление.

— Как не знаешь?! — первый опомнился Левашев. — Да ведь ты же влюблен?

— Влюблен.

— И не знаешь в кого?!

— Представления не имею...

— Да что она — блондинка... брюнетка... шатенка?

— И этого не знаю.

Молодые люди изумились еще больше. Василий Григорьевич не знал слишком хорошо внутренней жизни своего двоюродного брата, но Лихарев и Левашев привыкли выслушивать иногда из его уст самые невероятные истории, в которых фантазия первенствовала над действительностью. Однако ничего подобного они еще от него не слыхали. И им обоим невольно пришло на ум, что Николай Баскаков просто-напросто смеется над ними, просто-напросто их мистифицирует.

— Ну, это, братец, ты дурака валяешь! — махнув рукой, досадливо отозвался Антон Петрович. — Рассказывает нам Шехеразадину сказку, да и хочет, чтоб мы ему поверили.

— Не хотите верить — не верьте, — промолвил Николай Львович, — а рассказываю вам достоверно, что хоть говорил я с сей дамой, хоть два раза я ее за этот месяц видел — а не ведаю, какова она.

— Да где же ты с нею видался?.. не в потемках же, не в какой-то таинственной пещере?

— Совершенная истина... Не в потемках я ее видел, а при полном свете... И не в пещере, а в Зимнем дворце... Именно во дворце, на маскараде.

— Вот оно что! Стало, твоя богиня была в костюме?

— Совершенно правильно.

— А в каком костюме? — поинтересовался Левашев.

— В костюме «пиковой дамы»...

Эта простая фраза не произвела ни на Левашева, ни на Лихарева никакого впечатления, но Василий Григорьевич, услышав ее, вдруг вздрогнул и почти испуганным взглядом уставился на своего двоюродного брата...

IV

РАЗБИТОЕ СЧАСТЬЕ

Василий Григорьевич провел очень тревожную ночь. Он долго не мог уснуть, вернувшись домой из берлиновского герберга, а когда наконец забылся сном, его преследовал тяжелый кошмар, ему виделась та самая таинственная дама в костюме «пиковой дамы», о которой говорил Николай. Но в то самое время, когда его двоюродный брат и не подозревал, кто скрывается под маскарадным нарядом «пиковой дамы», Василий Григорьевич с ужасом узнавал слишком знакомые черты княгини Трубецкой. Он проснулся, обливаясь холодным потом, и первую его мыслью было то же странное предположение, которое мелькнуло у него, когда Николай сообщил о «пиковой даме», которое преследовало его почти всю ночь.

— Неужели это — правда?! — шептал он, сжимая кулаки и чувствуя, как какая-то жгучая боль пронизывает его сердце. — Неужели Николай не солгал и у него действительно завязался

роман с «пиковой дамой»?! Неужели Анюта разлюбила меня и изменила мне?!

Он недаром отождествлял Анну Николаевну с таинственной «пиковой дамой». Вчера он только вздрогнул, услышав из уст Николая роковую фразу, но не выдал себя; голова его была слишком туманна и от выпитого вина, и от шума, стоявшего в бильярдной герберга. Но сегодня он вспомнил, почему, когда Николай сказал о «пиковой даме», ему пришло в голову имя Трубецкой, вспомнил и почти застонал от боли, сжимавшей его сердце.

До сих пор он еще ни разу не усомнился в любви к нему Анны Николаевны. Между ними было давно уже все условлено, все решено, и не дальше как на другой день после побега из Тайной канцелярии Трубецкая, и смеясь, и плача от радости, сказала:

— Ну, Васенька, чтобы раз навсегда с этим покончить, чтобы окончательно отделаться от головкинских интриг, нам нужно повенчаться. Коли ты не прочь, так мы об этом завтра объявление сделаем, а через месяц и под венец пойдем.

В первую минуту Баскаков чуть не одобрил такую поспешность, но затем пораздумал, и благоразумие взяло верх. Он пришел к убеждению, что теперь дразнить Головкина, пока Головкин в силе, пока дядя Александра Ивановича состоит вице-канцлером, — слишком опасно; что гораздо лучше выждать более благоприятное время. Кстати, тут же Лихарев и Левашев, особенно сильно сдружившиеся с ним после убийства Барсукова, посвятили его в свою тайну, он примкнул к елизаветинцам, сразу уверовал в благополучный исход кампании и решил подождать, пока на престол воссядет Елизавета.

Когда он сказал о своем решении Анне Николаевне, та печально надула губки.

— Я вижу, что ты меня не любишь, Васенька?..

— Из чего ты это видишь? — со смехом спросил Василий Григорьевич.

— Люби ты меня — ты бы не стал дожидаться неведомых времен, а поспешил бы назвать меня своею.

— И накликать бы беду на твою голову. Сегодня бы мы с тобою обвенчались, а завтра Головкин чрез своего дяденьку выдумал бы на меня какую ни на есть вину и отправил бы в Сибирь, а тебя — в монастырь. Нет, Анюта, лучше уж немного повременить...

— А ты меня до той счастливой поры не разлюбишь?..

Баскаков успокоил ее сомнения горячими клятвами и не менее горячими поцелуями. В тех же видах осторожности он не согласился на предложение Трубецкой жить у нее в доме, а поселился вместе с Лихаревым, уступившим ему одну комнату своей маленькой квартиры. Чтобы не возбуждать ничьих подозрений, Василий Григорьевич в то же самое время стал посещать дом на Сергиевской только по вечерам, тщательно наблюдая за тем, чтоб не привлекать нескромных взоров.

На лето Баскаков взял отпуск и уехал в Москву, куда вскоре отправилась и Анна Николаевна. Там, в ее подмосковном имении, примыкавшем межа к меже к Измайлову, они провели целый ряд безумно счастливых дней. Осенью они опять вернулись в приневскую столицу, и Василий Григорьевич по-прежнему стал бывать в доме на Сергиевской тайком.

Однажды он зашел вечером и крайне удивился, когда Анна Николаевна, встретившая его таким же, как и всегда, нежным поцелуем, таким же, как постоянно, ласковым взглядом, вдруг сказала:

— А ты сегодня, Васенька, гость не в пору... Уж не прогневайся, коли я тебя рано прогоню.

— Это с какой радости?! — воскликнул он.

— А с такой, что должна я нынче во дворец отправиться... Ноне там маскарадный бал, и сама правительница мне приглашение прислала. Хоть и с большей радостью я с тобой, мой друг, вечерок просидела бы, а надобно ехать. При дворе на меня и так косятся, что я редко бываю... Как бы чего не заподозрили...

Баскаков тотчас же успокоился и весело ответил:

— Да поезжай, голубка!

— Ну, какое там веселье!.. Ноне ведь не то, что при покойной государыне, — пренебрежительно проговорила Трубецкая. — Прежде хоть и давил всех Бирон, а и на куртагах, и на маскарадах весело точно было. А теперь — тоска, поверишь, смертная...

— А ты в каком наряде будешь?

— А хочешь, покажу?..

И с этими словами — Василий Григорьевич помнит это теперь так ясно, словно это случилось не месяц назад, а только вчера, — Анна Николаевна провела его в уборную и указала на

разложенный там очень оригинальный наряд из белого и синего шелка.

— Это что за костюм? — поинтересовался он, не сразу заметив, что по белому шелку вышиты пиковые очки.

— Пиковой королевы... Карточной пиковой дамы, — пояснила она и затем — он хорошо помнит это — прибавила: — Тебе, кажется, не нравится мой костюм?

— Я не знаю, какова ты в нем будешь... хотя убежден, что как бы ни был плох наряд — на твоей фигуре он будет обольстителен.

Молодая женщина наградила его такими жгучими поцелуями, что они до сих пор горят на его губах. Но как он был счастлив в эту минуту, так безмерно несчастлив теперь.

Это не могло быть простым совпадением. И костюм «пиковой дамы», и встреча с нею именно на маскараде в Зимнем дворце — все это говорило теперь Баскакову, что таинственная незнакомка, смутившая покой его кузена, и княгиня Трубецкая — одно и то же лицо. И, придя к этому решению, он до крови закусил губы, так что с них чуть не сорвался крик отчаяния и негодования.

Василий Григорьевич полежал несколько времени с закрытыми глазами, стараясь утишить биение сердца, ожесточенно стучавшего в груди, затем с трудом оторвал голову от подушки и прислушался. Из смежной комнаты доносились ровное дыхание Лихарева и храп Николая Баскакова, заночевавшего у них. Было еще рано. День только что начинался, и в запотевшие оконные стекла заглядывали слабые лучи утреннего рассвета.

«Хорошо, что Николай ночует здесь, — подумал Василий Григорьевич. — По крайней мере, я рассею все сомнения. Лучшее самая ужасная правда, чем недомолвки... Он должен сказать мне правду».

Молодой человек едва дождался, пока услышал кашель Антона Петровича, известивший его, что тот проснулся. Наскоро одевшись, он вошел в комнату и взглянул на диван, на котором лежал Николай Львович; глаза последнего были уже открыты.

— Проснулся? — спросил он, подходя к дивану.

— Проснулся, братец! — отозвался тот и затем воскликнул: — Погляди-ка, Антоша, на Васятку... Вот что молокосос-то значит: выпил немного лишнего — и бледен, аки смерть. Эх, Ва-

силий Григорьевич, Василий Григорьевич, слабенеж же ты, как я погляжу!

— У меня голова болит,— заметил молодой человек.

— Ну, понятно, болит. Это, братец, плевое дело! Скверно, что ты выходцем с того света выглядишь... Ну-ка, Антоша,— крикнул он Лихареву, одевавшемуся в это время,— дай-ка мне сюда чубучок...

Василий Григорьевич не мог придумать, как ему удобнее и лучше вывести у брата интересующие его подробности встречи с «пиковой дамой». Несколько минут он просидел молча, поглядывая на Николая Львовича, точно страшно интересуясь, как он мастерски выпускает кольца табачного дыма. Наконец он нашел, как ему казалось, удачный способ заставить Николая разговориться. Он вдруг рассмеялся, но смехом, в котором опытный слух мог бы ясно различить фальшивые ноты, и воскликнул:

— А ты знаешь, Николай, твоя вчерашняя сказка про «пиковую даму» навеяла на меня удивительный сон...

Николай Львович выпустил изо рта целый каскад дыма, на секунду совсем окутавший его голову, затем отставил чубук к сторонке и внушительно, даже нахмурив при этом брови, проговорил:

— Прими к сведению, что я никогда никаких сказок не рассказываю. «Пиковая дама», о которой я вчера говорил, действительно существует, и мало того, что существует, но находится под моим особым покровительством, так как я ее люблю...

— Ну, тем хуже для меня! — с комическим вздохом продолжал Василий Григорьевич.— Я, так сказать, сделался твоим соперником...

— Как соперником?! — приподнимаясь на локте, спросил Николай Баскаков.

— Очень просто,— пояснил Василий,— твоя «пиковая дама» всю ночь преследовала меня своей любовью.

— Ну, если во сне — это не в счет.

— Но уверяю тебя, что этот сон был слишком похож на явь. Он до того врезался у меня в память, что я тебе могу в точности описать костюм твоей таинственной красавицы.

— Описывай...

— Костюм,— сдерживая усиливавшееся волнение и впиваясь взглядом в брата, чтобы подметить малейшее изменение его лица, начал Василий Григорьевич,— костюм из белого и сине-

го шелка; по белому шелку вышиты синие пиковые очки; в руках у нее белый жезл с черным пиковым очком сверху...

— Удивительно! — воскликнул Николай Баскаков, вскакивая с дивана и отбрасывая в сторону чубук. — Можно подумать, что ты ее действительно видел...

Это восклицание заставило Василия Григорьевича торопливо отвернуть лицо, чтобы скрыть снова проступившую на нем смертельную бледность. Теперь он не сомневался, что «пиковая дама» была Трубецкой: второго такого костюма не могло быть.

— А что у нее было надето на голове? — как в полусне, слышал он вопрос своего кузена.

Он вспомнил, что рядом с костюмом в уборной Трубецкой видел еще корону и белый длинный парик. И, подавив снова поднявшуюся в груди боль, стараясь как можно тверже произносить слова, он ответил:

— Она была в белом парике и в короне — такой же, какие рисуют на карточных пиковых дамах.

— Верно! Совершенно верно! — воскликнул Николай, и опять это восклицание ударило Василия Григорьевича по нервам, опять прошло жгучей болью по сердцу. А Николай Львович, совершенно не замечая, что творится с Василием, не видя, с каким трудом удалось ему выговорить последние слова, продолжал восклицать: — Нет, это, братец, совсем изумления достойно. Это прямо — чудеса какие-то! Не сон уж это, а самая заправская явь! Этак я, пожалуй, и в самом деле тебя ревновать буду!..

Глаза Василия Григорьевича загорелись злобным огоньком, и он едва сдержался, чтоб не крикнуть: «Очень даже можешь! Потому что таинственная незнакомка — моя возлюбленная, моя невеста!» И эта фраза, может быть, и сорвалась бы с его побелевших губ, если бы в эту минуту не вернулся в комнату Лихарев.

— Что ты так кричишь, Николаша? — спросил он, подходя к братьям.

— Да помилуй! Васятка прямо чудеса рассказывает! Приснилось, понимаешь, ему моя «пиковая дама», да так приснилась, точно он наяву ее видел!..

— А признайся-ка, — рассмеялся Антон Петрович, — ты ведь нам тоже вчера сон рассказывал?

— Да вы с ума все посходили! — обозлился Николай Баскаков. — Очень мне нужно врать, когда на мой век правды хватит.

— И ты не знаешь, кто твоя незнакомка?

— Представления не имею. Полагаю, что знатная персона. Эта фраза опять точно ножом кольнула Василия Григорьевича, сидевшего хмуро понутив голову.

— Но, может быть, — все еще иронически улыбаясь, спросил Лихарев, — все твое знакомство с этой знатной дамой ограничилось только тем, что ты ее видал?

— Как же, держи карман! Похож я на такого слюнтяя, чтоб выпустить птичку, которая сама в тенета¹ лезет? Я не только видал ее, но даже разговаривал и в любви объяснился.

— Это сразу-то?

— Зачем сразу?.. Мы с ней и вторично виделись...

— И опять в маске?!

— Понятно, в маске, ежели это опять на придворном маскараде было... Да и еще она мне свидание назначила... Будет послезавтра маскарад у французского посла, и она там будет.

Каждая фраза как молотом отдавалась в висках Василия Григорьевича. Теперь уж он не сомневался в ужасной истине, а только с отчаянием думал: «Что ж это такое?! К чему же это притворство?! Нешто я насильно навязался, нешто я требовал любви?! Зачем же она так жестоко посмеялась надо мною!..»

— Что это с тобою, Васенька? — обратил внимание на его убитый вид Лихарев.

— Страшно голова болит.

— Так ты бы пошел прогуляться. На свежем воздухе живо пройдет...

Это дало новый толчок спутанным мыслям Баскакова. Да, самое лучшее, если он теперь уйдет из дому. Его все сильнее и сильнее начали раздражать и самодовольное лицо Николая, и его басистый голос. Он сознавал, что Николай тут не виноват, что он — простое орудие судьбы, захотевшей разбить его жизнь. И в то же время он чувствовал, что еще немного, и он выйдет из себя, пойдет на ссору с Николаем, наделает глупостей... «Нет, лучше уйти, — решил он, — меня, конечно, это не освежит, но мне легче будет наедине с собой».

И, тяжело поднявшись с дивана, на котором он сидел все время, он, пошатываясь, как пьяный, вышел в прихожую, надел на себя лисью шубку, нахлобучил шапку и тем же грузным, неверным шагом выбрался на улицу, полную шумной жизни...

¹ Тенета — нить, волокно, жилка.

В ПОРЫВЕ ОТЧАЯНИЯ

Василий Григорьевич долго шел медленным шагом, двигаясь как автомат, не будучи в силах разогнать печальные, тяжелые мысли, целым роем теснившиеся в его отуманенной голове. Он очнулся только тогда, когда дошел до Адмиралтейской площади, теперь затянутой ослепительно-белым ковром за ночь выпавшего снега. Тут он остановился, поглядел рассеянным взором на темный фасад Сената, скользнул глазами по забору, окружавшему здания Адмиралтейств-коллегии, пробежал взглядом по панораме Васильевского острова, открывавшейся отсюда, и снова понурил голову, снова задумался, погружившись в свои безотрадные думы, будучи слишком удручен тяжелым горем, непроглядным мраком окутавшим его сердце.

Да, он не ожидал такого финала своей любви. Ему казалось, что глаза его Анюты, глаза, в которых он читал, как в открытой книге, которые ему казались действительно зеркалом ее чистой, бесхитростной души, не могут лгать. И как жестоко он обманулся! Еще вчера он виделся с нею. Еще вчера они строили планы будущей совместной жизни, еще вчера она говорила ему тихим проникновенным голосом: «Милый! Если бы ты знал, как я тебя безмерно люблю! Как я благословляю судьбу, столкнувшую нас!» И он целовал эти губы, говорившие эти дивные слова, эти голубые глаза, в которых светилось столько любви и ласки. И вот теперь оказывается, что эти глаза так же любовно светились для другого, что эти губы говорили другому такие же нежные слова! Мало того, уже любя другого, назначив ему свидание через несколько дней, Трубецкая вчера уверяла его, Баскакова, в своей любви.

— Фу! Как это гадко! Как это пошло! — криком вырвалось у Василия Григорьевича. Он испуганно оглянулся, боясь, что кто-нибудь подслушал этот мучительный вопль его истерзанной души; но кругом никого не было.

— Что ж теперь делать? — задал он себе вопрос.

На этот вопрос было очень трудно ответить. Что он мог сделать? Ну, он мог, забыв о всяких родственных чувствах, вызвать Николая на дуэль, мог убить его, но что поправит он этим? Ведь тут дело не в измене, а в испорченности. Это уже не любовь, с которой можно было бы бороться, а маскарадная интрига, простая любовная авантюра...

— Но зачем же она обманывала меня?! — опять простонал он. — Не лучше ли, не честнее ли было прямо сказать: я тебя разлюбила, ты мне надоел!..

И опять, как год тому назад, когда он так же стоял вот здесь, на Адмиралтейской площади, печально поглядывая на серое небо, сеявшее дождем, Василий Григорьевич пожалел, что приехал в приневскую столицу. Останься он в Москве, не потяни его сдуру на невские берега — ничего бы подобного не было. Не было бы этих тревог и волнений, которые он пережил за этот год, не было бы теперь этого отчаяния в душе. Правда, в то же время, конечно, не было бы и сладких минут безумного счастья... Но бог с ними, с этими минутами... Мрак, который теперь окутал его жизнь, совершенно сгладил воспоминание о них.

Однако нужно же что-нибудь предпринять, нельзя позволить так нагло смеяться над собою!

И вдруг у него явилось непреодолимое желание вот сейчас отправиться на Сергиевскую, увидаться с княгиней в последний раз, потребовать от нее категорического объяснения ее поведения и бросить ей в глаза позорное обвинение, злорадно заявить, что он решительно все знает и что больше не хочет обманываться...

— В последний раз, — прошептал он, — а дальше?..

Что же действительно делать дальше? Уехать из Петербурга в Москву, снова начать тихую, мирную жизнь? Нет, с тем отчаянием, каким теперь полна его душа, это невозможно. Все равно для него без Анюты нет жизни — значит, не стоит и жить. Ну а думать о том, как покончить с надоевшей жизнью, кажется, нечего; это он сумеет сделать в любое время.

Придя к этому решению, Василий Григорьевич вдруг круто повернулся и зашагал в сторону Сергиевской.

Вот и Сергиевская. Вот и дом Трубецкой. Не доходя нескольких сажен, Баскаков остановился и задумался на секунду. Но почти тотчас же он двинулся вперед, даже ускорив свой и без того крупный шаг.

В доме Анны Николаевны он был уже давно своим человеком, поэтому швейцар, увидев его фигуру чрез стекло подъезда, распахнул дверь и проговорил:

— Пожалуйста, сударь Василий Григорьевич!..

— Дома княгиня? — отрывисто спросил Баскаков.

— Только что изволили выехать.

— Куда?! — вырвалось у гостя.

— Наверняка куда — неведомо... а болтала тут камеристка¹, что к матушке цесаревне собрались...

«Не судьба», — подумал Баскаков и, круто повернувшись, направился назад к двери.

— А вы, сударь, разве не изволите обождать их сиятельство? — удивленно протянул старый слуга. — Княгиня и обратно, почитай, скоро будут.

— Нет, нет! — быстро ответил Василий Григорьевич. — Мне некогда... я потом зайду... — И он торопливо зашагал по мосткам.

Как ни твердо он решился высказать горькую истину прямо в лицо княгине, но теперь он даже был рад, что не застал ее дома. Его вдруг охватило какое-то странное малодушие. Он как-то инстинктивно понял, что будет не в силах сказать Анне Николаевне то, что молотками стучало в его воспаленном мозгу, что огненными буквами сверкало перед его глазами.

«Нет, так лучше, — думал он, шагая вперед все быстрее и быстрее. — Не нужно этой последней встречи... Я напишу ей... прощусь с ней письменно...»

Вдруг, повинувшись какому-то невольному предчувствию, он поднял голову и встретился с холодным, злым взглядом графа Головкина, шедшего прямо на него. Остановившись перед Баскаковым и загородив ему дорогу, граф воскликнул:

— Так меня обманули! Вы еще живы!

Одно мгновение Василию Григорьевичу захотелось отнестись к этой злобе юмористически, ответить графу, что он готов доставить удовольствие ему и покончить с собою на его глазах, — и вдруг, как это бывает зачастую с нервными людьми, его охватила неудержимая злость, и сорвать эту злость ему захотелось именно на Головкине. Он, смотря на графа в упор, проговорил:

— Да, вас обманули... Помощью Божией я избавился от подлой ловушки, в которую меня поймали по вашему приказанию.

— Очень жаль!

— Но я не жалею об этом. Если бы я умер в каземате Тайной канцелярии, я бы не имел возможности сказать вам следующее: «Граф Головкин, вы совершили подлый, бесчестный поступок, недостойный русского дворянина, и я требую у вас удовлетворения».

¹ Камеристка — дворцовая служанка.

Бледное лицо Головкина покрылось багровыми пятнами; он скрипнул зубами и хрипло воскликнул:

— Сударь! Вы забыли, с кем вы говорите!..

Баскаков презрительно рассмеялся.

— Какое мне до того дело! — возразил он. — Будь вы не племянник господина вице-канцлера, а хоть сам вице-канцлер — я и тогда сказал бы то же самое...

— Берегитесь! У меня есть средство заставить вас замолчать! Василий Григорьевич махнул рукой:

— Таким же подлым путем, как и раньше; очень может быть. Но я думаю, что для графа Головкина не пристало якшаться со шпионами Тайной канцелярии. Впрочем, может, я ошибся, может, граф Головкин имеет и сам честь принадлежать к числу послухов?..

Головкин еще больше побагровел. Как он ни был труслив, но не мог же он позволить этому человеку так издеваться над собой.

— Так вам очень хочется познакомиться с острием моей шпаги?! — выкрикнул он.

— Если вы осмелитесь ее обнажить, — сопровождая свои слова презрительным смехом, отозвался Баскаков. — Но я на это мало рассчитываю... Граф Головкин, кажется, принадлежит к той породе людей, которые боятся встречаться с врагом лицом к лицу, а предпочитают нападать на него из-за угла... Но я предупреждаю вас, ваше сиятельство, на всякий случай, что я ныне научен опытом и стал очень осторожен... А кстати, осмелюсь заявить вам, что если вы не дадите мне законной и честной сатисфакции, то в следующую свою встречу с вами я не только назову вас негодяем, но и поступлю с вами так, как дворянину поступать с негодными людьми полагается! — И он сделал рукой такой выразительный жест, что Головкин побелел как полотно.

— Хорошо, сударь! — крикнул он. — Вы получите удовлетворение! Я буду ждать ваших секундантов... — И он торопливо удалился от Баскакова, словно боялся погони.

А Василий Григорьевич, поглядев ему вслед, промолвил:

— Ну, надеюсь, на этот раз он возьмется за шпагу... И я этому от души рад. Для меня это будет удобный случай покончить расчеты с жизнью... Неосторожное движение — и я сумею наткнуться на его шпагу. Это гораздо лучше, чем самому обагрить руки собственной кровью...

Баскаков теперь как-то совершенно успокоился. Отчаяние, конечно, его не оставило, ноющая боль в сердце была по-прежнему мучительна, но он точно примирился с гнетущим состоянием духа. Какой-то прохожий толкнул его.

Василий Григорьевич очнулся от своих дум и медленно зашагал вперед. Но едва он прошел сотню шагов, как его кто-то тронул за рукав.

Баскаков поднял голову и увидел перед собою Милошева. Как всегда веселый, как всегда жизнерадостный, преображенец сиял такой светлой улыбкой, что даже Баскаков улыбнулся.

— Куда это вы, голубчик, путь держите? — осведомился Милошев.

— Голова что-то разболелась; прогуляться вышел...

— Вот и ладно... И я от нечего делать побродить отправился; пойдем вместе! — И он взял Баскакова под руку.

Несколько времени они шли молча. Вдруг Баскаков бросил быстрый взгляд на своего спутника и подумал:

«А ведь это — судьба. Вот мне и секундант для Головкина... Обращаться к Антону — это лишние разговоры будут, а теперь мне эти разговоры не по сердцу».

— Послушайте, Милуша, — вдруг обратился он к преображенцу, — у меня есть к вам просьба...

— А что такое? — оживился тот, удивительно любивший всем угождать и услуживать.

— У меня сегодня был один неприятный разговор, и я хотел бы закончить его хорошим ударом шпаги.

Преображенец еще более оживился. Он уже давно мечтал принять участие в каком-нибудь поединке, и, как назло, это ему ни разу не удалось. Поэтому теперь он страшно обрадовался словам Баскакова.

— Вы хотите дуэлировать?! — воскликнул он.

— Да.

— А с кем?

— С графом Головкиным... Александром Ивановичем! Я хочу проучить его.

— Так, пожалуйста, я очень рад... Но когда прикажете назначить дуэль? — уже входя в роль секунданта, официальным тоном спросил Милошев.

— Когда хотите... Хоть послезавтра...

— Послезавтра, — раздумчиво повторил Милошев. — А на другой день нельзя?

Василий Григорьевич пожал плечами:

— Говорю вам — мне все равно. Только не тяните слишком долго. Но почему вам не хочется послезавтра? Дурной день, что ли... Так я не суеверен и на эти приметы мало внимания обращаю...

— Нет, совсем не то, — густо краснея, отозвался молодой офицер. — На послезавтра маскарад у французского посла... и я обещал одной особе быть всенепременно.

Воспоминание о том, что «пиковая дама» назначила свидание его кузену на маскараде у маркиза де ла Шетарди, молнией прорезало мозг Баскакова.

«А что, — подумалось ему, — если мне окончательно растравить свою рану? Проследить Анну и там же, на маскараде, уличить ее?»

— Хорошо, — быстро сказал он, — пусть дуэль будет после маскарада. А скажите, мой друг, трудно попасть в дом французского посланника?

— А вам бы хотелось быть на этом маскараде?

— Признаюсь, хотелось бы.

— Так это очень легко устроить, — весело отозвался Милошев. — У меня как раз есть два билета. Я вам с превеликим удовольствием уступлю один... Да и костюм у меня лишний есть: капуцинского монаха... Приезжайте ко мне, мы вместе и отправимся.

Баскаков крепко пожал руку молодого офицера:

— Спасибо вам, Милуша. Вы для меня большое одолжение делаете...

Вдруг он вздрогнул, торопливо выдернул свою руку из руки Милошева и испуганным взором уставился на какого-то мужчину, проехавшего мимо в извозничьей тележке. Ему показалось, что в промелькнувшей мимо него фигуре он узнал Барсукова, своего двойника, которого несколько месяцев тому назад так безжалостно убил Левашев. И эта встреча с выходцем с того света показалась ему предвестником чего-то ужасного...

VI

В ДОМЕ ФРАНЦУЗСКОГО ПОСЛА

Роскошный дом маркиза де ла Шетарди сиял бесчисленными огнями. Целые каскады ослепительного света лились сквозь оконные стекла и разгоняли ночной мрак с улицы, по которой бесчисленной вереницей тянулись всевозможные экипажи, то

и дело высаживая у подъезда закутанных в меха представительниц и представителей петербургской знати, приглашенной французским посланником на маскарадный бал.

Маркиз де ла Шетарди, присланный французским двором в Петербург, был снабжен инструкциями во что бы то ни стало загладить неприязненные отношения, которые установились из-за участия французского оружия в поддержке Станислава Лещинского, и способствовать всеми мерами сближению Франции с Россией. Хитрый и умный дипломат, однако, не сумел ничего сделать на этом пути. При жизни покойной императрицы ему в этом всячески мешал Бирон, державший сторону австрийского, а затем саксонского двора; когда Бирон пал, Миних, а затем Остерман явно благоволили больше посланнику королевы Марии-Терезии — маркизу де Ботта и прусскому послу — графу Мардефельдту, и маркиз ясно видел, что ему невозможно бороться с такими соперниками. Тогда маркиз Шетарди решил пойти иной дорогой. Нельзя было добиться выгодной дружбы, следовало посеять не менее выгодный внутренний раздор. Усиление Австрии было невыгодно французской короне — следовало ослабить Австрию, теснимую прусским королем. Но так как Мария-Терезия старалась добиться помощи от России, нужно было занять русское правительство собственными заботами. И, следуя осуществлению этого плана, маркиз настоял на том, чтобы шведы объявили войну русским, а так как он подозревал желание Елизаветы отнять императорскую корону у малолетнего Иоанна Шестого, то он стал поддерживать стремление Елизаветы, войдя в сношение с лейб-медиком цесаревны Лестоком и обещая помощь деньгами... Но он все это делал таким потайным образом, что правительница не догадывалась о двойственной роли, какую очень долго играл французский посол. Когда у нее возникло подозрение — было слишком уже поздно. Однако маркиз заметил, что холодность Анны Леопольдовны принимает оттенок враждебности, и тотчас же изменил курс. Он перестал посещать цесаревну Елизавету, стал чаще появляться в Зимнем дворце и, наконец, надеясь доказать правительнице, что у него нет никаких тайных замыслов, что он не участвует ни в каком заговоре, решил дать блестящий маскарадный бал, на который усерднейше просил пожаловать Анну Леопольдовну и на который не было отправлено приглашение цесаревне Елизавете. Таким обидным для цесаревны способом он хотел успокоить правительницу, хотя

Елизавета Петровна заранее была предуведомлена через Лестока и о цели, для какой дается маскарад, и о том, что ей приглашение не будет послано.

К десяти часам вечера залитые ослепительным светом залы французского посольства переполнились приглашенными. В залах бродили целые толпы турчанок, цветочниц, пастушек под руку с рыцарями, монахами, мифологическими божествами и допетровскими боярами.

Все время, пока продолжался приезд, пока по устланной пушистым ковром, уставленной тропическими растениями и статуями лестнице поднимались гости, сам маркиз стоял на площадке, пожимая руки подходившим к нему и кланяясь проходившим мимо.

Но вот лестница опустела, приезд окончился, а маркиз Шетарди все продолжал стоять на том же месте, но только лицо его, веселое и оживленное минуту назад, теперь подернулось тенью, а взгляд, какой он бросал вниз, в вестибюль, где теперь суежилась целая толпа слуг, становился все тревожнее и тревожнее.

Так прошло несколько минут. Но внизу все было тихо, с улицы не доносилось шума кареты, ожидаемой так жадно маркизом, и его лицо становилось все мрачнее. Он досадливо обдернул пышное жабо, закрывавшее грудь, нетерпеливо оглянулся назад и, заметив в дверях залы своего секретаря, поманил его рукой.

Вальденкур тотчас же подошел к нему.

— Неужели она не приедет! — прерывистым шепотом проговорил маркиз.

Вальденкур окинул его изумленным взглядом:

— Но ведь вы же сами не послали ей приглашения...

— Про кого вы говорите?!

— Про ее высочество принцессу Елизавету.

— Ах, милый друг, — досадливо пожимая плечами, возразил маркиз, — вы удивительно непонятливы! Зачем я буду ждать принцессу Елизавету, если я не приглашал ее?

— Но тогда кого же вы ждете?

— Правительницу, мой милый, правительницу... И она так долго не едет, что я начинаю отчаиваться...

— Могу сказать с уверенностью, — раздался в это время около самого уха взволнованного маркиза густой бас, — что великая княгиня не осчастливит твой маскарад своим присутствием...

Маркиз нервно обернулся и увидел перед собою высокого, грузного астролога, мрачный костюм которого был испещрен какими-то каббалистическими рисунками и знаками, а высокая остроконечная шапка была усеяна серебряными звездами и полумесяцами.

И фигура, и голос показались маркизу очень знакомыми, но он не мог узнать сразу, кто скрывается под этим костюмом волшебника. И, раздосадованный и тем, что он не может открыть инкогнито своего гостя, и тем, что тот так бесцеремонно вмешался в его разговор с Вальденкуром, он резко сказал:

— Кто вы такой, что осмеливаетесь делать такие странные замечания?!

Из-под маски, закрывавшей почти все лицо таинственного астролога, послышался густой, жирный смех.

— Я — тот, кто один может открыть истину. Правительница не придет, потому что не верит твоему раскаянию... Но не огорчайся этим — хуже от этого не будет. Впрочем, если ты вздумаешь заболеть с печали — я сумею тебя вылечить: я не только астролог, но и доктор.

Теперь Шетарди догадался, с кем он разговаривал.

— Лесток! — воскликнул он.

— Тс... — быстро остановил его лейб-медик цесаревны, в то же время пугливо оглядываясь. — Я не хочу, чтоб меня кто-нибудь узнал... Вы потом уделите мне несколько минут для очень серьезного и важного разговора.

— С удовольствием, мой друг, — отозвался маркиз, взгляд которого не мог оторваться от вестибюля. — Но неужели вы думаете, что правительница не явится?

— Безусловно, убежден...

Но Лесток не закончил фразы. Внизу вдруг засуетились, забегали; с улицы донесся грохот кареты.

Мрачное лицо Шетарди снова просияло, на губах опять появилась улыбка. Но она чуть не потухла снова, когда он увидел, что, вместо правительницы, на лестнице показалась маленькая, сухонькая фигурка принца Антона, сзади которого шли его два адъютанта. Однако маркиз и виду не подал, что приезд супруга правительницы его скорее опечалил, чем обрадовал, и поспешил навстречу высокому гостю.

— Здравствуйте, мой дорогой, — скороговоркой заговорил принц, дружески пожимая руку хозяина. — Я немножко запоздал, но в этом виновата жена. Представьте, расхворалась!.. Со-

всем было собралась ехать, но разболелась голова... Она просила меня извиниться...

Маркиз ответил на это самой любезной улыбкой, а в душе его клокотала буря. Он понимал, почему так некстати разболелась голова у правительницы. Было ясно, что она ему не верит и все еще считает в опале. Не сомневался он также и в том, что принц Антон прислан, чтобы узнать, действительно ли отсутствует на балу цесаревна Елизавета.

«Хорошо же,— мысленно погрозил Шетарди, уязвленный всем этим до глубины души,— тем хуже для вас, очаровательная принцесса... Может быть, вы и приобрели бы во мне верного друга, а теперь я подарю свою дружбу другим...»

Начались танцы. Маркиз провел в полонезе какую-то рослую пастушку, особенно стрелявшую в него глазами; затем он удалился в соседнюю комнату, где под сенью пальм был устроен роскошный буфет, предоставив своим гостям полную свободу.

И гости не стали стесняться. Маскарадный костюм, особенно пришедшийся по нраву петербуржцам, позволял самым чопорным людям держаться свободно. Маска обеспечивала инкогнито, и многие дамы, едва улыбавшиеся обычно, теперь не могли сдержать веселого, заразительного смеха, многие кавалеры, не смевшие поднять слишком смелый взгляд на знатных красавиц, теперь нашептывали им такие страстные любезности, что у тех щеки пылали огнем, а сердце то замирало, то начинало стучать с удвоенной силой.

Принц Антон, слыша кругом смех, шепот, видя, как блещут глаза, как улыбаются губы, и сам пожалел, что приехал не в костюме. В генеральском мундире да еще с титулом родителя императора, он не мог замешаться в эту оживленную толпу, не мог нежно пожать руку какой-нибудь красавице, как это делает какой-то капуцин, проходящий мимо него под руку с турчанкой. А между тем он — такой любитель женского общества, такой знаток женской красоты, что по очертанию рта может сказать, красиво или некрасиво лицо, по цвету глаз может определить темперамент... Экая, в самом деле, досада, что он не воспользовался тем, что едет один, и не надел какой-нибудь костюм. Досадно это и потому, что в костюме он мог бы разведать многое для него интересное, узнать, кто из этой толпы — елизаветинец, а кто — приверженец его жены.

Глубокий вздох вырвался из его груди. И — странное дело — в ответ, точно отзвук эха, слышался такой же глубокий вздох.

Принц торопливо повернул голову и увидел, что он не один стоит в нише окна, а что рядом с ним виднеется массивная фигура какого-то алхимика. Принцу это соседство совсем не понравилось, и он грубо обратился к алхимику:

— Это вы сейчас вздохнули?

— Я, ваше высочество, — с глубоким поклоном ответил замаскированный. — Но причины, по которым я вздохнул, совершенно различны причинам, исторгнувшим вздох из вашей груди...

Заговори с ним астролог по-русски, родитель императора не стал бы, конечно, слушать своего соседа, но тот, точно зная отвращение принца к русскому языку, повел речь по-немецки. И это подкупило принца.

— Так вы знаете, сударь, — спросил он, иронически усмехаясь, — мои мысли?

— Плохой был бы я звездочет, если бы не умел отгадывать чужие мысли! Если вашему высочеству угодно, я вам скажу, что заставило вас так вздохнуть.

— А это интересно!

— Вас опечалило, что вы не можете инкогнито замешаться в эту толпу... вам бы очень хотелось полюбезничать с этими красавицами, так ловко скрывшими под маской лета, титулы и лица, а кстати, тоже заняться если не чтением, то выведыванием верноподданнических мыслей.

Принц Антон вздрогнул и испуганно посмотрел на своего загадочного собеседника, проникшего своим острым взором в глубину его души, хотя догадаться, о чем думает супруг правительницы, следя жадным взором за толпой, было совсем не трудно.

— Но вы — колдун! — воскликнул принц.

— Я — астролог, ваше высочество...

Принц замолчал, задумался на секунду, устремив пытливый взор на маску волшебника, и вдруг спросил:

— Вы, может быть, умеете угадывать?

На губах Лестока появилась ироническая улыбка, но кружево его маски спускалось на подбородок, и принц не мог заметить этой улыбки.

— Угадать судьбу коронованных особ, — проговорил медленно лейб-медик цесаревны, — это для меня не составляет труда...

— Так... скажите...— начал принц Антон, запинаясь и останавливаясь на каждом слове,— что ждет...

— Вашу супругу или вашего сына?..

Точно молния сверкнула в серых глазах супруга правительницы, и он торопливо ответил:

— Нет, скажите, какая судьба предстоит мне?

«Ого, приятель,— подумалось Лестоку, который в эту минуту вспомнил кой-какие разговоры, ходившие о совещаниях принца с графом Остерманом,— вона куда ты гнешь...» И ему вдруг мелькнуло желание предсказать принцу его вполне вероятную судьбу, если на престол взойдет Елизавета Петровна. Но искушение так же быстро прошло, как и быстро появилось. Говорить правду было неразумно и опасно. Перепуганный дурным предсказанием принц мог потребовать, на правах августейшей особы, чтоб были сняты маски, и тогда ему, Лестоку, неodobровать. И, мигом сообразив все это, после небольшого молчания, во время которого он точно читал на лице принца Антона его судьбу, он поклонился и проговорил, понизив так голос, что даже его собеседник с трудом ловил слова:

— Если я не ошибаюсь, то вас, ваше высочество, ждет блестящая будущность... Я вижу на вашей голове императорскую корону...

Принца Антона бросило в жар. На его лице отразилось такое неподдельное изумление, смешанное с каким-то непонятным испугом, что проходившие мимо маски заметили это, и кругом начался робкий шепот.

Когда принц опомнился, астролога около него уже не было; его высокая остроконечная шапка виднелась на противоположном конце громадного зала.

В это самое время маркиз Шетарди, которому уже успели шепнуть, что муж правительницы чем-то обеспокоен, поспешно подходил к нему. Принц, заметив его, торопливо бросился ему навстречу.

— Простите, ваше высочество,— начал маркиз,— что я осмелился оставить вас, но распоряжения по хозяйству...

— Бросьте это,— перебил его принц Брауншвейгский, отыскивая глазами шапку астролога,— скажите лучше, кто скрывается под маской кудесника... алхимика... Вон он идет...

Шетарди знал, кто этот астролог, но он не счел возможным выдать Лестока.

— Право, не знаю, ваше высочество,— отозвался он, вызывая на лицо виноватую улыбку.— В маскараде хозяин зачастую

не знает, кто оказал ему честь посещением... Впрочем, если вам это угодно — можно просить снять маски...

— О нет, нет! Этого совсем не нужно...

В это самое время толпа колыхнулась, послышался говор, все головы, точно по мановению волшебного жезла, повернулись в сторону входных дверей. Взглянули туда и принц Антон, и маркиз Шетарди. Оказалось, что волнение было вызвано появлением новой маски: в залу, приветствуемая восхищенными взглядами и завистливым шепотом, входила высокая, стройная дама в оригинальном и блестящем костюме «пиковой дамы».

VII

«ПИКОВАЯ ДАМА»

Шетарди скользнул взглядом по стройной фигуре так поздно явившейся маски, уже смешавшейся с толпой гостей, незаметно улыбнулся и удовольствовался этим: он хорошо знал на этот раз, кто скрывается под этим оригинальным и эффектным костюмом, резко выделявшимся среди банальных маскарадных нарядов того времени. Но когда принц Антон, залюбовавшийся грацией, с какой вошла эта маска, обратился к маркизу с вопросом: «Неужели вы не знаете, мой друг, кто эта красавица?» — Шетарди ответил:

— Право, не могу удовлетворить вашему любопытству, ваше высочество, хотя мне эта маска знакома; если мне не изменяет память, то я уже видел этот костюм на придворном маскараде.

— Не может быть! — воскликнул Антон Ульрих. — Если бы это было так — я бы наверняка обратил внимание.

Между тем заинтриговавшая и очаровавшая многих маска затерялась среди других костюмов, и принц, не видя ее более, забыл о ней. И опять в его мозгу появилась тревожная мысль, кто этот загадочный звездочет, так удивительно верно угадавший его мысли и сделавший такое странное предсказание, и он погрузился в свои думы, целым роем нахлынувшие на него и унесшие его далеко-далеко и от сияющей огнями залы, и от этой пестрой толпы замаскированных гостей...

«Ах, если бы действительно сбылось это удивительное предсказание!»

Эта мысль была господствующей среди роя других мыслей, наполнявших его голову. Да, это предсказание, как оно ни странно, не было неожиданностью для принца Антона. Вот уже несколько месяцев, как эта смелая, даже дерзкая мечта появилась в его мозгу. Она появилась с той самой минуты, когда он окончательно убедился, что супруга не любит его. Тогда-то и мелькнула ему эта смелая мысль. В этих-то видах он свел самую тесную дружбу с графом Остерманом и как-то спросил последнего:

— А правда, граф, что прежние русские цари запирали своих непокорных жен в монастырь?

Остерман улыбнулся своими сухими старческими губами, в его глазах сверкнули лукавые искорки.

— Совершенная правда, ваше высочество; русская история знает несколько таких примеров. Василий Третий заточил в монастырь свою первую жену Соломонию, Петр Великий сделал то же с царицей Евдокией.

— Так что если я последую этому примеру — меня не обвинят в варварстве?..

— Варварством-то это, может быть, и назовут, но какое дело до чужого мнения? Только я не понимаю, ваше высочество, зачем вы интересуетесь такими странными вопросами?.. И кто тогда будет управлять государством?

Принц Антон разгорячился:

— А разве я не могу быть правителем?! Разве император не сын мне?! Наконец, неужели я буду глупее управлять государством, чем это делает моя жена? Я хочу быть правителем и буду им!

— Ваше высочество имеет на это полное право,— подтвердил Остерман.— Мало этого, вы даже можете быть императором...

— А мой сын?!

— Но ведь он — младенец... А когда он подрастет — вы ему возвратите корону.

И вот с этого знаменательного дня принц Брауншвейгский стал мечтать о возможности возложить на себя императорскую корону. Остерман, у которого в последнее время он бывал ежедневно, подогревал эти мечты, и принц теперь нередко начинал свои думы фразой: «Когда я буду императором».

Будь он менее труслив и менее бесхарактерен — очень вероятно, ему удалось бы совершить новый переворот. Арестовать

правительницу Анну Леопольдовну было очень легко, а провозгласить себя регентом еще того легче. Но принц трусил и медлил. Слушаясь советов Остермана, он задабривал солдат и офицеров Семеновского полка, в котором числился шефом, делал им денежные подарки, старался любезничать с родовой знатью — но все это слишком неумело. Однако он не бросал своих планов, не рассеивал своих надежд. Императорская корона была идеалом, к которому он стремился. О его тайных вождедениях знал только один Остерман, который, понятно, не мог выдать его, — и вдруг, оказывается, нашелся человек, который проник взором в самые тайные извилины его мозга, который прочел его мысли... Хорошо, если этот кудесник — друг, а если это — враг? И трусливый, робкий родитель императора невольно вздрагивал, отыскивая глазами астролога, так удивившего и напугавшего его.

А загадочный предсказатель сидел в это время с хозяином дома, ускользнувшим наконец от задумавшегося принца, в его кабинете и вел с ним тот важный разговор, для которого, собственно, и приехал на маскарад.

— Так-то, господин маркиз, — говорил он, — я передал ее высочеству ваше лестное предложение, и она очень рада будет воспользоваться вашей щедростью. Теперь вы знаете, что все дело у нас готово, стоит дать сигнал, и пожар вспыхнет.

— А решится ли наконец цесаревна подать этот сигнал? — пожал плечами Шетарди.

— Теперь решится.

— Но, мой милый друг, — возразил маркиз, — если я не ошибаюсь, эту же самую фразу вы мне говорили еще в июне месяце. Когда я сообщил вам, что не дальше как через месяц шведы объявят России войну, — вы мне тоже сказали: «Она решится, как только война начнется». С тех пор прошло четыре месяца, а цесаревна все еще медлит.

— Что же вы этим хотите сказать?

— Одно из двух: или надо действительно взяться за дело, или же окончательно и бесповоротно отказаться от него.

Полное лицо лейб-медика цесаревны покрылось багровым румянцем. Он встал с кресла.

— Другими словами, — холодно и важно сказал он, — теперь вы изменили свой взгляд на это дело и отказываетесь нам помогать.

Маркиз в свою очередь вскочил с кресла и подбежал к Лестоку.

— Вот вы и обиделись, дорогой друг!.. Садитесь и, ради бога, выслушайте меня спокойно... Ни от чего я не отказываюсь и готов служить ее высочеству так же, как служил и до сих пор. Но ведь я в ваших же интересах тороплю вас. Нельзя так медлить. Вот я слышал из очень верного источника, что правительница намерена объявить себя императрицей. А если это случится — это новое осложнение может опять затормозить дело.

Лесток повел плечами.

— Теперь, — сказал он, — этой медлительности не будет. Цесаревна окончательно решила завершить свое законное дело шестого января, во время крещенского парада.

— Давай Бог! Давай Бог! Я так боюсь, что ее высочество раздумает и опять отложит...

— Уверяю вас, что теперь она не отложит. И эта сумма, о которой я говорю, нам необходима на последние приготовления. Нам нужно три тысячи червонцев. Если вас, конечно, это не затруднит...

Маркиз Шетарди пренебрежительно махнул рукой:

— О таких пустяках и говорить не стоит. Эти деньги вам вручит через несколько дней Вальденкур...

— Большое вам спасибо, — проговорил Лесток, — а теперь прощайте... Моя миссия окончена.

Шетарди его не удерживал.

Проводив Лестока, он снова направился в залы и как раз на пороге буфетной комнаты встретил «пиковую даму» под руку с кавалером в костюме стрельца.

«Пиковая дама» сверкнула на него глазами, маркиз улыбнулся ей в ответ и прошел мимо. Но совершенно иным взглядом окинул ее какой-то капуцин, стоявший у колонны. В этом взгляде не было улыбки; холодом смерти веяло от этих глаз, сверкавших темной сталью из прорезов маски.

Этот капуцин был не кто иной, как Василий Баскаков. Он приехал в дом французского посла одним из первых. Милошев его скоро оставил, встретившись с «ведомой ему персоной», и Василий Григорьевич положительно умирал от скуки в этой шумной толпе, среди веселья, царившего в залах. Подобно какой-то печальной тени, бродил он по ярко освещенным залам, с жадным любопытством озирая мелькавшие мимо него маски, стараясь заметить ту, для которой он явился сюда. Но «пиковая дама» не появлялась, и в конце концов он пришел к убеждению, что она или совсем не будет, или давно уже здесь, среди

этой блестящей толпы, но в другом костюме. И, совершенно отчаявшись увидеть ее, он стал пробираться к выходу.

Но вдруг его взгляд упал на входившую в это время в залу «пиковую даму». Он так и впился в нее глазами. И чем больше он вглядывался, тем больше убеждался, что это — княгиня Трубецкая. Тот же рост, та же пышная, словно гениальным скульптором изваянная, фигура, красоту которой еще ярче подчеркивал эффектный костюм; та же грациозная, слегка колеблющаяся походка... И, стиснув зубы, задыхаясь от волнения, перехватывавшего горло, чувствуя, что жгучие слезы отчаяния туманной дымкой заволакивают глаза, Баскаков продолжал следить за «пиковой дамой». Несколько раз ему показалось, что «пиковая дама» останавливалась и тоже зорко вглядывалась в толпу, как бы кого-то отыскивая.

«Это она его ждет!» — мелькало в его воспаленном мозгу, и он сжимал кулаки и закусывал губы.

Между тем «пиковая дама», не имея ни малейшего понятия о чувствах, волновавших мрачного капуцина, унылую фигуру которого она замечала каждый раз, когда оглядывалась назад, прошла по всем залам, заглянула также в гостиные, прошлась в менюэте с каким-то рыцарем и, недовольно поджав пухлые чувственные губы, присела на низенький диванчик, стоявший в нише одного из окон. Но просидела она в одиночестве не очень долго. Не прошло и трех минут, как к ней подошел высокий, стройный стрелец и, низко склонив свою голову, проговорил:

— Смиранный подданный ее пикового величества совсем заждався своей повелительницы.

«Пиковая дама» узнала знакомый голос, кровь горячей волной прихлынула к ее лицу, отчего порозовели уши и подбородок, но отозвалась она очень сурово:

— Однако вы не очень-то спешили засвидетельствовать мне свое почтение, мой смиренный подданный!

— Я не осмелился подойти к вам, пока вы были в толпе.

— И предпочли заставить меня отыскивать вас... Ну да простит вам Создатель эту непочтительность! — смягчая голос и весело улыбаясь, продолжала незнакомка. — Давайте вашу руку, и пройдем в более уютное местечко.

Она поднялась с диванчика; Николай Баскаков, замаскированный стрельцом, торопливо подхватил ее под руку, и они направились в одну из гостиных. Там «пиковая дама» отняла

руку у своего кавалера, лениво опустилась на диванчик, совсем спрятавшийся в тени громадных лавров, и, указав жестом Баскакову на стоявшее рядом кресло, промолвила:

— Садитесь и действуйте по церемониалу... Объясняйтесь в любви, заглядывайте в глаза, словом, проделывайте все то, что обычно проделывает мужчина, когда хочет уверить и даму своих мыслей, и самого себя, что он влюблен.

Николай Львович снял свой шишак¹, положил его на стол, затем отстегнул маску и медленно опустился в кресло.

— Мне уверять себя нечего,— тихо сказал он.— Я действительно вас люблю...

— После двух встреч?! — воскликнула она.

— Разве для любви нужны годы! — возразил он.

— Но ведь вы меня не видали...

— И все-таки я вас люблю...

— Но ведь, может быть, я так уродлива, что вы с ужасом отшатнетесь, когда я сниму маску.

— Даже если и так,— промолвил Николай Баскаков, покачивая головой,— я не смогу разлюбить вас...

«Пиковая дама» рассмеялась, но смех вышел каким-то искусственным и натянутым.

Баскаков взял ее маленькую ручку, затянутую в перчатку, и, нежно пожимая тонкие пальчики, воскликнул:

— Так не мучьте меня! Снимите маску!..

— Для того, чтоб вы убедились, что я — урод...

— Ну, хотя бы и для этого...

«Пиковая дама» на секунду опустила голову и затем тихо заговорила:

— Боже! Какие глупости я делаю!.. Вы имеете полное право принять меня за сумасшедшую... Мы видимся всего третий раз, я мало знаю вас и позволяю вам говорить мне о любви... позволяю себе выслушивать вас... И все почему? Потому что ваше лицо сначала напомнило мне о человеке, которого я не думала даже когда-нибудь забыть...— При этих словах ее голос дрогнул, точно оборвался.— Нет, я положительно сошла с ума! Правда, это все происходит под защитой маски, но ведь настанет же минута, когда мне придется снять ее...

Она понизила голос до шепота. Баскаков снова поцеловал ее руку и прошептал:

— Ах, если бы эта минута настала скорее!

¹ Ш и ш а к — шлем, каска с гребнем или с хвостом.

Увлеченные разговором, занятые друг другом, они не заметили мрачной фигуры капуцина, появившейся на пороге. А капуцин видел, как Николай Баскаков запечатлел поцелуй на ладони своей собеседницы, видел, что она не отняла своей руки...

Правда, он не мог расслышать, что они говорили, но для него и этого было достаточно. Минуту он хотел было броситься к ним, предстать перед ними грозным призраком, отравить им их счастье мертвенной бледностью своего лица, тусклым, полным смертельной тоски взглядом, — но сдержался и снова застыл в неподвижной позе, стараясь по движению их губ догадаться, о чем они говорят.

А разговор между ними принял интересный оттенок.

— Так вам очень хочется видеть меня без маски? — спросила «пиковая дама».

— Я бы считал это счастливейшей минутой в моей жизни.

— Хорошо, — подумав несколько секунд, согласилась «пиковая дама». — Я сейчас уезжаю и позволяю вам, мой покорный подданный, проводить меня до дому.

Она встала и даже не стала слушать слов пылкой благодарности, вырвавшихся у ее кавалера.

Они прошли так близко от капуцина, что она даже задела его рукой. Это прикосновение заставило его пошатнуться и затем торопливо последовать за ними...

VIII

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ

Василий Григорьевич проследил «пиковую даму» и своего двоюродного брата до подъезда. А когда он увидел на карете, в которую они уселись, гербы Трубецкой, когда он узнал выездного лакея Анны Николаевны — все помутилось у него в глазах, и он едва удержался за колонну подъезда. Теперь у него не было никаких сомнений. Слабая надежда, почти против воли теплившаяся в его сердце, окончательно рассеялась.

Но странное дело: убедившись теперь собственными глазами в измене любимой женщины, он не стал ни бесноваться, ни проклинать ее. Он даже не ощущал в душе злобы против своего счастливого соперника. Пусто и мрачно было теперь в его

душе. Он перестрадал свое горе, сжег свое сердце пламенем отчаяния, и теперь даже проклятия не могли сорваться с его губ.

«Каждому — свое,— мысленно решил он,— мне — могила, им — счастье». Он, кстати, вспомнил, что теперь ему осталось очень недолго страдать. Дуэль с Головкиным назначена на рассвете сегодняшнего дня. Значит, через несколько часов все будет кончено. Как ни плохо, может быть, фехтует его противник, но лишь бы он держал в руках шпагу — он сумеет на нее на ткнуться.

Баскаков уговорился с Милошевым отправиться на место дуэли вместе. Он зайдет к преображенцу в семь часов, а в восемь они уже будут на том берегу Невы, за крепостью. Там, около маленького чухонского поселка, есть очень удобное и совершенно пустынное место...

Василий Григорьевич медленным шагом дошел до своей квартиры, но не лег спать. Он хотел написать два письма: одно — Анне Николаевне Трубецкой, другое — двоюродному брату. Он не думал им этим мстить, он только хотел смутить их взаимное счастье, чтоб они поняли, что это счастье построено на развалинах его жизни.

Василий Григорьевич заглянул в комнату Антона Петровича,— тот спал. Поглядел он на диван, на котором вчера спал Николай,— диван был пуст. У Баскакова защемило сердце, и он вернулся в свою комнату, присел к столу и принялся за письма...

«Милостивая моя государыня Анна Николаевна,— выводил он букву за буквой дрожащей рукой.— Пожалейте меня, когда будете читать сие мое последнее послание. Меня уже не будет на этом свете, и, если вы помолитесь за упокоение души боярина Василия,— вы совершите этим поистине доброе дело. Умираю я не от своей руки, и вы можете не попрекать себя моей преждевременной кончиной, но, как изволите из сего видеть, я уверен, что паду от удара моего противника. Впрочем, мне и действительно не для чего жить. Я знаю все, а вчерашнего числа присутствовал на маскараде, данном господином французским послом, и видел там некую особу, одетую „пиковой королевой“; видел, с кем она вела альянсы, с кем уехала... Из сего — без лишних пропозиций¹ — вы можете усмотреть, милостивая моя государыня, что мне все доподлинно ведомо. Не хочу вас попрекать — потому вы в своем сердце вольны. Дали вы мне долгое блаженство, теперь его отняли, и я не клянусь вас

¹ Пропозиция — неопределенное высказывание.

за сие. Будьте счастливы. Говорю это от всей души, ибо умирающие не лгут».

Подписав это письмо и запечатав его, Василий Григорьевич начертал послание и Николаю Львовичу. В этом послании он ни словом не обмолвился о той незалечимой ране, какую нанес ему Николай. Он просто сообщал тому, что отправляется на дуэль с Головкиным, чувствует, что будет убит. Вместе с тем он просил Николая — если он не вернется живым — известить об его смерти мать. И больше ни слова.

Окончив письма, Баскаков заметил, что за окном посерело. Он вскочил с постели, оделся и вошел в комнату Антона Петровича, по-прежнему спавшего сладким, безмятежным сном.

Василий Григорьевич легонько толкнул спящего приятеля. Тот пробудился и полусонным взором окинул Баскакова.

— Антон! Проснись на минуту!

— А, что? Что случилось? — спросил тот, с усилием стряхивая набегавшую дремоту. — Что это? — продолжал он изумленным тоном, заметив, что Баскаков одет и даже в шапке. — Ты только вернулся или уходишь?

— Ухожу, голубчик.

— Такую-то рань! За коим же чертом?!

— Стало быть, нужно, коли ухожу. Да я тебя, Антон Петрович, не за этим разбудил... Просьба у меня к тебе будет важная. Там у меня на столе два письма лежат... так отдай, пожалуйста, одно Николаю, а другое пошли на Сергиевскую, к Трубецкой.

Антон Петровича точно молнией осенило. Он сразу все понял. Торопливо спустив ноги с кровати, он схватил Баскакова за руку и воскликнул:

— Так чего ты скрывать вздумал? На поединок идешь?

— Да, — хмуро отозвался Василий Григорьевич, которому тяжелы были эти расспросы.

— Что ж ты мне ничего не сказал? Обидно, братец!.. Кто же у тебя в секундантах?

— Милошев.

— Один?.. Что ж ты меня-то забыл?

— Ах, голубчик! — нетерпеливо промолвил Василий Григорьевич. — Так пришлось. Милуша при моей ссоре присутствовал, сам назвался в секунданты — ну и неловко было его обойти... Ну а теперь прощай, — закончил он, бросив тревожный взгляд на окно, за которым светлело все больше.

Антон Петрович расцеловался с ним и едва выпустил из объятий. Было по всему видно, что он взволнован. В другое

время Баскаков был бы очень тронут таким проявлением дружеского чувства, но сегодня ему было не до этого.

Милошева он застал уже одетым в новый мундир и в перчатках.

— Что это вы так принарядились? — удивился он.

— Нельзя, на первой дуэли участвую, — сознался преображенец. — Все равно как боевое крещение.

Пошли они к месту дуэли пешком. Во-первых, до Невы было очень близко от квартиры Милошева, жившего на Шпалерной, а во-вторых, они забыли подрядить вечером извозчика, а таким ранним утром возницу было достать почти невозможно. До Невы они дошли очень скоро. Сырой туман был здесь так густ, что крепость только маячила сквозь него смутными очертаниями; только шпиль на соборе, позолоченный восходящим солнцем, еще невидным отсюда, но уже протянувшим по небу первые лучи, горел яркой звездочкой. Внизу был перевоз. Там, в ялике¹, закрывшись рогожей, не обращая ни малейшего внимания, что ялик колышут сердитые волны, мирно дремал перевозчик.

— Эй, малый! — крикнул, наклонившись над ним, Милошев.

«Малый», оказавшийся ражим детиной лет под сорок, скинул с себя рогожу и вскочил на ноги. Увидев перед собою офицера, он скинул шапку и спросил:

— Что ваша милость прикажет?

— Перевези-ка нас на ту сторону...

Перевозчик не стал разговаривать. Он привык к безусловному повиновению. И не успели молодые люди усесться в ялик, как он уже взмахнул веслами, и ялик, оставляя за собою пенистый след, быстро понесся вперед, в туманную мглу, нависшую сизоватым дымом над самой водой. Вот они и на другом берегу. Лодочник получил плату и снова нырнул в туман.

Баскаков огляделся кругом. Он совершенно не знал этого места, хорошо знакомого петербургской гвардии, на котором почти всегда кончались всякие споры, ссоры и недоразумения.

Это место было очень удобно для встреч с оружием в руках. Здесь Нева как бы образовала широкую отмель, окаймленную целым рядом холмов и пригорков, совершенно скрывавших ее от нескромных взглядов. Только поднявшись на эти пригорки, слева можно было видеть мрачные стены крепости, а справа —

¹ Я л и к — небольшое гребное судно, шмонка.

рыбачью деревушку, низкие закопченные избы которой точно вросли в землю. Сзади же широкое полотно Невы отделяло отмель от города, и, так как величественная река была очень широка в этом месте, деревья Летнего сада, приходившегося как раз напротив, казались простым кустарником.

Василий Григорьевич окинул всю эту картину беглым взглядом, посмотрел на небо, по которому теперь веером раскинулись золотые лучи поднявшегося солнца, взглянул на Неву и спросил Милошева:

— Не забрались ли мы слишком рано?

Преображенец в это время с самым серьезным видом утапывал песок, взрыхленный пролежавшим два дня и растаявшим снегом.

— Почему рано? — отозвался он. — Сказано, на рассвете, а уж и солнышко взошло. Это хорошо, что мы пришли раньше... Говорят, что это обещает благоприятный исход дуэли.

Сквозь стиснутые зубы Баскакова вырвался смех, и, будь Милошев менее занят приготовлениями к поединку, он обратил бы внимание на этот смех, полный горечи и отчаяния, и, наверное, испугался бы за своего друга.

Прошло еще несколько минут. Огненный диск солнца поднялся еще выше, и теперь его ослепительные лучи обливали потоками расплавленного золота невидимые волны, с которых уже сбежал туман. Утро было свежее и бодрящее и могло быть только приятно.

Но Василию Григорьевичу не нравилось, что небо безоблачно, что солнце так щедро сыплет на землю свои лучи. Ему хотелось бы, чтоб и в природе царил такой же мрак, какой окутывает его душу. Он досадливо повел плечами и заметил:

— Удивительная у вас погода в Петербурге!

— Чем она вам не нравится? — спросил Милошев, осматривавший в эту минуту шпаги и пробовавший их упругость.

— А какое сегодня число?

— Четырнадцатое ноября.

— Не угодно! Пора бы морозу лютному быть, пора бы Неве застыть — а вон солнце во все лопатки светит... А в мае снег шел.

Милошев расхохотался.

— Эх как вы скверно настроены! Перед дуэлью так злиться не следует; это на верность руки может подействовать...

Баскаков махнул рукой. В то же время он хотел сказать, что, должно быть, верность руки будет не нужна, так как, очевидно,

Головкин трусил и не явится, но его остановили стук колес и ржание лошадей, донесшиеся со стороны дороги, пролегавшей за пригорками.

— Слава богу, изволили явиться! — произнес он и повернулся лицом к Неве, чтоб не встретиться взглядом с своим противником.

Головкин явился не один; с ним вместе спустились с пригорка четверо гайдуков.

Такое нарушение обычных правил дуэли не только удивило Милошева, но и возмутило его, и он, быстро двинувшись навстречу Головкину, резко спросил:

— Что же сие значит, ваше сиятельство?

— Как что? Про что вы изволите говорить, сударь? — невинным тоном, точно не понимая, что вызвало вопрос, отозвался Александр Иванович.

— Зачем же с вами эти люди?

— Как «зачем»? Я всюду езжу с гайдуками, даже во дворец... Отчего же я не мог захватить их сюда? Наконец, мало ли что может случиться... Меня ваш друг может ранить — и слуги отнесут меня в карету...

Милошев досадливо пожал плечами.

— Но в таком случае, — воскликнул он, — они могли остаться у вашей кареты...

— А разве это не все равно?

— Да-с, не все равно! Это не допускается правилами, и я этого не потерплю...

На тонких губах Головкина пробежала злая улыбка.

— А я иначе не согласен драться, — проговорил он. — Я сделал господину Баскакову честь и обнажаю оружие, но я не могу вполне довериться ему...

Преображенец на этот раз побледнел от гнева и сделал угрожающее движение в сторону Головкина.

— Послушайте, сударь! — крикнул он. — Ваша наглость переходит всякие границы... Вы оскорбили этим замечанием меня, как секунданта господина Баскакова, и я тоже требую у вас сатисфакции...

Злая улыбка опять появилась на губах графа и задержалась в глубине его глаз.

— Вот видите! Стало быть, и вы — ноне мой противник... Тем более я желаю, чтоб мои люди остались здесь. Иначе я не буду драться и сейчас же уеду...

Он нарочно эту фразу сказал возможно громче, чтоб она долетела до Баскакова. И Баскаков услышал эти слова, нервно обернулся, сделал несколько шагов и спросил у Милошева:

— О чем вы спорите с его сиятельством?

Милошев, взволнованный донельзя, задыхаясь и захлебываясь, объяснил, из-за чего вышел спор.

Будь Василий Григорьевич иначе настроен, не будь он совершенно равнодушен к своей судьбе, он, наверное, стал бы протестовать. Но теперь он только желал одного — как можно скорее закрыть глаза, чтобы не видеть ни блеска солнца, ни голубого неба... И, резко махнув рукой, он воскликнул:

— Ну, стоит ли спорить о таких пустяках?.. Если его сиятельству угодно иметь своими секундантами лакеев — это его дело. Давайте шпагу!.. — И он почти вырвал у растерявшегося преображенца одну из шпаг, которые этот держал в руках.

Милошеву ничего не оставалось более, как покориться, и он протянул другую шпагу Головкину.

Баскаков взмахнул шпагой и быстро пошел на своего противника, нарочно став таким образом, что лучи солнца били ему прямо в глаза и совершенно слепили зрение. Головкин ждал его, вытянув руку, в которой вздрагивал стальной клинок.

Вдруг Александр Иванович взмахнул оружием, и тут произошло нечто совсем неожиданное. Один из гайдуков, стоявший сзади Милошева, выхватил из кармана пистолет и почти в упор выстрелил в офицера. Тот вскрикнул и замертво рухнул на землю. В то же самое время остальные трое графских слуг бросились на ошеломленного этим неожиданным выстрелом Баскакова, повалили его, и, прежде чем он успел опомниться и сообразить, что произошло, они уже скрутили его веревкой по рукам и ногам, так что он не в силах был пошевелинуться.

Головкин подошел к нему, толкнул ногой и проговорил с злобным смехом:

— Что, сударь? Помогла тебе твоя опытность и осторожность? Теперь ты уж не попадешься мне больше на дороге...

— Негодяй! — крикнул Баскаков, который в душе был даже рад этой развязке и теперь с каким-то жгучим нетерпением ожидал, чтобы его грудь пронизала смертельная пуля.

Но он ошибся. Головкин придумал для него другую казнь.

— Ну, ребята, — сказал он своим гайдукам, — пустите-ка этого молодчика поплавать в Неве... Это охладит его пылкие чувства!..

И, злобно расхохотавшись, Александр Иванович зашагал к своей карете, а его гайдуки, схватив связанного Баскакова, подняли, раскачали его и швырнули в воду...

IX

НОВЫЕ ТРЕВОГИ

Анна Леопольдовна потянулась, зевнула и открыла глаза. Взгляд ее, еще подернутый дымкой дремоты, упал на лицо Юлианы, стоявшей около ее постели.

— Разве так поздно, Лина? — лениво спросила она.

— Конечно, поздно. Скоро час...

Правительница приподняла голову от подушки, кинула быстрый взгляд на окно, пропускавшее слабые лучи какого-то мутного, сероватого света, и прошептала:

— Неужели час? А на улице так мрачно, словно только что рассвело...

Юлиана рассмеялась, и из ее полуоткрытых губ блеснули два ряда ровных красивых зубов.

— Ну, сегодня, ваше высочество, — заметила она, — вам придется примириться с этим мрачным освещением... Ночью шел снег, а теперь туман затянул все улицы...

Анна Леопольдовна поднялась, села на край кровати и, болтая босыми ногами, захлопала в ладоши.

— Ай, какая прелесть! Ты говоришь, выпал снег... Значит, можно ездить на санях?

— Можно, ваше высочество.

— Вот как славно! — искренне, как ребенок новой игрушке, обрадовалась правительница. — Мне так давно хотелось покататься на санях, подышать свежим воздухом... Пошли, дружок, моих камеристок, пусть меня оденут — мне самой что-то сегодня лень одеваться, — а сама распорядись, чтоб были готовы сани... и как можно скорее. Мы с тобой поедем кататься...

— Как? Сейчас?! — удивилась девушка.

— А почему же не сейчас?.. Кто же нам может помешать?!

Возражать на это было нечего, так как действительно Анна Леопольдовна не только не любила, чтоб ей мешали, но не признавала ничьей воли, кроме своей. В этом отношении она была деспотична и зачастую под влиянием малейшего каприза, не

стесняясь, заставляла дожидаться в своем кабинете по целым часам Остермана, Головкина и других министров, являвшихся к ней с докладами.

Но на сегодня оказалось, что ей помешали.

Анна Леопольдовна оделась; сидя за туалетом, выпила чашку шоколада и поджидала Юлиану, которая тоже пошла одеваться. В это время в дверь уборной раздался резкий знакомый стук, каким принц Антон возвещал о своем приходе. Принцесса сделала недовольную гримаску, но даже улыбнулась, когда вошел муж. Возможность удовлетворить свое желание и покататься на санях привела ее в хорошее расположение духа, и даже приход супруга, приход, всегда омрачавший ее лицо, не испортил этого хорошего настроения.

— Здравствуйте, мой друг,— весело встретила она принца и протянула ему красивую, узкую руку, к которой тот, по обыкновению, почтительно прикоснулся губами.— Говорят, за ночь выпал снег и установился санный путь.

Принц кинул недружелюбный взгляд на камеристок, суетившихся около его жены, и, приказав им удалиться, проворчал сквозь зубы:

— Да, снег лежит... Но в общем погода преотвратительная...

Анна весело расхохоталась. Она ужасно не любила, когда ее муж улыбался; ей, напротив, нравилось видеть его недовольным, угнетенным и обеспокоенным. И мрачный вид, с каким он переступил порог, с каким только что произнес фразу, развеселил ее.

— Вы, должно быть, плохо спали, мой друг! — воскликнула она.— У вас такое лицо, как у преступника, приговоренного к смерти.

Этот веселый смех, эта насмешка окончательно разозлили принца Брауншвейгского. Щеки его покрылись багровыми пятнами, а глаза метнули молнию.

— Ну, ваше высочество,— сказал он, особенно как-то подчеркивая слова,— навряд вы будете спать спокойнее, чем спал сегодня я, когда будете знать то же, что и я.

В его тоне зазвучали какие-то странные нотки, и это обеспокоило правительницу. Но затем она вспомнила, как труслив ее муж, как его постоянно преследует кошмар заговоров и интриг, и презрительно бросила:

— Опять вечные страхи!..

Принц Антон, усевшийся было не遠далеке от туалетного стола, вскочил, топнул ногой и забегал из угла в угол, что всегда делал в моменты волнения.

— Сядьте,— остановила его недовольным тоном Анна,— у меня от вашего беганья начинает кружиться голова...

— Ах, я бы предпочел, чтоб у меня кружилась голова,— воскликнул он,— чем каждую минуту ждать, что ее снимут!

Веселое настроение правительницы сразу исчезло. Страх, сквозивший в словах мужа, точно заразил ее. Она нахмурилась, нервно поежилась от пробежавшего по телу озноба и спросила:

— Опять что-нибудь случилось?

— Да! — И, говоря это, принц вынул из своего кармана мелко исписанный листок бумаги и, положив его на туалетный стол, многозначительно произнес: — Читайте!

— Опять манифест? — подняв на принца с улыбкой глаза, спросила правительница.

Анна Леопольдовна взяла листок, оказавшийся письмом агента русского двора, находившегося в Бреславле, и стала рассеянно пробегать строки. Сначала на ее губах блуждала улыбка, но, по мере того как она читала дальше, лицо ее все больше темнело, брови сдвигались, а губы начали нервно подергиваться.

Она еще не хотела верить тому, что говорилось в письме, но сомнение уже закралось в ее душу. Она еще не испытывала того панического страха, который овладел ее мужем, но и ее охватила странная робость, боязнь грядущего бедствия.

«Ваше высочество знаете мою преданность, знаете, что я не из тех, что лгут ради случая,— прочла Анна,— и потому вы всецело можете верить моим словам. Вам, вашей супруге и вашему сыну грозит ужасная опасность. Принцесса Елизавета, оскорбленная тем, что покойная императрица поступила в обход ее прав на престол, как то следовало по завещанию императрицы Екатерины, желает добиться восстановления своих прав. Ее советники, которым непременно хочется стать у ступеней трона, подбивают ее на переворот. И, как кажется, они достигли своего намерения; цесаревна решилась вступить на престол. По крайней мере, ее лейб-медик Герман Лесток вошел для этого в сношения с французским послом маркизом Шетарди, и тот, способствуя сему делу, в надежде сторицею¹ вознаградить свои расходы в будущем, ссужает принцессу деньгами, которых

¹ Сторицею — в сто раз больше чего-либо.

передал Лестоку около 200 тысяч ливров. Большинство гвардии привлечено на сторону цесаревны, и все ждут от нее решительного слова. Поэтому, ваше высочество, примите как можно поспешно меры для пресечения этого злого умысла. Цесаревна еще медлит, не дайте ей решиться. Иначе все будет поздно, все будет потеряно...»

Анна дочитала письмо, уронила его на колени и задумалась, уставившись затуманившимися глазами на свое отражение в зеркале.

— Ну-с, прочли? — спросил принц Антон, следивший за супругой с жадным любопытством. — Что вы на это скажете?

Правительница повела плечами:

— Скажу, что если это не сказка, не вымысел...

— Это — правда, сушая правда! — пылко воскликнул принц Брауншвейгский. — Этот человек не способен на вымыслы...

Глаза принцессы сверкнули огоньком гнева.

— В таком случае тем хуже для вас. Как же вы, родитель императора, вы, мой муж, обязанный заботиться о нашей общей безопасности, прозевали такую интригу, не видали, что творится у вас под носом, что делается в войсках, которых вы состоите генералиссимусом?..

Эта неожиданная вспышка, это обвинение даже ошеломили принца. Он растерялся, развел руками и только и мог произнести:

— Я же, оказывается, и виноват! Но ведь я же вас предупреждал... я же говорил...

— Что вы мне говорили?! — набросилась на него Анна, которой необходимо было сорвать на ком-нибудь зло. — Общие места, фразы... Понятно, я этому не могла верить...

Принц Антон всплеснул руками.

— Господи! — воскликнул он. — Да если бы вы поверили моим словам — цесаревна давно была бы безвредна. Но вы только одно отвечали мне: «Цесаревна никогда не поднимет на меня руку, а вы глупы и смешны со своим бабьим страхом». Это — ваши подлинные слова, сударыня... Это была игра в благородство — вот вы доигрались...

Анна вздрогнула, пугливо оглянулась на дверь, точно ожидая, что вот сейчас, сию минуту войдет Елизавета с покорными ей гвардейцами, и простонала:

— А теперь поздно! Слишком поздно!..



— Не говорите глупостей! — резко, почти грубо крикнул принц, чувствуя, что наконец настала минута показать свою власть и свою силу.— Ничего еще не потеряно, если только мы не будем медлить и откладывать...

— Но что делать? Что?..

— Прежде всего арестовать цесаревну...

Анна задумалась на секунду, потом кивнула и прошептала:

— Хорошо. Делайте что хотите. Я доверяюсь вам. Только спасите меня...

Молния торжества сверкнула в белесоватых, бесцветных глазах принца Антона.

— Наконец-то вы взялись за ум! — проговорил он.— Если бы вы раньше больше доверяли мне и сознали, что править государством совсем не женское дело,— было бы куда лучше...

И, сказав все это гордым, напыщенным голосом, принц торопливо направился к дверям.

Но было бы лучше, если бы он не говорил этой последней фразы. Услышав ее, Анна вдруг вспомнила слова графа Линара, который советовал ей не поощрять притязаний принца на самовластие, который говорил, что принц спит и видит сделаться распорядителем судеб государства. Все это напомнило ей нравоучение ее супруга, его гордый тон испугал ее. Она кинула на него быстрый взгляд и вдруг спросила:

— Вы куда же идете, мой друг?

— Распорядиться арестом цесаревны и ее приближенных...

— Пойдите,— остановила его правительница, гордо поднимая голову,— подождите... Я передумала...

Принц замер и изумленно взглянул на жену.

— Передумали? — прошептал он, видя, как от него ускользает призрак власти.— Но почему?

— Мне не нравится ваш проект... Арест цесаревны так сразу может произвести дурное впечатление на войска... на народ... Я хочу убедиться, насколько она виновна.

— И сами снова поедете к ней? — с тонкой иронией промолвил принц.— Чтобы, вернувшись, снова восхищаться ее прямою и благородством?

Правительница сдвинула брови и сказала властным тоном:

— К ней я не поеду... Это и бесполезно, и не входит в мои планы... Она должна приехать ко мне.

— Так она и поехала!

— Она поедет. Потрудитесь сказать нашему обер-гофмаршалу¹ графу Левенвольду, что я на завтрашний вечер назначаю куртаг... Чтоб были посланы всем приглашения, а главнейшее — цесаревне. И на куртаге я ее арестую...

— Вы этого не сделаете, вы слишком малодушны!

— Клянусь, я это сделаю...

Принц Антон хотел выйти.

— Пойдите, — опять остановила его жена. — Есть еще другое поручение. Вы — генералиссимус русских войск. Потрудитесь в качестве такового распорядиться, чтоб все гвардейские полки не позже как через три дня выступили в Финляндию... Они нужнее там для войны со шведами, чем здесь для заговоров...

Принц молча поклонился, удивленный и даже восхищенный этим последним распоряжением, и скрылся за дверью. В ту же минуту в уборную через другую дверь вбежала одетая в меховую шубку Юлиана.

— Ваше высочество, едем! — воскликнула она, не замечая перемены в лице своей приятельницы. — Лошади у подъезда.

— Нет, Лина, мы не поедем, — печально качая головой, отозвалась правительница, — мне теперь не до катания... мне помешали...

Х

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

На куртаг в Зимний дворец гости, получившие приглашения, стали, по обычаю, собираться с семи часов. Куртаг обещал быть очень многолюдным, так как по особому приказанию принца Антона обер-гофмаршал граф Рейнгольд Левенвольд разослал приглашения не только персонам первого ранга, но почти всем лицам, имеющим право приезда ко двору.

Елизавета Петровна приехала незадолго до парадного выхода. Ничего положительно не подозревая, не думая, какая гроза собралась над ее головой, она сегодня казалась, впрочем, какою-то усталою и хмурой. Расходились нервы, была какая-то тяжесть на сердце, и хотя на ее пухлых губах и бродила улыбка, но улыбка эта была искусственной, хотя ее большие выра-

¹ Обер-гофмаршал — старший придворный сановник третьего класса.

зительные глаза и светились обычным мягким блеском, но изредка в них вспыхивало какое-то мрачное пламя.

Когда цесаревна подошла к правительнице, та на секунду вспыхнула, но молча протянула ей, правда немного вздрогнувшую, руку и молча же подставила щеку, на которой Елизавета запечатлела свой обычный родственный поцелуй. Затем она отвернулась от гостыи, как бы продолжая разговор с графом Головкиным.

Но если правительница сумела сдержаться, то принц Антон обдал Елизавету таким суровым взглядом, что молодая женщина удивилась, и какое-то странное предчувствие шевельнулось в глубине ее сердца.

«Что это значит? — подумалось ей. — Уж не подозревают ли они чего-нибудь?»

Мелькни ей прежде эта мысль, несколько месяцев тому назад, она, конечно, не стала бы задумываться над этим вопросом, не стала бы тревожиться. Она могла со спокойной совестью глядеть в глаза правительнице, с гордым достоинством ответить на все обвинения. Прежде она желала короны, считала, что корона принадлежит ей по праву, но не принимала активного участия в стремлениях ее приверженцев, старавшихся увенчать короной ее голову. Но теперь не то. Теперь Елизавета чувствует себя не так спокойно. Теперь она не только соглашается на проiski ее друзей, но и сама жаждет императорской порфиры. Она решилась на переворот, решилась после долгого раздумья, после долгой борьбы с своей бесхарактерностью, с своей привычкой к спокойной жизни. Она решилась потому, что не видит другого исхода. Если правительница боится ее, Елизаветы, то она в свою очередь боится правительницы; вернее — не ее самой, а всех, кто ее окружает. Она знает, что Анна Леопольдовна — добрая женщина, что она не способна причинить сознательно зло; но в то же время она знает, что правительница легкомысленна, что она труслива, что ее легко могут запугать. А тогда для собственного спокойствия она не постесняется пожертвовать ею, будь она невиннее младенца. Елизавете же совсем не хочется окончить свою жизнь в стенах монастыря.

И Елизавета решилась. Она, правда, еще медлит — но теперь уже не откажется от принятого намерения. Гвардия на ее стороне. Теперь осталось уже недолго ждать. Она наметила днем переворота 6 января, и единственно, о чем горячо молит она Создателя, — чтоб не лилась невинная кровь, чтоб все произошло тихо и мирно...

И вот теперь ее охватил страх, что правительница и ее супруг знают об ее намерении, что, может быть, сегодня потребуют от нее отчета, и она невольно вздрогнула при мысли, что ее лицо не сумеет солгать, что она выдаст себя и погубит своих друзей. И, думая это, цесаревна со страхом оглянулась на правительницу и на ее супруга, на Юлиану Менгден, стараясь по их лицам угадать свою судьбу... Но она не успела составить верное заключение, так как к ней подошел принц Антон и подал ей руку, сказав каким-то странным тоном:

— Пойдемте, ваше высочество... Ведя вас под руку, я буду счастливее, чем около своей супруги... Считайте меня на сегодня вашим пленником...

Елизавета метнула на принца зоркий взгляд и, чтобы испытать самое себя, чтобы убедиться, что ее голос не дрогнет в нужную минуту, вызвала улыбку на лице и шутливо спросила:

— Вы, ваше высочество, разве не боитесь попасть ко мне в плен?

Принц Брауншвейгский, не ожидая такого вопроса, даже растерялся на мгновение.

— Быть пленником вашей красоты, — наконец нашелся он, — может доставить только удовольствие...

— Боже! Вы сегодня слишком любезны, ваше высочество! — воскликнула она. — Если бы я была более суеверна — я бы испугалась...

— Чего?

— Что такая излишняя любезность скрывает за собой какую-то неприятность...

— А вы не суеверны?

— Нимало... Я верю в свою звезду.

Они уже вошли в тронную залу, переполненную приглашенными, низко сгибавшими голову при проходе высоких особ. Оркестр, расположившийся на хорах, грянул польский... Принц Антон замолчал, замолчала и Елизавета, тревожное настроение которой усилилось.

Полонез окончился; в аванзале¹ поставили карточные столы; в галерее, разделявшей тронную залу от аванзалы, стали сервировать ужин. Правительница, задумчивая и точно обеспокоенная чем-то, медленно ходила среди гостей, сопровождаемая Левенвольдом и австрийским послом. Елизавета, страст-

¹ А в а н з а л — передняя зала, официантская, иногда приемная.

но любившая игру в ломбер, уселась за карточный стол, выбрав себе партнерами Головкина, Бутурлина и Воронцова. За картами она забыла все тревоги, все опасения, даже развеселилась и не замечала ни ядовитой улыбки, поднимавшей губы принца Антона, ни мрачного взгляда, какой бросила на нее правительница, проходя мимо нее.

Игра была в самом разгаре, когда вдруг к стулу, на котором сидела цесаревна, подошла старшая фрейлина правительницы Мария Аврора Менгден и, наклонившись к ней, шепнула ей на ухо:

— Ваше высочество, государыня великая княгиня желает с вами говорить...

«Вот оно! — как молния, мелькнуло в голове цесаревны. — Начинается...»

Ее высокая грудь нервно колыхнулась, лицо вспыхнуло заревом и сердце так сильно заколотилось, что она сама услышала его стук. Она встала, положила карты на стол и двинулась к маленькому кабинету, где дожидалась ее правительница. И с каждым шагом волнение ее возрастало, сердце билось все скорее и скорее, а щеки окрашивались все ярче.

Когда Елизавета вошла, всеми силами стараясь подавить свое волнение, Анна Леопольдовна, стоявшая посреди комнаты, скрестив руки, метнула на нее суровый взгляд.

— Ваше высочество, — заговорила она, и голос ее зазвучал строго и властно, — отвечайте мне прямо и откровенно, бросите вы или нет свои преступные интриги против меня?

Большого труда стоило цесаревне не пошатнуться, не опуститься в кресло, поддавшись вдруг охватившей ее физической слабости; страшных усилий воли стоило ей ответить, так как был момент, когда ей показалось, что язык не хочет повиноваться ей.

— Я не понимаю вас, ваше высочество, — проговорила она, сказав эту фразу нарочно, чтоб выиграть время, чтобы оправдаться.

Анна Леопольдовна сделала нетерпеливый жест:

— Бросьте эти комедии!.. Предваряю вас, что я решительно знаю все... Теперь вам не удастся обмануть меня. И клянусь вам Богом, что, если вы не сумеете оправдаться, вы отсюда выйдете уже арестованной и лишенной возможности мне вредить...

К счастью Елизаветы, правительница сама была страшно взволнована; она целый день готовилась к этому разговору, и у

нее самой теперь пылало лицо и дрожал голос. Поэтому волнение цесаревны не удивило ее, предательская краска на щеках не возбудила новых подозрений, дрожь ее голоса ускользнула от ее слуха.

— Опять старые песни! — воскликнула Елизавета.

— Нет, ваше высочество, — возразила правительница, — не старые... Я была слишком мягка, слишком добросердечна, но теперь мне надоело это...

— И потому только, что вы лишились своей доброты и мягкосердечности, вы хотите сделать меня первой жертвой своего раздражения? — проговорила цесаревна, чувствуя, как в ней крепнут силы, как пробуждается бодрость духа.

— Не играйте словами! — пылко крикнула Анна. — Я потому не хочу быть мягкосердечной, что вы меня обманули.

— Чем?

— Вы принимаете маркиза де ла Шетарди...

— А разве ваше высочество запрещали мне принимать его? Возражения цесаревны, ее окрепший голос, как всегда, стали действовать на правительницу и пробудили прежние сомнения. Раньше она так была убеждена в виновности Елизаветы, что полагала, заявив ей, что ее замыслы открыты, тотчас же приказать генерал-аншефу Ушакову арестовать принцессу. Теперь же она чувствовала, что Елизавета слишком твердо отвечает для виновной, и это совершенно отнимало у нее энергию.

— Но вы принимаете Шетарди с преступными целями! — снова крикнула она.

Елизавета понимала, что происходит в душе ее грозного судьи, и решила воспользоваться смущением правительницы. Она гордо и резко ответила:

— Если бы маркиз был даже действительно моим близким человеком, то, я думаю, до вас это не касается; я совершеннолетняя, вы не состоите моей опекуной, и я вольна распоряжаться собою, как я хочу.

Эта смелая и дерзкая тирада окончательно смутила Анну. Она с изумлением взглянула на цесаревну, не будучи в силах понять, действительно ли она не знает, в чем ее обвиняет правительница, или только притворяется незнающей.

— Да я же совсем не про то говорю, — сказала она, уже значительно понизив голос, — говорят, что вы в союзе с Шетарди замышляете отнять корону у моего сына!..

Елизавета презрительно пожала плечами.

Анна чувствовала, что начинает терять почву. Тогда она решила нанести главный удар.

— Так вы запираетесь? — проговорила она. — А что, если я прикажу арестовать вашего лейб-медика Лестока... прикажу его пытаться?

Елизавета чуть приметно вздрогнула, но не потеряла самообладания и спокойно выдержала испытующий взор правительницы.

— Лестока? — переспросила она. — А чем он провинился пред вашим высочеством?

— Он составляет заговоры... он бывает у Шетарди... получает с него деньги. Его можно видеть постоянно в разных кабаках в обществе гвардейских офицеров... Словом, он — душа заговора.

— Если вы в этом уверены — арестуйте Лестока... Но мой бедный, трусливый медик будет, конечно, очень польщен, что его считают настолько храбрым, чтоб стоять во главе заговора.

— Так, по-вашему, он не пьянствует с гвардейцами?

— За это не поручусь... Но я знаю, что Лесток любит выпить, а у пьяного человека всегда найдутся собутыльники...

— Так он не бывает в доме французского посла?

— За это я могу поручиться. Он еще ни разу не переступил порога французского посольства...

Анна Леопольдовна так была изумлена, что даже пошатнулась.

— И вы можете поклясться в этом? — спросила она, зная, что Елизавета очень религиозна.

— Клянусь! — воскликнула цесаревна.

И она не покривила душой; Лесток действительно не бывал в доме Шетарди, не считая единственного раза, когда он явился замаскированный, про что Елизавета даже и не знала. Он очень часто виделся с Шетарди, но исключительно в доме итальянца Марка-Бени, близкого знакомого и маркиза, и доктора.

Услышав эту клятву, правительница на минуту опустила голову и задумалась. Сомнения ее не рассеялись, а уверенности в виновности цесаревны уже не было.

— Так, значит, все это — ложь, все это — вымыслы?

Цесаревна горько улыбнулась.

— Ваше высочество,— с чувством проговорила она,— уверять я вас больше не буду... По всему видно, что я потеряла ваше доверие, а словами его не вернешь. Поэтому одно из двух: или оставьте меня в покое и дайте мне жить тихо и мирно, или же назначайте следственную комиссию, арестовывайте меня, пытайте моих друзей... Поверьте, что эти вечные недоразумения, эти разговоры хуже всякой лютой пытки...

На ее ресницах алмазными каплями сверкали слезы. Правительница заметила их и подумала: «Это — слезы обиды... Она обиделась — значит, невиновна...» — и затем сказала вслух:

— Хорошо. Ступайте, ваше высочество... Я подумаю, что сделать...

Елизавета с глубоким поклоном вышла из кабинета и тотчас же уехала домой, вздрагивая каждую минуту и боясь, что правительница одумается, вернет и арестует ее. А когда она уехала, в кабинет, где в глубокой задумчивости сидела правительница, вихрем ворвался ее супруг.

— Опять упустили птичку! — раздраженно воскликнул он.

— Оставьте меня в покое! — досадливо отозвалась Анна.— Я убеждена теперь, что она невиновна...

Принц изумленными глазами поглядел на супругу, топнул ногой и снова вихрем удалился из кабинета.

Елизавета вернулась домой разбитая и утомленная. Этот разговор стоил ей слишком дорого; за полчаса, которые он тянулся, она перестрадала так много, как ей не приходилось страдать уже давно.

— Ну что, золотая моя? — встретила ее Шепелева.— Нагулялась, повеселилась?!

Цесаревна печально покачала головой, и горькая улыбка скривила ее губы.

— Так-то навеселилась,— ответила она,— что по горло сыта, Мавруша... Вдругорядь меня на это веселье калачом не заманишь...

— Аль приключилось что?

— А приключилось то, что пытала меня правительница словами да обещала и в застенке попытать...— И она вкратце пересказала Шепелевой свой разговор с Анной Леопольдовной.

Мавра Ивановна, когда цесаревна кончила, всплеснула руками:

— Как же теперь быть, матушка? Неужто всю затею бросать?

Елизавета сдвинула брови и твердо сказала:

— Нельзя бросать... Все равно теперь не поверят. Как-никак, а надо теперь до конца дойти, и свою, и ваши головы спасаючи.

— Так, золотая моя, так! — обрадованная решимостью, сквозившей в словах цесаревны, воскликнула Шепелева. — Прикажешь побудить наших?

— Не буди... Дай еще ночку поспать, а утром решим, как поступить... Утро вечера мудренее...

ХІ

ВЕЛИКОЕ ДЕЙСТВО

Наступил и следующий день после знаменательного куртага в Зимнем дворце. Настало 24 ноября 1741 года.

Елизавета проснулась поздно. Большие английские часы, стоявшие в столовой, уже пробили десять раз, когда цесаревна открыла глаза и, увидев подходившую к постели на цыпочках Шепелеву, не раз заглядывавшую в спальню во время ее сна, пробормотала:

— Заспалась я сегодня, Маврушенька.

— И то заспалась, золотая моя!.. Вставай-ка поскорее. Там тебя давно, почитай часа с два, один человек дожидается...

Цесаревна тревожно вздрогнула.

— Кто таков? — быстро спросила она, приподнимаясь на локте.

Мавра Ивановна заметила тревогу, вспыхнувшую в глазах ее «золотой царевны», дрожь, пробежавшую по ее полному молочно-белому телу, и поспешила ее успокоить.

— Свой, матушка, свой... Преображенского полка сержант Грюнштейн!

— Что же ты меня, Маврушенька, не разбудила?

— И, золотая моя, нешто это возможно! Ты так-то сладко почивала, что меня аж завидки брали... Ну а проснулась — изволь-ка подниматься. Теперь куняжиться¹ не дам. Там тебя и Герман Генрихович ждет не дождется...

Елизавета нахмурилась и, одеваясь с помощью Шепелевой, глубоко задумалась. Ей предстояло решить очень важный вопрос: откладывать ли свое намерение, окончательно созревшее

¹ Ку ня ж и т ь с я — нежиться, недомога чудить.

в ее душе, до первого удобного случая, как это она хотела несколько дней тому назад, или же, не откладывая, самой создать этот удобный случай. Как она ни была робка, ей казалось, что медлить долее теперь неразумно. Вчерашний разговор с правительницей показал ей ясно, что она должна теперь остерегаться каждую минуту. Вчера ей удалось благополучно выбраться из силков, какие расставила ей судьба, удалось поколебать уверенность правительницы, но никто не может поручиться, удастся ли ей спастись от подозрительности приближенных Анны — сегодня или завтра. Наконец, и сама правительница — это видно по всему — настроена враждебно. Она знает слишком много, чтобы слишком долго верить в невиновность ее, Елизаветы. Вчера она размягчилась сердцем, может быть, просто в нужную минуту потеряла энергию, но сегодня она может передумать и послать Ушакову приказание арестовать ее. И тогда она, Елизавета, погибла. Хотя она и дала правительнице коварный совет назначить следственную комиссию, но она прекрасно понимала, что не только что на пытке, а под одним взглядом холодных стальных глаз Ушакова Лесток, трусливый до глупости, выдаст ее головою... Значит, медлить было нельзя. Да и чем скорее окончится это неопределенное положение, чем скорее пройдут тревоги ожидания, тем лучше. Все равно идти назад немыслимо; правительница не поверит — так лучше же дойти до конца. И, остановившись на этой мысли, Елизавета подняла глаза, полные слез, к образу Казанской Богоматери, кротко глядевшему на нее из своей жемчужной ризы. В это время огонек лампы вспыхнул, бросил на темный лик иконы трепетный отблеск, и цесаревне показалось, что священное изображение ожило и послало ей ласковый, ободряющий взгляд. Елизавета Петровна перекрестилась и твердым шагом направилась в уборную, по которой, дожидаясь ее, грузными шагами ходил Лесток.

— Доброе утро, Герман Генрихович, — поздоровалась она с ним, — что новенького скажешь?

Лесток вздернул плечами и пробормотал:

— Я дурной сон видел, ваше высочество!

— А какой? — спросила Елизавета, расчесывая перед зеркалом свои густые, пышные волосы.

— Будто меня колесовали.

Насмешливая улыбка тронула губы цесаревны и затерялась в глубине глаз.

— И то дурной,— согласилась она,— особенно коли в руку.

Лесток еще досадливее вздернул плечами, закусил нижнюю губу, затем быстро вытащил из кармана камзола какую-то бумагу и положил ее пред Елизаветой.

— Что это такое? — спросила она.

— Выбирайте, ваше высочество, что вам приятнее. Жизнь ваших друзей висит на волоске, и, если вы еще промедлите, их кровь польется рекою...

Елизавета в это время рассматривала положенный ее медиком рисунок.

Он был сделан грубо, неряшливо, но она разобрала, что этот рисунок изображает ее в двух видах — в короне и порфире и в монашеском одеянии. Цесаревна вздрогнула и поспешно отвела затуманившиеся глаза от ужасной картинки.

— Я выбрала, мой друг,— проговорила она.— Будь готов сам и скажи всем, чтоб были готовы...

— Но когда же, когда? — забыв всякий этикет, всякое уважение к цесаревне, вскричал Лесток.

— Еще не знаю,— раздумчиво ответила Елизавета.— Может быть, завтра, а может быть, и сегодня... Во всяком случае, ступайте и будьте готовы...

Она встала из-за туалета и торопливым шагом направилась в залу, где, по словам Шепелевой, ее ждал Грюнштейн.

Увидев вошедшую цесаревну, преображенец преклонил колени и благоговейно прикоснулся губами к протянутой ею руке.

— Я заставила тебя ждать, мой друг,— ласково проговорила Елизавета.— Уж не посетуй — заспалась нонче...

Преображенец и от ласкового тона ее голоса, и от этих слов покраснел до ушей.

— Ваше высочество! Матушка царевна! Не посетуйте, что я дерзнул явиться,— заговорил он взволнованно и робко.— Такое дело случилось. И от себя, и от своих товарищей усердно вас просим: прикажите ваших супостатов¹ низвергнуть, немцев из Зимнего выгнать...

— Прикажу, прикажу, дружок! Только малость подождать нужно...

— Нельзя годить, ваше высочество! — воскликнул Грюнштейн.— Потому я и прибежал к вам... Завтра вся гвардия в поход выступает, в ночь ноне нам снарядиться приказано...

¹ Супостат — враг, злодей, противник.

— Как в поход? — изумилась Елизавета.

— На шведа идти приказано, — пояснил преображенец. — Ноне и приказ поутру нам читали.

Елизавета задумалась. Это неожиданное известие изменяло положение дела. Медлить долее было действительно нельзя. Она ясно теперь понимала план правительницы: гвардию решено удалить из Петербурга, чтобы арестовать ее в это время. Тогда, понятно, некому будет за нее заступиться. Ее раздумье продолжалось бы дольше, если б около нее не прозвучал голос Лестока, незаметно вошедшего в залу.

— Видите, ваше высочество, — сказал он, — медлить нельзя ни минуты... Уйдет гвардия — и дело проиграно.

Елизавета гордо подняла голову. В ней вдруг сказалась дочь Великого Петра. Она как-то вся преобразилась, точно возмужала сразу.

— Вижу, друг мой, — твердо отозвалась она. — Вижу, что более нельзя медлить. Вручаю свою судьбу Господу и полагаюсь на Его святую волю. Подъемлю это дело не для себя, а для блага и счастья государства Российского... Ноне ночью совершим сие действо. Ступай, мой друг, — обратилась она к Грюнштейну, — и скажи своим товарищам, чтоб были готовы встретить меня.

Сказав это, она быстро повернулась, ушла в свою спальню, заперлась на ключ и, упав на колени перед образами, в жаркой молитве просила Создателя осенить ее Своей помощью...

Этот день и для Елизаветы, и для ее приближенных тянулся томительно долго. Все были нервно настроены, все тревожно прислушивались к малейшему внешнему шуму. За обеденным столом сидели, как обыкновенно, очень долго, но кушанья слуги со стола унесли почти нетронутые. Разговоры не вязались. Все, что было нужно, уже переговорили, условились обо всем и теперь сидели молча, изредка скользя глазами друг по другу и чаще всего бросая взоры на часовой циферблат, с нетерпением ожидая, когда стрелки подойдут к двенадцати.

Спокойнее всех была сама цесаревна. На душе ее, правда, было смутно, каждая жилка в ней трепетала, сердце то замирало, то начинало трепетать, но на лице Елизаветы не отражалось душевное волнение. Она точно застыла в ожидании грядущего часа, точно сознавая, что, упади у нее энергия, — растеряются и ее сподвижники, покажи она, что ее обуял страх, — и они потеряют голову...

Наконец наступила ночь. Часы пробили одиннадцать раз. Цесаревна встала с кресла, опустилась на колени и прошептала, обратив глаза к образу:

— Боже, помоги! Боже, не остави! Если Ты судил мне совершить сие — дай мне крепость и мощь!..

Ну, други мои,— поднявшись с колен, обратилась она к стоявшим поодаль Лестоку, Разумовскому, Шувалову и Воронцову,— пойдете. Да благословит Господь наше начинание!

В половине первого ночи сани цесаревны выехали из ворот дворца и понеслись к Преображенским казармам. Там уже ее ждали. Заслышав скрип ее саней, солдаты, толпившиеся на дворе, распахнули ворота и на руках вынесли цесаревну из саней.

Елизавета окинула зорким взглядом толпу солдат, подошла к ним величественным шагом и громким, звучным голосом проговорила:

— Ребята, вы знаете, чья я дочь? Хотите ли идти за мной?

Громкий гул сотен голосов, единодушный возглас: «Веди нас, матушка! Давно мы этой минутки ждали!» — был ей ответом.

Елизавета достала из-за кирасы¹ крест, подняла его над головой и сказала:

— Я клянусь жить и умереть за вас. Клянитесь мне в том же...

— Клянемся! — грянула толпа.

Это был величественный момент. Елизавета была тронута до слез, гвардейцы — и солдаты, и офицеры — падали на колени, целовали ее руки и платье. Загорелые лица светились радостью. Все точно переживали какой-то дивный праздник.

— Теперь, друзья,— снова заговорила цесаревна,— пойдём со мною в Зимний дворец... Я должна арестовать похитителей моего престола. Но помните — не проливайте напрасно крови... Господь и так поможет нам докончить начатое.

Солдаты построились, а для того чтобы случайно не ударить тревоги — Лесток ножом разрезал кожу на барабанах. Елизавета снова села в сани, и шествие, в котором теперь участвовала почти половина Преображенского полка, двинулось к Зимнему дворцу.

И сама цесаревна, и преображенцы торопились. Пока шло все благополучно, но за дальнейшее поручиться было нельзя. Правда, сторожевые патрули на петербургских улицах были в

¹ К и р а с а — латы из двух пластин, выгнутых по форме спины и груди, и соединенные пряжками на плечах и боках, предмет парадного снаряжения гвардейской кавалерии.

то время очень малочисленны и предпочитали мирную дрему в караульнях беспокойной бдительности, но на патруль можно было наткнуться случайно; тот, заметив необычайное шествие глухой ночью, мог поднять тревогу — и тогда кто знает, к чему бы это повело.

Сани, в которых сидела цесаревна и за которыми, как почетный караул, шагали толпы гвардейцев, прежде всего могли привлечь нежелательное любопытство, и поэтому один из офицеров решил предупредить это.

— Ваше высочество! — сказал он, торопливо подбегая к саням. — Не соблаговолите ли выйти из санок? Оно куда покойнее будет...

Елизавета сама тотчас же поняла практичность этого совета, вышла из саней и по глубокому снегу пешком пошла впереди своего войска, как русская Жанна д'Арк, шедшая для спасения своего отечества.

Однако это путешествие скоро ее утомило. Тяжелая кираса, которую она надела поверх шубы, глубокий снег, всюду лежавший сугробами, наконец, волнение, не только не покидавшее ее, а словно усиливавшееся по мере приближения к Зимнему дворцу, — все это больше и больше замедляло ее сначала крупные и быстрые шаги...

Гренадеры¹ заметили это. Двое из них быстро отделились от толпы, бережно подняли цесаревну на руки и, как ребенка, понесли вперед... И это было сделано вовремя: Елизавета чуть не задыхалась от усталости и едва-едва держалась на ногах.

Вот и Дворцовая площадь, в глубине которой темной массой, кое-где освещенной слабыми огоньками, вырос фасад дворца. Преображенцы в глубоком молчании дошли до дворцового подъезда и здесь спустили цесаревну на землю...

Она перекрестилась и твердым шагом двинулась к подъезду, на ступенях которого, как изваяния, застыли четыре измайловца, стоявшие в карауле.

Сильно билось сердце цесаревны, когда она подходила к ним, это была решительная минута. Стоило им скрестить ружья, ударить тревогу, вызвать остальной караул — и Зимний дворец пришлось бы брать приступом, пришлось бы проливать кровь, и кто знает, чем могло бы окончиться это пролитие не повинной крови.

Сильно билось сердце великой дочери Петра Великого, страшно трусила она, но зато каким торжеством сверкнули ее

¹ Г р е н а д е р — пехотинец.

глаза, какая радость охватила ее, когда караульные взяли на караул, а один из них, растворяя тяжелую дверь, сказал:

— Давно ждали, матушка царевна... Милости просим...

С этого момента дело брауншвейгцев было окончательно проиграно.

Елизавета вошла во дворец, преображенцы тотчас же заняли все выходы, измайловцы, стоявшие в карауле, присоединились к ним, два офицера, вздумавшие было показать свою верность Анне Леопольдовне, были немедленно связаны — и не больше как через десять минут цесаревна вошла в спальню правительницы, оставив за дверью своих гвардейцев.

Топот тяжелых ног за дверью спальни, грохот ружейных прикладов теперь уже не стеснявшихся преображенцев разбудили Анну, спавшую на кровати вместе с Юлианой. Она вскочила, увидела Елизавету, устремившую на нее гордый, но в то же время грустный взор, вскрикнула от ужаса, зарыдала и в истерическом припадке забилась у ног цесаревны...

А через час после этого в маленький цесаревнин дворец на Мойке спешили сенаторы и духовенство, оповещенные о восшествии на престол дочери Великого Петра. Комнаты и залы были уже битком набиты, а гости все прибывали и прибывали, и на всех лицах светилась искренняя радость, а в глазах отражалось неподдельное изумление.

А в то же время перед дворцом цесаревны все увеличивалась масса войска, подходившего отдельными частями, и, когда в четвертом часу утра Елизавета вышла на подъезд, чтобы ехать к торжественной службе в Исаакиевский собор, ее встретили громовым криком:

— Виват наша царица-матушка! Виват императрица Елизавета!..

И этот громовой крик сказал Елизавете, что теперь окончились все тревоги и волнения, и на глазах у нее заблестали радостные слезы.

XII

РАЗЪЯСНЕННАЯ ЗАГАДКА

Ликование войска и народа по случаю «великого действия», посадившего на всероссийский престол Елизавету Петровну, продолжалось всю ночь. Всюду горели костры, всюду толпились народные массы, и всюду шли радостные, возбужденные

рассказы о том, как «матушка царевна царицей стала и как немцев выгнала». На улицах слышались радостные восклицания и возгласы, стоял несмолкаемый гомон, и эта праздничная суeta и шум донельзя удивляли людей неподготовленных, не знавших ничего о происшедшем событии.

Удивило это праздничное настроение петербуржцев и княгиню Трубецкую, въезжавшую в это знаменательное утро в столицу чрез Московскую заставу.

Анна Николаевна не сразу догадалась, что это значит. Хотя она и принимала деятельное участие в заговоре цесаревны, хотя и склонила на ее сторону всю свою многочисленную родню, но, как и многие, ждала переворота только в Крещение. Когда из окна колымаги она увидела толпы, запрудившие улицы, когда до ее ушей донесся народный гомон, когда лошади ее экипажа с трудом продвигались сквозь это живое море, катившее свои волны по всем направлениям, ей пришла мысль, что столица торжествует победу русского оружия над шведами. Но на Невском она увидела отряд войска, шедшего под треск десятка барабанов. И вдруг грохот барабанов умолк, и солдаты, и народ, окружавший их, разразились громовым криком:

— Да здравствует Елизавета, императрица всероссийская!

Тогда Анна Николаевна сразу уяснила себе действительное положение вещей, торопливо перекрестилась и радостно прошептала:

— Слава богу, совершилось! Настали и для меня дни счастья...

Теперь уже ничто не могло препятствовать ее браку с Василием Григорьевичем, теперь Головкин был уже нестрашен, и ее охватила неудержимая радость, омрачавшаяся только тем, что лошадям в толпе народа приходилось идти шагом, в то время как ей хотелось бы уже быть дома, послать за Баскаковым, снова увидеть дорогого ей человека.

Шутка ли сказать, ведь они не виделись целых десять дней. Ей пришлось так неожиданно уехать в Тверь к серьезно заболевшей сестре, что она успела написать только коротенькую записку, которую ее слуги должны были отдать Василию Григорьевичу, когда он придет. И как она мучилась все эти десять дней, проведенных вдали от него! Но зато все эти мучения искупил этот радостный сюрприз... Теперь она совершенно счастлива...

Наконец дорожная карета Трубецкой добралась до Сергиевской и с грохотом подкатила к подъезду. Выбежали слуги, помогли княгине выйти из экипажа.

Раздевшись и поднявшись наверх, Анна Николаевна повернулась к Катюше, следовавшей за ней, и торопливо спросила:

— Василий Григорьевич заходил эти дни?

— Никак нет-с, ваше сиятельство, не бывали...

Трубецкая не придавала значения этому ответу. Это так было естественно. Не было здесь ее — зачем было и Баскакову заходить в ее отсутствие. И, продолжая идти к своему будуару, она сказала:

— Ты сейчас оденешься, Катюша, сходишь к нему на квартиру и скажешь, что я приехала и прошу его тотчас же пожаловать ко мне...

— Слушаю, ваше сиятельство...

Анна Николаевна вошла в будуар, подошла к своему рабочему столику и вдруг вздрогнула: рядом с пачкой писем, лежавших на подносе, она заметила свое письмо — то самое письмо, которое она написала, уезжая в Тверь, и велела отдать Баскакову.

— Катя,— недовольным тоном заговорила она, вертя в руках письмо,— что я вам велела сделать с этим письмом?

Горничная вспыхнула и растерялась, заметив раздражение на лице своей хозяйки.

— Вы приказали отдать Василию Григорьевичу, когда они пожалуют...

— А вы и забыли мое приказание?

— Никак нет-с...

— Как нет? — рассердилась Трубецкая.— Но ведь письмо здесь, не тронуто... Вы его и не отдавали...

— Гак Василий Григорьевич не бывал здесь — я же вам доложила.

Анна Николаевна вздрогнула и побледнела.

— Как не бывал? Ни разу со времени моего отъезда?..

— Ни одного разу...

В глазах Трубецкой засверкали искорки испуга, и бледность еще больше разлилась по лицу молодой женщины. Она хотела что-то спросить, но в это время Катя быстро заметила:

— Да они же вам письмо написали.

— Какое письмо?!

— А вот оно тут лежит,— указала девушка на пачку писем,— его от них принесли на другой день после того, как вы уехали.

Но Анна Николаевна уже не слушала ее. Дрожащими руками перебрала она письма, лежавшие на подносе, с жадностью

схватила конверт, надписанный знакомым почерком, вскрыла и принялась за чтение письма.

С первых же строк этого рокового письма она почувствовала, что у нее как бы перестает биться сердце и перехватывает дыхание, а когда она окончила читать — в широко открытых глазах молодой женщины отразился такой ужас, бледное лицо исказилось такой судорогой, словно она почувствовала за своей спиной ледяное дыхание смерти, так беспощадно разрушившей ее счастье, разбившей ее жизнь. Несколько долгих секунд она простояла точно в столбняке, застыв подобно статуе, бессильно уронив руки, в которых замерло ужасное письмо... Затем она вздрогнула всем телом, шатнулась и безжизненным трупом рухнула на пол...

Поднялась суматоха. Послали за доктором. Тот приехал и нашел княгиню в глубочайшем обмороке.

Растерянная, перепуганная прислуга металась из стороны в сторону, и, когда в первом часу дня приехала Софья Дмитриевна, когда она увидела растерянные лица слуг, она сразу поняла, что произошло какое-то большое несчастье. Опрометью вбежала она в спальню, бросилась к постели, на которой лежала ее подруга, все еще не пришедшая в чувство, и со страхом уставилась на старичка доктора, возившегося около Трубецкой.

— Что такое случилось? — шепотом спросила она.

— Княгиня чего-то испугалась и потеряла сознание.

— Но это не опасно?

Доктор покачал головой:

— Кто знает!.. Впрочем, у нее крепкая натура, здоровое сердце... Может быть, все окончится пустяками... — И он опять принялся хлопотать около княгини.

Тогда Софья Дмитриевна набросилась на заплаканную, дрожавшую всем телом Катю.

— Отчего это с нею?

— Не могу знать... Как прочли письмо — так и грохнулись.

— Какое письмо?

— От Василия Григорьевича...

— А где оно? — спросила молодая женщина, рассчитывая в этом письме отыскать причину внезапного обморока Трубецкой.

— Вот, пожалуйста... Я уж у них из рук вынула... — И Катя подала смятое письмо Баскакова.

Софья Дмитриевна с жадностью набросилась на него, побледнела как смерть, прочтя первые строки, и почувствовала, как вся кровь бросилась ей в лицо, когда дочитала до конца.

— Так вот в чем дело! — прошептала она. — Значит, это я всему виною... — И ее глаза наполнились слезами.

В это время Анна Николаевна шевельнулась, глубокий вздох, похожий скорее на стон, колыхнул ее грудь, и она открыла глаза, в которых все еще стояло выражение ужаса. Скользнув этим взглядом по лицу склонившегося над нею доктора, она перевела глаза на Соню, вздрогнула, приподнялась и воскликнула:

— Соня! Голубчик! Что же все это значит?..

Доктор и Катя поспешили уйти. Софья Дмитриевна подошла к кровати и, заливаясь слезами, простонала:

— Прости меня, Анюта, если можешь... Это я такая проклятая... Это я всех гублю...

— Но что же это значит?.. — опять повторила Анна Николаевна. — Ты ведь знаешь, — прибавила она полным мучительного горя голосом, — он умер... умер...

— Успокойся, родная...

Горькая улыбка прошла по белым, точно восковым губам Трубецкой.

— Успокоиться, — медленно промолвила она, — да, я успокоюсь... Мне больше ничего не осталось... Ты знаешь, как я любила его. Я успокоюсь. Мы недолго будем в разлуке...

Соня вздрогнула и со страхом поглядела на Трубецкую, как бы читая на ее мертвенно-бледном лице ужасное значение этой фразы.

— Полно, Анюта!.. Зачем эти мрачные мысли?..

Анна Николаевна сделала резкое движение рукой.

— Не надо! — нетерпеливо перебила она. — Никаких утешений... никаких слов... Вся моя жизнь была в нем, и без него я жить не могу и не хочу... Но прежде расскажи мне, что это значит... Ведь ты одевалась пиковой королевой... Я не надевала этого костюма. Он понравился тебе, и я тебе его подарила. Что же это значит? Объясни... Я ничего не понимаю...

Софья Дмитриевна печально уронила голову на руки и так просидела целую минуту, как бы собираясь с мыслями, пронесшимися в ее голове. Когда она подняла на Анну Николаевну глаза, они были полны слез и какой-то грустной мольбы.

— Если бы ты знала, — начала она глухим, подавленным голосом, — как мне тяжело говорить теперь... Ведь я рассчитывала тебя порадовать своим счастьем... сказав, что моя рана зажила, что мое сердце исцелилось... И вдруг...

— Ты полюбила? — еле слышно спросила Трубецкая.

— Да. И за это, очевидно, наказал меня Бог... Я нарушила свою клятву... я забыла или, вернее, думала забыть Мотю — и вот надо мной разразилась кара.

— Не над тобой... — слабо шепнула Трубецкая.

— Нет, надо мной. Твое горе — это и мое горе. Разве я могу быть счастлива, зная, какой ужасной ценой оплачено мое счастье?..

— Но в чем же дело, в чем дело?

— Ты помнишь тот день, когда мы с тобою были на придворном маскараде... когда я упросила тебя подарить мне этот проклятый костюм пиковой дамы, а тебе уступила свой... Вот в этот самый день во дворце я вдруг случайно увидела одного человека. Сначала он был в маске, и, пока я танцевала с ним, меня вдруг охватило какое-то странное предчувствие. Мне вдруг подумалось, что этот человек будет играть заметную роль в моей жизни... А когда он снял маску — это предчувствие только усилилось... Вообрази, что я увидела второго Мотю. Правда, между ними нет разительного сходства, но глаза незнакомца напомнили мне былое счастье и былое горе... Овал его лица вызвал снова забытые воспоминания. И странное дело: вместо того чтоб тотчас же с мучительной тоской убежать от него, вместо того чтоб воспоминаниями снова растравить сердечную рану — я с таким удовольствием слушала моего кавалера, с таким удовольствием провела этот вечер, что даже сама испугалась последствий увлечения... Ты уехала раньше меня; подсаживая меня в карету, он умоляющим голосом просил меня назначить ему еще свидание, и я, совершенно обезумев, сказала, что буду рада увидеть его на следующем маскараде. Со мной произошло что-то необычайное. Я всю ночь продумала о нем, его лицо все время вырезалось из мрака перед моими глазами, а Мотя... память о нем ушла куда-то далеко, далеко... В следующем маскараде мы увидались опять, и, расставаясь с ним, я с ужасом убедилась, что я его люблю... Я ему снова назначила свидание на маскараде у Шетарди... Ты помнишь, на этот маскарад я поехала, проводив тебя, в твоей карете... В этот раз я сняла маску — и мы объяснились... И я была счастлива... Мне показалось, что счастье вернулось ко мне снова... И вот оказывается, что вместо счастья — всех нас ждет только горе...

— Кто он такой? — спросила Трубецкая, внимательно слушавшая рассказ подруги.

— Это — двоюродный брат Василия Григорьевича, Николай Львович Баскаков.

— Я все-таки ничего не понимаю,— сказала она.— Откуда же Вася взял, что я была в костюме пиковой дамы?.. Притом, раз они — родственники и, положим, он видел тебя с ним,— он мог всегда узнать истину...

Она печально поникла головой.

— Я тоже ничего не понимаю,— прошептала Софья Дмитриевна.— Я только вижу, что мне не суждено счастье... что стоило мне только подумать о возможности его — и гроза разразилась и надо мной, и над близкими мне людьми... Проклятая, несправедливая судьба!

— Да, судьба немилостива,— промолвила Трубецкая,— но с ней нельзя бороться. Не будем бороться и мы...

— Но ты, надеюсь, простишь меня?..— воскликнула Соня, обнимая свою подругу и прижимаясь к ней головой.

— За что же мне прощать тебя?.. Разве ты виновата?

— Я виновата в том, что надела этот проклятый костюм.

— Тогда я все-таки виновата больше. Я заказала костюм. Наконец, я уехала в Тверь... Будь я здесь — ничего подобного не случилось бы... Нет, Соня, не будем винить друг друга. Так угодно Богу — а нам нужно только примириться с Его волей...

В это время дверь распахнулась, и в спальню вбежала Катя. Она вбежала так стремительно, что Анна Николаевна с испугом поглядела на нее.

— Ваше сиятельство,— воскликнула чем-то очень взволнованная девушка.— Там вас желает видеть один человек...

Трубецкая поморщилась:

— Разве ты не знаешь, что я никого не принимаю?.. Я больна, лежу в постели...

— Но это, ваше сиятельство...

Анна Николаевна нахмурила брови.

— Кто бы это ни был — я никого не приму! — проговорила она резким тоном.— Ступай!

Но Катя, несмотря на это категорическое приказание, даже не шевельнулась. Удивленной этим Трубецкой даже показалось, что девушка улыбнулась. Она хотела сделать ей за это выговор, но Катя предупредила ее:

— Нельзя, ваше сиятельство, не принять... Это от Василия Григорьевича...

Анна Николаевна вздрогнула; ей показалось, что или она, или Катя сошла с ума.

— Опомнись...— проговорила она.— Что ты говоришь?!

— То, что мне велели сказать... Пришел старичок один и желает вас видеть... Он говорит, что Василий Григорьевич больной у него в дому лежит...

Безумная радость сверкнула в глазах Трубецкой; все лицо ее просияло, как бы освещенное солнечным светом.

— Так он жив!.. Он не умер!..— вырвалось у нее, и она, не помня себя, бросилась в объятия Софьи Дмитриевны, тоже просветлевшей от счастья.

XIII

СПАСЕННЫЕ ОТ СМЕРТИ

Да, Баскаков не умер.

Когда он пришел в себя, он не сразу сообразил это. В нем еще осталось ощущение смертельного холода, охватившего его тело, когда головкинские гайдуки швырнули его в ледяную воду Невы, осталось смутное воспоминание, как вода хлынула ему в рот... Он так был рад тогда, что сознание покинуло его тотчас же, как он погрузился в воду, и смерть приняла в свои объятия его совершенно бесчувственное тело... И когда он открыл глаза и на него хлынула волна яркого света, ему показалось, что он уже умер, что он находится в состоянии небытия, что он уже перешел в тот мир, где нет ни печалей, ни воздыхания, и трепетал от радости, что этот мир так светел...

Но спустя немного он почувствовал какую-то странную тупую боль в правом боку, боль, усиливавшуюся с каждым вздохом. Удивило его также, что он слышит эти вздохи, хриплые, вырывающиеся со свистом из его разбитой, как бы ноющей груди. Эти чисто телесные ощущения вызвали в нем сомнение, действительно ли он находится в бестелесном мире.

Василий Григорьевич оторвал голову от подушки, и оторвал с большим усилием, так как голова казалась точно налитой свинцом и тоже болела. Затем он обвел глазами кругом и пришел к убеждению, что он не только не переселился в мир светлых духов и радостных грез, но даже лежит не на тинистом дне Невы, где следовало бы находиться его труп. Взгляд его упал на окно, и ему пришлось на секунду даже зажмурить глаза, так как в окно врывались ослепительно-яркие лучи солнца. Затем он увидел стол, два стула, стоявшие около него, и убедился, что

лежит на кровати. Но и кровать, и стол, и самое комнату он видел впервые; в этом он не сомневался, как не сомневался и в том, что и Головкин, жаждавший его смерти, и сам он, так хотевший покончить скорее свое земное существование, жестоко ошиблись, что ему не дали утонуть, вытащили из воды и возвратили к жизни...

Но кто же его спас? Кто этот благодетель, которому он совсем не благодарен?

На этот вопрос он не мог ответить. Да он не смог и задуматься над ним, так как боль в боку усилилась, застучало в виски, холодный пот выступил на лбу, а все тело горело, точно его поджаривали на медленном огне. Боль настолько усилилась, что он не мог удержаться от стона, резко прозвучавшего в тишине комнаты.

Стон услышали. Услышал и он скрип отворившейся двери и легкие шаги, затихшие у его постели. Затем над ним наклонилось хорошенькое личико какой-то молодой девушки или молодой женщины, и ясные, глубокие глаза взглянули на него с такой лаской и с таким участием, что он снова простонал от боли, но на этот раз не в боку, а в сердце, судорожно сжавшемся при мелькнувшем ему воспоминании о таких же ясных глазах, даривших его так часто и нежною лаской, и участием.

— Вам больно? Вы страдаете? — как сквозь сон, расслышал он мелодичный голос; но ответить он не мог: опять в боку поднялась режущая жгучая боль, свет погас в его глазах, которые заволокло туманом, и он снова потерял сознание.

Сколько времени продолжалось это вторичное забытие — Баскаков определить не мог. Когда он снова очнулся, он лежал на той же кровати, в той же самой комнате, и так же из окна лился яркий дневной свет, весь пронизанный солнечным сиянием. Только голова была не так тяжела, да боль в боку почти не ощущалась. Продолжалось ли его забытие минуту, час, несколько дней — он не знал. Он помнил только одно, что это забытие сопровождалось тяжелым кошмаром, что ему виделись различные лица, слышались разные голоса. И чаще других он видел в каком-то сплошном тумане лицо Барсукова, его голос чаще других звучал его утомленному больному слуху...

И вдруг Василий Григорьевич вздрогнул. До его слуха донесся говор из смежной комнаты, и — странное дело — среди этих голосов он ясно расслышал голос Барсукова, голос, памятный ему, имевший удивительное сходство с его голосом. Васи-

лий Григорьевич насторожился, приподнялся на локте и взглядом, в котором загорелась тревога, уставился на дверь.

Дверь скрипнула, подалась, как бы повинувшись его взгляду, — и Баскаков застыл от ужаса, когда показалось лицо Барсукова, когда вся его фигура переступила через порог.

«Значит, он жив... он тогда не умер!» — как молния, пронеслось в его мозгу. И вместе с этой мыслью рядом явились и другие, которыми он хотел объяснить себе появление этого живого мертвеца. Очевидно, Головкин не хотел его смерти. Его просто искупали в Неве, а затем снова отвезли в Тайную канцелярию. При этой мысли губы Баскакова дрогнули от горькой улыбки. «Зачем теперь-то я им? — подумал он. — Все равно ныне я не соперник графу...» И снова у него сжалось сердце, и его пронзила острая боль.

Между тем Барсуков подошел к самой кровати, наклонился над своим двойником и, заметив, что он пришел в себя, проговорил:

— Очнулись? Слава богу!.. Ну, вот и ладно! Вы, надеюсь, — прибавил он с несвойственной ему веселой улыбкой, — не пугаетесь меня... не считаете меня за выходца с того света... Я — живой человек, такой же спасенный от смерти, как и вы...

— Спасенный от смерти? — повторил Василий Григорьевич. — Кто же меня спас?

— Я.

Баскаков изумленно поднял на своего странного собеседника глаза.

— Зачем? Затем, чтоб снова запереть в Тайной канцелярии?..

Улыбка, осветившая лицо Барсукова, сделалась еще шире. Он махнул рукой.

— Не думайте об этом! — сказал он. — Никакой тут Тайной канцелярии нет... Вы у меня дома... Я и сам-то успел забыть про канцелярию. Теперь я, сударь, не тот.

Изумление Баскакова все возрастало.

— Но как же?.. — прошептал он и не закончил.

— Вы хотите знать, — заговорил Барсуков, — как я другим человеком стал? Коли вас не утомит — я вам расскажу. Нашелся и на мою долю лекарь, который и рану мою залечил, и душу перевернул...

— Вы влюбились, — догадался Василий Григорьевич.

— Нет, воскрес. Влюблен я в эту девушку и раньше был, да иной любовью... А тут, перед тем как мне на вас да на ваших

приятелей наткнуться,— она мне надежду дала. Нужно вам сказать, что она меня гнала раньше от себя, а тут понял я, что любит она меня, что ее от меня моя шкура волчья отталкивает... А у нее, должно быть, предчувствие было. Когда я вышел на стук ваш да пошел с вами, ее точно в сердце кольнуло... Накинула она шубейку и побежала. Ползком, крадучись шла за нами, видела все, и, когда я упал, она меня перетащила в свой домик, вылечила и другим человеком сделала...

— Слава богу! — воскликнул Баскаков. — Я рад, что на моей душе не осталось ответа за вашу жизнь...

— Что об этом говорить! — отозвался Сергей Сергеевич. — Каким я тогда волком был: меня убить — все одно что доброе дело сделать... Вот вам и вся моя история... Ну а как вы себя чувствуете?

— А что со мной было?

— Да прихворнули маленько. Когда я вас из воды вытащил, должно, грудь тогда простудили... Так лекарь говорил...

— Так это вы меня спасли?

— Я да тесть мой, Яков Мироныч. Мы в то утро с ним рыбку половить пошли... К рыбной ловле я пристрастился... Мы с ним в лодке за бугорком сидели, а когда выстрел грянул, я всполз на берег и видел все, что с вами Александр Иванович совершить удумал. Ну да не привел ему Господь, не пришлось... Вызволили мы вас...

Лицо Баскакова покрылось тенью, но он ничего не ответил.

— А вы, сударь, приготовьтесь,— сказал после небольшого молчания Барсуков. — К вам, может, скоро гостья одна приедет.

— Какая гостья?

— А княгиня Трубецкая... Анна Николаевна. Я к ней все эти дни жениного отца гоняю, да не приезжала она из Твери...

— Разве она в Твери? — против воли спросил Василий Григорьевич.

— В Твери, в Твери... Там у нее сестра заболела, так княгиня накануне того дня, как вы в Неве очутились, и уехала...

— Как накануне? — переспросил Василий Григорьевич, вспомнив, что накануне он видел Трубецкую в костюме пиковой дамы на маскараде у Шетарди. — Это не может быть.

— Верно вам говорю, что так,— возразил Барсуков. — Теперь она должна скоро вернуться... Целых десять дней прошло.

— Как десять дней?! — изумился Баскаков. — Неужели я десять дней пролежал без памяти...

— Совершенно верно,— подтвердил его собеседник,— за это время много воды утекло... Я вас еще кое-чем порадую. Нонешней ночью цесаревна Елизавета Петровна императрицей стала...

— Да ну? — радостно и удивленно воскликнул Василий Григорьевич.— Неужели это — правда?!

— Истинная правда. Сегодня по всему Петербургу такая радость, что просто страх. Ровно светлый праздник наступил.

— И то светлый праздник...— начал Баскаков и не закончил. Он услышал скрип полозьев, ржание лошадей, и его сердце вдруг забилося так сильно, что он ясно слышал его стук.

— Это, должно быть, княгиня приехала.

И Барсуков торопливо вышел из комнаты.

Баскаков закрыл глаза. Голова у него закружилась, все запрыгало перед глазами, а сердце продолжало биться все сильнее.

— Зачем она приехала?! — прошептал он.— Еще больше расстроить рану... Я не хочу, не хочу ее видеть...

Последние слова едва не вырвались у него криком. Но когда дверь скрипнула и Анна Николаевна вбежала в комнату, когда его затуманенные глаза встретились с ее сияющим радостью взором, ему показалось, что он снова теряет сознание...

— Вася! Милый! Родной!..

Эти восклицания вырвались у молодой женщины вместе со слезами, которые обожгли лицо Баскакова. Она обхватила его голову руками и долгим тревожным взглядом впиалась в его бледное похуделое лицо.

— Милый, милый,— говорила она, глотая подступавшие слезы.— И ты мог подумать, что я тебя разлюблю!.. Ты мог так жестоко ошибиться!..

— Ошибиться? — повторил он, чувствуя, как у него замирает сердце.— Но я же видел... видел...

— Кого?

— Вас... в костюме пиковой дамы...

— Когда?

— На маскараде у французского посла...

Она тихо рассмеялась, счастливая, что может рассеять его сомнения.

— Глупый! Да ведь меня во время этого маскарада уже не было в Петербурге... Я уже была на дороге к Твери... Наконец, я никогда не надевала костюма пиковой дамы...

Эта фраза, вместо того чтоб успокоить его, снова подняла в нем сомнения и заставила занять сердце.

— Но я же видел этот костюм у вас в уборной...

— И все-таки я не надевала его,— с мягкой улыбкой, глядя на Баскакова полными беззаветной любви глазами, повторила Анна Николаевна.

— Но тогда кто же... кто же это был?

— Кто был одет пиковой дамой?

— Да, да.

— О, ты ее знаешь... Ты ее сейчас увидишь...— И, подойдя к двери, она крикнула: — Соня, иди сюда...

Вошла Софья Дмитриевна. Она прямо подошла к кровати, протянула свою руку смутившемуся Баскакову и, задержав его руку в своей, заговорила:

— Простите меня, Василий Григорьевич!.. Это я сделалась невольной причиной ваших мук, ваших тревог и горя. «Пиковая дама», которая так глубоко ранила ваше любящее сердце, была я. Вы можете мне поверить, а если не поверите мне — поверьте моему будущему мужу, вашему кузену, Николаю Львовичу...

Для Василия Григорьевича наконец прояснился горизонт. Последняя тень сбежала с его лица, светлая улыбка оживила глаза, и, полный неизъяснимого счастья, он протянул руки к Трубецкой и воскликнул:

— Прости меня, Анюта!.. Ослепленный, я чуть не совершил ужасного шага... То есть я совершил его, но Господь спас меня... Прости меня, милая, дорогая, любимая!..

Его ослабевшие нервы не выдержали, слезы брызнули из его глаз и смешались со слезами Трубецкой, приникшей к нему и горячим поцелуем прижавшейся к его губам...

Счастье — лучший доктор. Через неделю Баскаков был уже на ногах и оставил маленький домик на Петербургской стороне, в стенах которого он воскрес для новой жизни, вернул утраченное было счастье.

Прощаясь с Барсуковым и его женой, он теперь смотрел на своего двойника без всякого предубеждения, с ласковой, благодарной улыбкой пожимая руки своему недавнему врагу.

— Мы оба с вами воскресли...— говорил он.— Судьба недаром наградила нас таким странным, удивительным сходством... она сроднила и наши жизни...

Через месяц в громадном доме княгини Трубецкой, в этот день сделавшейся дворянкой Баскаковой, былолюдно, шумно и весело. Свадьбу молодых людей почтила и императрица, бла-

годарная Анне Николаевне за то участие, какое та приняла в ее деле. Величественная, красивая и ласковая, она от души расцеловала новобрачную и сказала:

— Вы счастливы, а это самое главное... Личное счастье, голубка, важнее титулов, знатности и даже короны...

— Но вы же счастливы, выше величество... Вы так еще молоды, что для вас еще будет очень много счастливых минут,— заметила Баскакова.

Елизавета вздохнула:

— Кто знает!.. А мне кажется, что свое счастье я еще могла вернуть, стоя у ступеней трона; теперь же на троне я должна забыть свое личное счастье для счастья моих подданных...

Но печаль недолго омрачала красивое лицо императрицы. Через секунду она снова оживилась и с ласковой улыбкой глядела на окружавшее ее шумное веселье, на этот праздник молодости и любви...

И чем больше глядела Елизавета на это веселье, тем светлее становилось ее лицо. Это веселье предвещало и ей веселую жизнь, чужое счастье обещало и ей счастливое царствование.





СОДЕРЖАНИЕ

У СТУПЕНЕЙ ТРОНА

Часть первая

I. Ссора	5
II. Неожиданный результат	13
III. Новые друзья	21
IV. В летнем дворце	28
V. На волосок от смерти	36
VI. По течению	43
VII. Ночные гости	50
VIII. Решительное слово	56
IX. Ночной поход	62
X. Стрелы Амура	70
XI. Встреча	76
XII. Двойник	83
XIII. В порыве страсти	90
XIV. «Слово и дело»	96

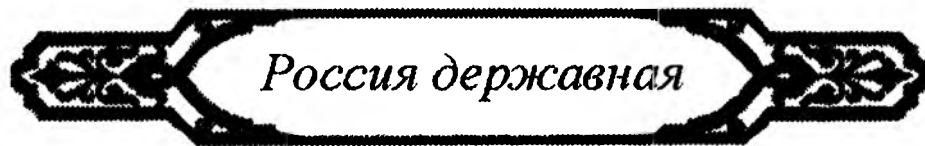
Часть вторая

I. Затишье	103
II. Неожиданное предложение	108
III. В тревоге	114
IV. По горячим следам	119
V. В каменном мешке	126
VI. Старый знакомый	132
VII. Два друга	138
VIII. Волк в западне	144
IX. Новый друг	150
X. Честолюбивые грезы	156
XI. Кара Божья	163

Часть третья

I. В Зимнем дворце	171
II. Две соперницы	177
III. Двадцать шесть	183

IV. Разбитое счастье	190
V. В порыве отчаяния	197
VI. В доме французского посла	202
VII. «Пиковая дама»	209
VIII. Перед смертью	215
IX. Новые тревоги	222
X. Последний разговор	227
XI. Великое действо	234
XII. Разъясненная загадка	240
XIII. Спасенные от смерти	247



Александр Петрович
Павлов

У СТУПЕНЕЙ ТРОНА

Редактор *А. Храмков*
Компьютерная верстка *М. Бойковой*
Корректор *М. Смирнова*

ООО ТД «Издательство Мир книги»
111024, Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 6

ООО «РИЦ Литература»
115407, Москва, Судостроительная ул., д. 40

Подписано в печать 29.06.2010 г.
Формат 84×108^{1/32}. Гарнитура «Петербург»
Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,44
Тираж 4300 экз. Заказ № 3477.
Отпечатано по технологии StP
в ИПК ООО «Ленинградское издательство».
195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 21/1.
Телефон / факс: (812) 495-56-10.

Петербург, 1740 год. На российском престоле — Анна Леопольдовна, племянница Анны Иоанновны. Но не дремлют и сторонники Елизаветы, дочери Петра Великого, которые стремятся привести ее к власти. На страницах романа бушуют страсти, плетутся интриги. Коварный граф Головкин стремится помешать любви княгини Трубецкой и молодого дворянина Баскакова, что едва не заканчивается трагедией. Анна Леопольдовна навсегда теряет свою единственную привязанность в жизни — графа Линара, а также недолгую власть. Красавица Елизавета с триумфом восходит на престол...

ISBN 978-5-486-03526-5



9 785486 035265